

ISSN 0132-0637

1997

12

Октябрь



Октябрь

12 1997

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

12

1997

ДЕКАБРЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Новые имена

Валерий ХАЗИН. **Фрау Целер**. Анна КУЗНЕЦОВА. **Мать**. Роман СЕНЧИН. **Вдохновение**. Светлана МАКСИМОВА. **Сюжет**. Валерий ОСИНСКИЙ. **Гость**. Никита ЕЛИСЕЕВ. **Мардук**. Галина СКВОРЦОВА. **Спасительница мира**. Рассказы **3**

Тим СОБАКИН. **Сон Луны**. Стихи **48**

Ирина ЕРМАКОВА. **Времена у нас по-прежнему античны...** Стихи **51**

Нечаянные страницы

Алексей ВАРЛАМОВ. **Антилохер**. История одной премии **53**

Владимир БЕРЕЗИН. **Хроника нулевого года** **61**

Владислав ОТРОШЕНКО. **Волжский мужичок, или Вечный Горький** **73**

Эвелина РАКИТСКАЯ. **Как просто уйти в небеса...** Стихи **84**

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Всеволод ИВАНОВ. **«Во время войны приходит пробуждение...»**. Ташкентский дневник. 1942. Вступление Вяч. Вс. Иванова. Публикация, подготовка текста и примечания Елены Папковой-Ивановой **89**

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

- Ирина НИКОЛАЕВА.
Интеллигенция: превратности свободы 114
- Валерий ПИСИГИН.
Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. Окончание 125

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Кирилл АНКУДИНОВ.
Каприз против истерики. Опыт аналитического исследования стихотворения 157

Панорама

- Александр ЛЮСЫЙ. **Эпilog классики** (Леонид Баткин. **Тридцать третья буква**); Л. ВОЛОДАРСКАЯ. **Книжные тайны** (Русские поэты XX века в библиотеке Н. К. Гудзия); Ян ШЕНКМАН. **Диалог как вид монолога** (Анатолий Гуницкий. **Метаморфозы положительного героя**); Дмитрий КОСЕНКИН. **Среди света** (Леонид Завальнюк. **Беглец**); Елена МЕСТЕРГАЗИ. **Достоевский: современное прочтение** (Достоевский в конце XX века); Илья КУКУЛИН. **Коллажи и эзотерика** (Нина Искренко. **Интерпретация момента. Юрий МИЛОРАВА. Взамен**); Егор СТРЕШНЕВ. **И приближаться, и удаляться** (Александр Давыдов. **Апокриф, или Сон про ангела. Аркадий Драгомощенко. Китайское солнце**) 168

Записки литературного человека

- Вячеслав КУРИЦЫН.
Малахитовая шкатулка-2 178

Мелочи жизни

- Павел БАСИНСКИЙ.
Писатель на паперти 184

В несколько строк

- Лавка букиниста.** Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ. 187
- Содержание журнала «Октябрь» за 1997 год** 189

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

И. Н. БАРМЕТОВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (зав. отделом прозы),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (зав. отделом критики),

И. А. БРЯНСКАЯ (публицистика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 28.10.97. Подписано к печати 19.11.97. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 9630 экз. Заказ № 2569. Цена 15 500 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 1792 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместитель гл. редактора — 214-63-64, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-63-64, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

E-mail oktybr@orc.ru

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
© «Октябрь». 1997. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Новые имена

РАССКАЗЫ

Валерий ХАЗИН

ФРАУ ЦЕЛЕР

I

Кажется, мусульмане до сих пор называют евреев «народом книги». До сих пор, уверяют знатоки, это имя или прозвище (по-арабски «ахл алькитаб») подобно восточному кофе сохраняет обжигающий привкус зависти и презрения, недоступный европейцам. Едва ли кто-нибудь возьмется всерьез оспаривать это утверждение, как никто уже теперь не может сказать, где в действительности начинается запутанная история Frau Zähler, в которой неизбежны не столько евреи, сколько книги.

Слегка упрощая дело, можно начать с момента, когда тридцатилетний немецкий инженер Райнер Целер поднялся в вагон вечернего семичасового поезда «Женева — Монтрё» и, пройдя немного вперед, быстро огляделся. Вероятно, тут он задержался дольше обычного, чем обратил на себя внимание двух-трех пассажиров, и заметно помрачнел. Не исключено, что газета, купленная им на перроне, неприятно и довольно шумно зашуршала, едва не выскользнув у него из-под мышки. Вопреки надеждам Райнера вагон был почти полон и все места возле окон заняты. Это расстроило и планы, и настроение инженера, хотя ехать ему было менее часа: он направлялся в штаб-квартиру корпорации «Нестле» на ежегодный Конгресс шоколадников и должен был сойти, не доезжая Монтрё, в городке со смешным названием Ве́ве.

Райнер, лишь полгода назад возглавивший проектный отдел большого кондитерского концерна в своем родном Аахене, в Вестфалии, специализировался на технологиях приготовления шоколадной массы, к поездке готовился давно и ждал от нее многого. Ему еще не приходилось бывать на профессиональных слетах такого масштаба, и, когда руководство решило отправить его на Конгресс в Ве́ве, поручив к тому же сделать пятиминутное сообщение о новых методах очистки, молодой инженер Целер, несомненно, ощутил знобкое дуновение удачи. Из Аахена в Кельн он выехал полный радостных предчувствий. Однако, надо полагать, путешествие волновало его не только и не исключительно в видах карьеры, но и само по себе...

Во французской Швейцарии («на юге», как выражалась его матушка) Райнер не был со школьных лет. Поэтому из Кельна он не поехал в Цюрих или Базель, а взял билет до Женевы, чтобы легкомысленно потратить там часа три, блуждая по улицам, надыхаясь воздухом воспоминаний и почувствовать, как ветер с озера перемешивает вечерние голоса и краски, запахи воды и кофейные ароматы в сумеречный полузабытый дурман... Садясь после этого в поезд, Райнер очень рассчитывал продлить удовольствие и провести ближайшие пятьдесят минут пути, любуясь озером и французским берегом в дымке, и зелеными предгорьями Альп, но — увы — вагон был почти полон... Что мог увидеть Рай-

нер, усевшись наконец рядом с полной дамой, которая болтала без умолку со своей приятельницей напротив, еще более полной и одышливой? Он осторожно вздохнул и раскрыл газету.

Здесь его ожидало новое разочарование. Сообщение о Конгрессе шоколадников помещалось где-то на предпоследней странице и занимало пятьдесят строк. Почти три полосы было отведено итогам последнего джазового фестиваля в Монтрё. Большая же часть номера, не считая международного раздела, посвящалась скандалу вокруг какой-то литературной премии имени Набокова («самой элитарной из европейских», говорилось в анонсе), которую назавтра в местечке Кларанс, опять-таки неподалеку от Монтрё, должны были вручать некоему Леону Марковичу, сербскому эмигранту, недавно получившему политическое убежище в Германии.

«Скандал, какого Швейцария не знала со времен пребывания в Цюрихе мистера Джойса», — гласил заголовок, набранный предельно крупно над фотографией Марковича — в лице его Райнеру почудилось что-то восточное, беспокойное, почему-то вызывающее чувство неловкости.

Пролистывая огромное — в две страницы — интервью лауреата, Райнер поймал себя на том, что едва сдерживается: обилие славянских имен раздражало даже больше, чем нелепое совпадение странной литературной шумихи с его приездом в Швейцарию; но всего неприятнее было то, что ничего другого не оставалось, кроме как читать все это здесь и сейчас, потому что — стоило оторваться от газеты — слышным становилось непрекращающееся французское мурлыканье справа...

Как выяснилось, присуждение скромной в общем-то литературной премии прошло бы совершенно не замеченным, если бы не вызвало бурю самых разнообразных протестов. Газета публиковала — одно под другим — обращения европейского отделения Всемирного еврейского конгресса и Общества педагогов Швейцарии. Оба призывали членов жюри отказаться от своего решения, «которое, — прочел Райнер, — является позором для Швейцарии, всегда славившейся своими демократическими традициями и терпимостью, поскольку благодаря этому решению оказывается поддержка литератору, чьи произведения представляют собой самую изощренную, завуалированную и потому наиболее опасную пропаганду антисемитизма в истории послевоенной Европы».

Обращение педагогов было более сдержанным. Райнер даже усмехнулся про себя, наткнувшись на утверждение, что «жюри, вероятно, совершило ошибку, присудив столь престижную премию автору, рисуящему темные стороны жизни подростков намеренно преувеличенно, с навязчивым, противоестественным натурализмом». «Жюри, — говорилось в заключении, — работая в стране, давшей приют таким величайшим писателям столетия, как Джойс, Набоков и Борхес, могло бы, по-видимому, быть более разборчивым...»

Однако яростнее других протестовали феминистки. Фоторепортаж запечатлел десятка два молодых женщин — в разных ракурсах, под транспарантами — с гневно раскрытыми ртами и вскинутыми руками. Несколько дней подряд, по словам репортера, они пикетировали старинный отель в Кларансе, где заседало жюри, и требовали исключить Марковича даже из числа номинантов. Тут же печатались открытое письмо Лиги свободы и пространное интервью ее президента, некоей Лиз Полак. В центр страницы, в рамку, были вынесены фото и слова госпожи Полак: «Видимо, после России Европа остается единственным варварским островом, где господин Маркович, один из самых разнузданных мужских шовинистов, может не только безнаказанно оскорблять женщин

изданием своих произведений, но и получать за это премии. Если «набоковское жюри», лицемерно апеллируя к свободе слова, не пересмотрит своего решения, мы воспользуемся своим правом «свободы от слова» и добьемся бойкота книг Леона Марковича, так что ни одна уважающая себя женщина не прикоснется к его грязным писаниям».

Райнер чувствовал уже легкую дурноту и не стал вчитываться в материалы под заголовком «Защита Марковича», где помещались хвалебные статьи критиков и письма литературных мэтров.

В одном из них сюжеты сербского литератора были названы «головокружительными», а стиль уподоблялся «глотку холодного шампанского в жаркий полдень: мгновенный озноб и опьянение, после которого у вас перехватывает дыхание, а жажда становится сильнее...» В другом бросилось в глаза начало фразы: «Автор таких шедевров, как «Мириам и Мария», «Конец войны» и «Пинг-понг», мог бы давно уже...» — но дочитать ее Райнер не смог. Он успел только прочесть в самом низу колонки о том, что швейцарское издательство «Нуар сюр блан», специализирующееся на восточноевропейской литературе, «намерено в ближайшее время выпустить в мягкой обложке избранные произведения Марковича на его родном, сербском языке с параллельным французским переводом и...» В этот момент объявили Веве.

Здесь, собственно, и происходит самое интересное в той череде совпадений, началом которой была купленная на вокзале газета (ее, кстати говоря, Райнер с наслаждением засунул в контейнер для бумажного мусора прямо на перроне).

Уладив формальности в штаб-квартире «Нестле» и затем в отеле, он поднялся в номер, осмотрел — по всегдашнему своему обыкновению — шкафы и ящики стола у окна и отправился в душ. Через полчаса, вымытый и свежий, он распаковал вещи, включил телевизор, убавив громкость до минимума, открыл бутылку Warsteiner'a и улегся в постель с объемистой папкой, врученной ему при регистрации. Улыбаясь, Райнер нашел свою фамилию в списке участников, краткую справку о себе и не без удовольствия отметил, что его доклад, запланированный программой на завтра, после второго кофе-брейка, будет выслушан крупнейшими авторитетами шоколадного дела. Он даже нарушил данное себе дома слово и пробежал два раза текст своего сообщения, давно, впрочем, выученного наизусть. Потом отложил папку и скорее по привычке, чем с намерением почитать, достал из верхнего ящика прикроватного столика книгу в непрозрачной суперобложке. Раскрыв ее, он вздрогнул.

Вместо полагающейся в отеле такого класса Библии он держал в руках том рассказов Леона Марковича на немецком, очевидно, забытый прежним постояльцем и почему-то не убранный горничной. Страницы книги, зачитанной и распухшей, были вдоль и поперек испещрены мелкими карандашными пометками на французском. Титульного листа не было.

«Бред какой-то», — прошептал Райнер и собрался захлопнуть книгу, но, взглянув в оглавление, вздрогнул опять. Среди десятка произведений, собранных в томе, предпоследним значился рассказ под названием «Frau Zähler».

Райнеру показалось, что у него кружится голова.

Нужно сказать, что он женился меньше года назад по страстной любви на сербской беженке, с которой за месяц до свадьбы познакомился в ночном дансинге в Триесте, где проводил свой первый большой отпуск. Тогда все происходило как во сне и складывалось необыкновенно удачно: сразу после свадьбы Анне выдали вид на жительство, и она начала ходить на курсы немецкого, он получил наконец место начальника отдела, смог снять хорошую квартиру в

центре — и чувствовал себя непрерывно и неприлично счастливым. Тогда же, подтрунивая над ее произношением, он стал в шутку называть Анну «фрау Целлер», а она подыгрывала, притворялась обиженной, надувала губы, но глаза — глаза ее смеялись...

«Frau Zähler», — прочитал Райнер еще раз, вспоминая глаза жены и не веря своим. Нервноничая все сильнее, он отыскал нужную страницу.

Рассказ открывало длинное рассуждение о евреях и мусульманах, которого Райнер не понял и, не дочитав, пролистнул. Руки у него дрожали, как бывает, когда выпьешь натошак крепкого кофе...

Это была изложенная от первого лица история школьного учителя и ученицы, закружившихся в вихре внезапной любви во время последней войны в Сараеве. Героиню звали Анна... Тут у Райнера взмокли ладони, но через секунду он вздохнул с облегчением, прочитав на другой странице: «...никто в округе не знал, что Анна — теперь моя Анна — Анна Градич носила фамилию отца, а по отцу была наполовину еврейкой, как не знал никто и не знает теперь о нашем безумном романе...»

Роман, разворачиваемый автором на фоне боев, пожаров и мародерства, длился четыре месяца. Любовники встречались в самых невероятных местах — как им казалось, втайне от мира и войны. Каждый жест, каждое слово были исполнены ужаса и пронзающего соблазна. Каждое новое свидание могло стать последним... Любовь была ослепительна, равно как и откровенность рассказчика, и Райнер пролетал не дыша сцену за сценой. Больше всего изумляло то, когда, как и почему героиня смеялась.

Оглушительным был ее смех в эпизоде, где герои яростно предавались ласкам в опустевшей школе, на сдвинутых в угол партах, под артобстрелом, который вели с окраин города мусульмане. И почему-то совсем жутким — страницей ниже — показался звенящий хохот Анны Градич, танцующей на русских бронетранспортерах совершенно пьяной.

«Бред какой-то», — поминутно шептал Райнер, лишь слегка успокоенный тем, что девичья фамилия жены не совпала с фамилией героини.

Между тем было ясно, что все это очень скоро кончится катастрофой, но впечатление, которое произвел на Райнера финал, почти без преувеличения можно назвать шоком.

Рассказ завершала следующая фраза: «После того как однажды ночью мусульмане вырезали несколько сербских семей, а сербы через день взорвали бомбу на мусульманском рынке, стали ждать погромов... Анна — моя темная, моя тайная — тень моя, Анна, растаяла в ночи... Говорили, что она достала фальшивые паспорта и вместе с матерью бежала в Триест, где вскоре вышла замуж за немецкого инженера и уехала к нему в Аахен».

Некоторое время Райнер лежал не шевелясь. Потом зашвырнул книгу в угол, глотнул пива и расхохотался. Ему вдруг стало легче. Он подумал, что такое количество совпадений неправдоподобно и слишком похоже на роман. Через пару минут он совсем успокоился, разобравшись с кнопками телевизионного пульта и разыскав новости «Евроспорта», сообщившие результаты игр Бундес Лиги и последний гамбургский счет.

Поразмышляв еще немного и как будто удивляясь сам себе, он переключил телевизор на платный канал «для взрослых». Как ни странно, ему даже не было жалко тридцати франков. Он оставил канал включенным и до половины третьего наблюдал эквилибристику и стоны порнодивы, так и не снявшей до конца фильма своих черных ажурных, полупрозрачных перчаток...

Так или почти так (если верить немногочисленным и противоречивым свидетельствам) Райнер Целер впервые столкнулся с книгой Леона Марковича.

2

Имя Райнера Целера замелькало в газетах Германии примерно через полгода. Репортеров, освещавших дело, почему-то немедленно охватывал голливудский пафос, заголовок «Целер против Целера» стал общим местом. Бракоразводный процесс никому ранее не известного инженера из Аахена мгновенно превратился в скандал с примесью уголовщины и всколыхнул страну.

Развода требовала жена Райнера, Анна Целер, сербская политическая эмигрантка, которая сбежала от мужа в Берлин и там публично обвинила его в систематическом принуждении ее к извращениям и в изнасиловании.

Процесс получил огласку благодаря активному вмешательству немецкого филиала феминистской Лиги свободы и лично ее президента, Лиз Полак, английской подданной польского происхождения, специально прибывшей в Берлин для участия в слушаниях.

Выяснилось, что незадолго до побега из Аахена Анна Целер, не имевшая в Германии ни родных, ни близких, ни достаточных средств, написала в Лигу свободы отчаянное письмо, в котором рассказала о своей полной незащитности и умоляла помочь. Это письмо мисс Полак предъявила суду.

Слушания продолжались более месяца. Интересы фрау Целер отстаивали братья Шерман, лучшие адвокаты Берлина, оплачиваемые Лигой свободы. Лиз Полак, чьи фотографии постоянно появлялись теперь рядом с рисованными портретами Анны Целер, почти ежедневно выступала с заявлениями и давала интервью.

«Сегодня,— говорилось в одном из них,— Германии предстоит доказать свое право называться демократической страной. Сможет ли немецкое правосудие возвыситься над собственными предрассудками и позорной волной ксенофобии, поглотившей пол-Европы? Защитит ли оно женщину, нашедшую в Германии спасение от национального насилия, но — увы — не избежавшую насилия индивидуального? Или показания Анны Целер покажутся суду недостаточно убедительными на том основании, что она все еще говорит с акцентом, а в ее жилах славянская кровь перемешана с еврейской?»

Доказательств действительно было маловато, и процесс затягивался. Адвокаты непрерывно требовали приглашения новых свидетелей.

Их показания в конце концов и решили дело. Многочисленные соседи, знакомые и даже сослуживцы инженера Целера признавали, что в последнее время Райнер «был не в себе и часто выпивал лишнего», а фрау Целер нередко видели подавленной. Обнаружилось и еще кое-что. Анна Целер, посещавшая вместе с другими эмигрантами курсы немецкого языка, по праву считалась одной из лучших студенток в группе. Она блестяще сдала экзамен и даже получила от преподавателя курсов — в качестве особого поощрения — книгу с произведениями знаменитого сербского писателя, ее соотечественника. Однако вместо того, чтобы через два дня явиться на торжественную церемонию вручения сертификата, фрау Целер вопреки всякой логике накануне ночью покинула квартиру в Аахене и уехала в Берлин... В тот же вечер многие видели, как Райнер в компании приятелей путешествовал из бара в бар и к ночи был совершенно пьян...

Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам тюрьмы...

На этом карьере Райнера Целера была закончена. Быть может, и жизнь. Известно, что его освободили досрочно, но с этого момента о нем никто ничего не слышал — он исчезает бесследно, не оставив ни бумаг, ни устных свидетельств, и таким — именно таким — образом покидает наше повествование.

3

Разумеется, об Анне Целер скоро забыли. Говорили — правда, без уверенности, — что она примкнула к феминисткам и сразу после процесса получила место личного секретаря Лиз Полак.

Сама же мисс Полак продолжала появляться в столицах Европы на мероприятиях Лиги и время от времени возобновляла борьбу за бойкот и запрещение произведений Леона Марковича, впрочем, без особого успеха: тиражи сербского автора росли и отлично продавались, хотя пресса давно и явно утратила интерес и к самому Марковичу, и к эскападам мисс Полак. Кое-кто из журналистов осмелился предположить, что глава Лиги свободы состоит в сговоре с Марковичем и все ее филиппики — не что иное, как рекламный трюк, периодически разыгрываемый, с тем чтобы лишний раз эпатировать публику и привлечь внимание к книгам сербского писателя. Утверждали даже, что Леон Маркович и Лиз Полак давно ведут между собой тайную переписку. Некоторые, напротив, высказывали сомнение в самом существовании Лиз Полак, называя ее тенью, фантомом и остроумной выдумкой Марковича.

Словом, история грозила обернуться фарсом, но закончилась трагедией три месяца спустя, когда мисс Полак — невыдуманная и живая — совершенно неожиданно покончила с собой в своей лондонской квартире на Ульва-роуд.

Она приняла большую дозу снотворного. На рабочем столе, с которого заранее была тщательно стерта пыль и убрано все лишнее, она оставила аккуратную записку из трех слов: «Я сама. Простите».

В ее кабинете, поразившем полицию почти стерильной чистотой и порядком, были обнаружены, помимо документов Лиги свободы, разнообразные издания книг Леона Марковича с пометками, сделанными рукой Лиз Полак на польском и английском языках, и подробное завещание, заверенное нотариусом.

Поскольку обстоятельства смерти мисс Полак (хотя и странной, но, бесспорно, добровольной) не вызвали никаких сомнений, полиция передала документы ее адвокату и закрыла дело.

Подлинной сенсацией стало не столько ее необъяснимое самоубийство, сколько завещание и две связанные с ним находки. Состояние Лиз Полак, а также все ее движимое и недвижимое имущество наследовала Лига свободы — этим, собственно, исчерпывался раздел завещания, касающийся материальных аспектов.

Большая же и самая детальная часть документа была посвящена книге «Великие неизвестные», рукопись которой, вычитанная и подготовленная к печати, была обнаружена в том же кабинете. Согласно воле покойной, эта книга, а точнее, антология («труд жизни моей», — говорилось в завещании), передавалась американскому издательству «Харпер Коллинз», получавшему права на три переиздания рукописи в течение пяти лет. Пожизненной наследницей и распорядительницей всех прочих имущественных авторских прав на любое издание и использование книги Лиз Полак сделала свою шестнадцатилетнюю племянницу, проживавшую в США, сопроводив это решение убийственным комментарием: «Когда меня не станет, целая толпа недоучек и убуд-

ков начнет делать на этой книге миллионы. Пусть же девочка получит свое и проживет жизнь безбедно, а ее дети никогда не узнают горький вкус эмигрантского хлеба. Быть может, так мне удастся сделать счастливым хотя бы одно живое существо...» Едва ли кто-нибудь тогда воспринял эти слова как пророчество...

Сегодня антологию «Великие неизвестные» можно найти в любом книжном магазине по обе стороны Океана. Это чудо энциклопедического жанра, своего — то есть женского — рода тайная история литературы, главными героями которой стали бесчисленные жены и любовницы, помощницы и секретарши, соблазнительницы и вдохновительницы писателей-мужчин всех времен и народов, — это завораживающий каталог реальных страстей, разрывов, скандалов и адюльтеров, подаривших миру столько шедевров и невозмутимо расставленных в алфавитном порядке по именам героинь, — теперь эта удивительная книга переведена даже на русский и китайский.

А в те дни обнаруженная рукопись, плод колоссального и невидимого труда, стала настоящим открытием, правда, понятным не сразу.

Не исключено, что в самой передаче книги издательству «Харпер Коллинз» таилась некая мрачная ирония, столь свойственная словам и поступкам мисс Полак: незадолго до ее самоубийства именно это издательство выпустило труд двух американок, Беверли Уэст и Нэнси Песке, — сборник переименованных знаменитых любовных историй, в которых согласно аннотации «такие мужские парсонажи, как Самсон, Ретт Батлер и Хитклифф, наконец-то демонстрируют ответственность, верность и понимание». Известно, что Лиз Полак называла этот сборник «феминизированной блевотиной». Известно также и то, что благодаря первому же изданию «Великих неизвестных» дела «Харпер Коллинз» вновь быстро пошли в гору.

Впрочем, тогда, в первые дни после смерти Лиз Полак, внимание публики занимала другая находка, сделанная полицией в ее кабинете.

Это был обрывок любовного письма, которое Лиз не успела или не решилась отправить. Плотный, сложенный вдвое листок был найден в рукописной толще «Великих неизвестных», откуда выступал краешком наподобие закладки. Почерк, без сомнения, принадлежал мертвой хозяйке. Адресата установить не удалось. Полицейский, открывший письмо первым, был ошеломлен его страстностью и бесстыдством.

Позднее некоторые фрагменты письма (возможно, сфальсифицированные) попали каким-то образом в прессу. Вот лишь наиболее сдержанные из цитировавшихся выражений.

«Только ты знаешь, — писала Лиз Полак неизвестному, — а губы, твои мучительные губы не знают, где проходят границы вожделения, что плывет и пылет за ними. Молю тебя: вернись. Вернись — ты увидишь, что там, за пределами страсти, не одно лишь пресыщение, но и нежность — не правда ли, нежность?»

Кем был этот возлюбленный Лиз Полак? Не разлука ли с ним послужила причиной ее самоубийства? Почему никому из окружения Лиз не было известно ничего ни о нем, ни об их тайном романе? Куда и почему он скрылся, и неужели это письмо было единственным свидетельством их любви?

Все эти вопросы остались без ответов, а полиция под сильным давлением Лиги свободы предпочла не усердствовать.

И если теперь никто уже не может сказать, где начинается запутанная история фрау Целер и всех соприкасавшихся с ней людей, то завершается она

вполне определенно — самоубийством Лиз Полак, трагически открывшим Европе, что знаменитая феминистка не только вела двойную жизнь, мучилась нешуточными страстями, но и была первоклассной писательницей.

4

Именно так рассказывал нам эту историю профессор Эрик Штамм, наш главный редактор и учитель.

Я слушал ее уже в третий или четвертый раз и не переставал удивляться тому, что его неподражаемые интонации были неизменно выверенны, а изложение повторялось почти дословно. Лишь изредка он сокращал некоторые подробности женевской поездки Райнера Целера или опускал эпизод с порнографическим фильмом. Он говорил негромко, глядя куда-то поверх наших голов, как будто читая плывущий в воздухе текст.

Всякий раз, дойдя до последних слов и назвав Лиз Полак первоклассной писательницей, профессор умолкал и начинал неторопливо раскуривать свою знаменитую черную трубку. Было видно, что безмолвие, медленно заполнявшее наш маленький конференц-зал, доставляло ему удовольствие.

Он давал нам минуту-другую, чтобы каждый мог самостоятельно осмыслить всю странность этой ложной развязки, после чего делал несколько быстрых затяжек и осторожно улыбался.

«Вы спросите, конечно,— продолжал он,— при чем же здесь фрау Целер и куда, собственно, она подевалась?»

Тут мы вступаем в зыбкую сферу гипотез и догадок, и я могу предложить лишь версию происшедшего — версию, к сожалению, бездоказательную, но по крайней мере объясняющую многое...

Полиция, прекратившая дело столь поспешно, не заметила или сделала вид, что не заметила, двух обстоятельств: конкретного места в рукописи, куда было вложено письмо Лиз Полак, и того, что оно было написано по-английски.

Английский язык за исключением личных местоимений третьего лица, архаизмов и некоторых экзотических случаев не знает категории рода. Полицейские безуспешно пытались установить имя любовника мисс Полак, и никому не пришло в голову, что ее пламенное послание было адресовано вероломной любовнице, имя которой без труда читалось по инициалам, проставленным на странице рукописи «Великих неизвестных» — той самой странице, заложенной письмом. Сама страница была пуста, а вверху, посередине, твердой рукой Лиз Полак было выведено «F Z... Frau Zähler».

Здесь профессор делал еще одну паузу — совсем короткую — и оглядывал слушателей.

«Всякая антология или энциклопедия по природе своей неполна. В этом ее ущербность, в этом же — ее горькая прелесть и приближение к бесконечности. Энциклопедия устаревает раньше, чем выходит из печати, но зато ее могут продолжать другие, вообще говоря, до тех пор, пока не надоеет.

Сегодня любая первокурсница знает, что фантастическая — в смысле, обратном жанровому,— фантастическая и летучая книга Лиз Полак не была закончена ею. Ни в одном издании «Великих неизвестных» нет раздела, посвященного женщинам, чьи фамилии начинаются с буквы Z.

«F Z», — написала Лиз на пустом листе. Думаю, она знала многое о своей возлюбленной, Анне Целер, и намеревалась сделать ее одной из героинь собственной книги — намеревалась, но не успела. Или не смогла.

Думаю, на самом деле события развивались так.

Райнер Целер, бедняга, читая книгу Леона Марковича в Веве, испугался не зря. По-видимому, его жена до замужества действительно под чужой фамилией бежала в Триест из Сараево, где еще раньше была любовницей своего школьного учителя, и звали ее Анна Градич. Конечно, тогда трудно было вообразить, что провинциальный сербский учитель станет знаменитым писателем и сочинит рассказ, в котором опишет, не меняя имен и обстоятельств, историю своей тайной любви. Можно даже предположить, что бесстыдно автобиографический рассказ Марковича не что иное, как отчаянное послание, обращенное к далекой возлюбленной, или (кто знает?) попытка заговорить судьбу.

Во всяком случае, нам придется признать почти невероятное: все, что написано в рассказе «Frau Zähler», — правда, от первого до последнего слова. Точнее, в нем, в этом рассказе, в отличие от других произведений Марковича нет ничего, кроме правды.

Примерно через полгода после того, как инженер Целер вернулся из Швейцарии, фрау Целер, она же Анна Градич, заканчивает курсы немецкого и получает от преподавателя подарок за особые успехи — книгу серба Леона Марковича в немецком переводе. Очевидно, Анна заглядывает в нее... Можно ли представить себе, что происходит в ее голове и сердце, когда она видит название «Frau Zähler»?

Так или иначе она решает уйти от мужа к своему бывшему любовнику, живущему теперь где-то в Берлине и известному всей Европе...

Думаю, никакого изнасилования и прочих ужасов, о которых Анна рассказывала в своем письме Лиге свободы и на бракоразводном процессе, не было. Вероятно, ей пришлось выдумать все это, чтобы добиться быстрого развода и расположить к себе Лиз Полак — единственного человека, дававшего, по замыслу Анны, хоть какую-то, пусть гипотетическую, надежду приблизиться к сферам, где вращался теперь Леон Маркович.

На суде Анна знакомится с Лиз и вскоре становится ее подругой, помощницей, а позднее и любовницей. Не исключено, что она даже отчасти посвящает Лиз в историю своих взаимоотношений с Марковичем. Она разъезжает вместе с Лиз по Европе. Она ищет Леона Марковича...

Мы никогда не узнаем, где и как они встретились вновь. Предположительно, это могло случиться во время одного из визитов Марковича в Англию.

Фрау Целер — Анна Градич — бросает мисс Полак и бежит с Марковичем. Лиз пишет ей страстное письмо, но прерывается и не отправляет его. Собственно, отправлять его некуда. Понимая, что все кончено, Лиз Полак с какой-то обреченной скрупулезностью наводит порядок в делах и принимает целую упаковку транквилизаторов...

Мне кажется, что, засыпая, она не плакала, потому что видела перед собой Анну, свою единственную любовь, ту, которой так и не суждено было стать персонажем великой книги и открыть главу, начинающуюся с буквы Z».

Произнеся это, профессор Штамм обычно снова раскуривал трубку и прикрывал глаза. Общее молчание, как правило, было длительным.

«Какой сюжет!» — вздыхал он через минуту, и все мы, сидящие напротив, отлично понимали его.

Мы, группа молодых и очень наивных филологов, боготворили профессора, хотя он и был старше нас всего лет на десять—двенадцать, и с энтузиазмом помогали ему, собирая материалы для продолжения его грандиозной книги — главного проекта издательства, — прославившей его антологии «Тексты-убийцы».

Это было время увлекательнейшей работы, напоминавшей детективную. Вышло уже два тома антологии, издательство процветало, мы были полны надежд и предвкушений.

Профессор говорил, что идея раскопать и собрать — в форме энциклопедии — историю всех текстов, которые послужили прямой или косвенной причиной гибели людей, не отвеченной, символически-фигуральной, а реальной физической их смерти, — идея эта возникла в результате его собственной нелепой ошибки. В юности, уверял профессор, на глаза ему попала книжка Джеймса Бойла «Секты-убийцы». Заполняя библиотечный бланк, он якобы по рассеянности вместо «секты» написал «тексты» и, прочитав написанное, замер от ужаса и восторга.

Мы в это не верили, но работали, как сумасшедшие, над третьим томом, открывавшимся буквой N. Уже тогда антология стала бестселлером, и приобщиться к этой работе было и почетно, и радостно. Хорошо помню веселый, почти детский озноб, охватывавший меня, когда я читал «Сказание о Сатни-Хемусе и мумиях», предварявшее основной корпус антологии. Египетская сказка четырехтысячелетней давности рассказывала о безумии и гибели сына фараона, прочитавшего запретную книгу Тота в городе мертвых. Профессор считал эту книгу первым текстом-убийцей, зафиксированным историей письменной литературы.

Самыми заурядными в антологии были страницы, посвященные хрестоматийной истории гетевского Вертера с длинным перечнем англо-франко-немецких имен его реальных читателей-самоубийц. Самым захватывающим — раздел *Dubia**, куда были включены, в частности, тексты двух маловразумительных русских классиков — Пушкина и Лермонтова: оба, по мнению профессора, наворожили обстоятельства своих будущих смертельных дуэлей.

Словом, никакие детективы не могли сравниться с антологией, вобравшей в себя подлинные факты, свидетельствовавшие о преступлениях литературы перед жизнью, когда тот или иной опубликованный текст начинал вдруг убивать людей наповал. Читать такую книгу, а тем более работать вместе с создателем над ее продолжением, было для нас невероятным счастьем.

Всякий раз, принимая в группу новичков, профессор собирал всех нас в конференц-зале и рассказывал историю фрау Целер. Он называл этот сюжет блистательным образцом современного текста-убийцы и сравнивал воздействие короткого произведения Марковича с выстрелом снайпера. Он был убежден в том, что именно появление рассказа «Frau Zähler» погубило жизни по меньшей мере двух людей — инженера Целера и писательницы Лиз Полак. «Возможно, были и другие жертвы», — добавлял он с грустной улыбкой.

Что до меня, голос Эрика Штамма я готов был слушать часами, и даже хорошо знакомая история не казалась мне утомительной. Единственное, чего я никогда не мог понять и не осмеливался спросить у профессора, — что мешало ему перенести этот готовый сюжет на бумагу и поместить, пусть и досрочно, в ближайший выпуск антологии?

Ведь однажды, признаюсь, я случайно заметил на его столе папку с титулом FZ, которую он тут же спрятал в ящик... Значит, и сам он думал об этом, но чего-то ждал или боялся...

Как-то июньским вечером, выслушав историю фрау Целер в очередной раз и с удовольствием подискутировав с коллегами, я решил: нарочно замеш-

* *Dubia* (лат.) — сомнительное. В собраниях сочинений стандартный раздел недостоверно атрибутированных текстов.

кался у стола и, дождавшись, пока все выйдут, задал профессору давно мучивший меня вопрос.

Он быстро опустил и поднял глаза и принялся теребить свою бороду, как делал всегда, размышляя или внимая собеседнику. Было слышно, как за окном шумит ветер и поют птицы.

«Видите ли,— сказал он, помолчав,— в те времена, когда Леон Маркович еще жил в Берлине и подбирался к зениту славы, познакомиться с ним я не мог. Вот уже несколько лет, если верить слухам, он добровольно заточил себя в своем огромном доме где-то на берегу Женевского озера, никуда не выезжает и ни с кем не встречается. Мои друзья, знавшие его, уверяют, что жену его зовут Анна... Сюжет в самом деле хорош, но, думаю, опубликовать эту историю пока рано, поскольку герои ее еще живы и, так сказать, бродят среди нас».

5

Теперь, когда профессора уже нет с нами, время и обстоятельства позволяют мне рассказать о том, что открылось несколько лет спустя.

Эрик Штамм, наш учитель, наш главный — Главный — редактор, лукавил, отвечая тогда на мой вопрос, бестактность которого я понимаю только сейчас. Профессор солгал: совсем иные причины останавливали его руку, но кто из нас вправе судить его?

Я выяснил, что Эрик Штамм, еще не будучи профессором и знаменитостью, проходил свидетелем на процессе «Целер против Целера».

Узнать остальное не составило труда.

Эрик Штамм был поволжским немцем, эмигрировавшим в Германию из захолустного городка Энгельс в Саратовской области. Он поселился в Кельне примерно в одно время с приездом молодой четы Целер в Аахен. Поскольку Эрик был филологом и владел русским так же свободно, как и немецким, ему удалось быстро получить место преподавателя на курсах, где обучались языку эмигранты из славянских стран. И хотя ему приходилось четыре раза в неделю ездить на занятия за семьдесят километров от Кельна, в Аахен,— такую работу нельзя было не считать удачей.

Одной из студенток Эрика Штамма (и это установлено документально) была Анна Целер, сербская эмигрантка, жена инженера Целера...

Не знаю, влюбился ли он сразу и было ли чувство хотя бы немного взаимным. Не уверен, догадывалась ли она о чем-нибудь. Достоверно известно одно: Эрик Штамм и был тем самым преподавателем, что вручил ей по окончании курсов злополучную книгу Леона Марковича. Полагаю, вручил, не заглянув в нее сам. Вручил не только в знак поощрения, но и как некий символ, как последнюю неясную надежду.

Сейчас, перелистывая страницы «Текстов-убийц», я могу лишь с невеселым изумлением повторить слова моего приятеля, сказавшего как-то, что Эрик Штамм с каждым годом пишет все лучше, и для меня совершенно очевидно: до тех пор, пока он был жив, пока он любил и помнил свою лучшую студентку, история фрау Целер в его антологии появиться не могла.

Я вспоминаю голос профессора, наши вечерние беседы, давно растаявшие в табачном дыму, и пытаюсь представить себе смех Анны Целер — женщины, которую я видел только на рисунках судебных репортеров.

Возлюбленная трех великих и одного простого смертного, понимала ли она, что каждый шаг превращал ее в литературный персонаж, приближая к самому лживому фантому бессмертия?

Анна КУЗНЕЦОВА

МАТЬ

Позволите ли вы не объяснять, как случилось, что зачала я первого ребенка в одиннадцать лет, при этом я вас буду уверять, что мой первенец — не аллегория стихотворной строфы. Это был настоящий младенец, который лежал на своей первой пеленке и пытался ручонками уцепиться за воздух, пока я на него смотрела, и удивление подначивало взгляд: не создано ли это существо моим безукоризненным чувством поэтической формы?

Не знаю, насколько происшествие это может быть объяснимо тем фактом, что я жила тогда в дивной Грузии моих чувств, где одиннадцатилетняя женщина может быть наделена привлекательностью и физической зрелостью, — стране, куда меня похитил мой беловолосый курносый грузин, который дал нашему сыну грузинское имя Кузьма.

Второй ребенок появился в четырнадцатый год от моего рождения. Его назвали мы Гаврил — он и был тем архангелом, что показывал путь, но наше редкостное вероисповедание нам не позволяло добавить еще одну благозвучную «и» в его имя или «а» приписать на конце. Имя так и осталось коротким и странным.

Кузя с Гашей росли, удивленные четким порядком предписанной всем рожденным жизни, где на первом году человеком уже постигается логика дня, на четвертом — недели, на седьмом — всего года; где раскидистый клен за окном — это дерево, астра в стакане — цветок, а высокие стены и гулкие своды — наш дом, где мы держали за окном деревья, скрывавшие море с кричащими чайками, под окном — бело-розово-фиолетовые цветы, перед окном, на холсте для просушки — картошку, а на подоконнике в рифму «картошке» — пушистую кошку.

Наша Грузия часто меняла границы, для чего вела войны, в том числе и такие, которые отнимают отцов у детей. До совершенства своих лет я их прятала в доме, подозревая, что подвергнусь остракизму, — что-то сходное со страхом кастрации у фрейдистски изученных девочек той страны, в какую превратилась моя Грузия за эти семь лет до сентябрьского дня, когда Кузя понес разноцветный букет незнакомой учительнице, которой я просила его верить. Я держала его за дрожащую руку, наш архангел бежал впереди, и всем, кто когда-нибудь интересовался нашим родством, я с тех пор говорила, что они — мои братья, вполне удовлетворенная тем, что так просто избежала Петровых мук предательства, потом раскаяния — в какой-то мере это верно, все люди — братья. А через день мой мальчик уже знал, что каждая из астр, которые в тот день покачивались в такт его шагам, на латыни — «звезда».

Событий больше не было, кроме того, что два года спустя я проделала ту же прогулку со своим младшим сыном. А потом они сами находили другие дороги, возвращаясь все реже. Вот и весь мой рассказ:

Хочу только вспомнить момент, до которого я сохраняла с ними тайную связь в том непоэтическом мире, где они обречены были жить, где присутствовал их осязаемый облик и отсутствовала эфемерная суть. Где нужно притвориться сумасшедшим, чтоб обрести тоску, — все это странное чередование мыслей, поступков, реакций, ночное гнетущее эхо не видимых глазу вещей с географическим профилем лунного моря, необоримо схожим с давней Грузией, где был наш дом; и странница-странница в одном случайном дне из всех дальнейших лет с этим наследственным правом на существование на солнечном столе открытой книги, не значившей ни на щепотку больше всего, что еще было там,

где жгла я бесполезный свет, пока прибор волнующихся строк не выносил простые утешения: ребенок — в твоём доме гость. Это были действительно гости: вежливые, предупредительные, озабоченные недоступной мне жизнью, далекой от на миг возникающего у меня ощущения за пределами всех перечитанных строк, — то, чего не учитывает никакая политика, даже поэзия. Что будто все же существует у моего рассказа продолжение преднамеренно солнечными пейзажами, до пределов залитыми оттепельной водой, — быть может, это место для прогулок в сидонской ткани, смятой на плечах, и с умоглядительной сумой, куда, возможно, складывать придется оставшиеся от событий вещи?

Они исчезали, опять появлялись, переговариваясь на недоступных моему пониманию языках, где есть торий и иттрий, титан и уран, но нет ветра, и младенца Гаврила ребенок Кузьма не попросит: «Напомни мне, как выглядит Господь, я начинаю забывать Его улыбку».

Я писала свои им послания в столбик, и в строчку, и зеркальным письмом, пока не поняла, как неприступна разница между их смыслом и моим в необщем нашем мире, где грусть всегда выходит лучше, чем веселье: вдруг станет блеклым, словно ситцевый испод, пейзаж с прибором из далекого пространства, на подходе к которому волны мельчают, скрывают друг друга, конечные встречи и кричащих осенними чайками ангелов, что на пути к принебесной границе роняют крыла в беспечальную суть, где малыш, не сумевший взобраться на скользкий валун, вдруг кувыркнулся в ласковую воду, теряя одну из любимых игрушек, что названа «мать».

Роман СЕНЧИН

ВДОХНОВЕНИЕ

Осталось только завернуться в одеяло, лечь на кровать и ничего не видеть. Закрывать глаза, замереть. Еще один вечер, а потом наступит ночь, за нею приползет побитой, больной собакой следующий день. И что? Меньше трех месяцев хватило, чтобы и здесь мне стало невыносимо. И вот осталось только завернуться в одеяло, лечь на кровать и закрыть глаза. Ничего не видеть. Пошло-яркие картинки на стенах, неизменные в каждой комнате, казенную мебель, стулья, которые рассыпаются и их нужно поминутно сбивать ладонями, грязные обои, пыльную паутину под потолком, за окном серую муть осени. Тоска, она мешает мне дремать, она цепкая, она трясет меня, толкает куда-то. Я распутываюсь, встаю, снова кутаюсь в одеяло. Кажется, в комнате минусовая температура, в щели окна дует, занавеска колышется от сквозняка. Что я здесь делаю? Я приехал, чтоб изменить свою жизнь, мне надоело там, я думал, что появятся новые люди, интересные люди; надеялся найти здесь что-то, о чем смутно догадывался, лекарство от вечного неудобства, скуки, неприкаянности. Не скрою, у меня были слишком радужные представления о Литературном институте. Но вот я понял, что попал в еще худшее дерьмо, в более глубокую яму. Там, дома, грели мечты, там многое можно списать на провинциальную тупость, кричать: «Болото!» — и плакать, что одинок и несчастен. Но и здесь, и здесь я одинок и несчастен. Я не могу писать, из меня текут лишь желчь и нытье — на это я, кажется, теперь только и способен. Нет денег, еды, никуда нет желания пойти, а ведь я в Москве, через пару месяцев меня вышибут отсюда, так как я совсем не учусь, я не сдам сессию, и меня отчислят. Я соберу вещи-

ки, побреду куда-нибудь дальше по жизни. Усталый, забытый, злобный. Как слезливо и романтично...

Открыл дверь. Выглянул в коридор. Коридор пуст. Лампы не горят, здесь еще холоднее. Зачем я выглянул? Закрываю дверь, принимаюсь ходить по комнате туда-сюда. В пачке несколько сигарет «Примы». Закурить... Неизвестно, куплю я завтра новую пачку или нет... Нет, повременю, пока можно и потерпеть.

У Марины и Оксаны я не ел почти неделю, может, чего-нибудь дадут пожевать. Они добрые, если у них есть, они не откажут. Мы учимся в одной группе, на прозаиков; Марина приехала откуда-то из Средней Азии, а Оксана — с Поволжья, обе уже нашли работу: одна репетитором, ходит к какому-то мальчику и учит его английскому языку, другая в отделе писем в редакции мелкой газеты.

Оксана сидит за столом, пишет, Марина режет хлеб. В сковородке аппетитно парит жареная картошка, рядом копченая скумбрия. Да, я подгадал в самый раз.

— Добрый вечер, девушки! — говорю я.

Они отвечают: «Привет, привет!» — и приглашают к столу.

Да, жареная картошечка и рыба, что может быть лучше!.. Девушки выглядят усталыми, им не до разговоров, мне, если честно, тоже. Но для приличия я спрашиваю:

— Как день прошел?

— Нормально, — отвечает Марина. — А у тебя?

— Так... Скучно, одиноко...

Говорить нечего. О литературе мы наговорились в первые недели знакомства, почитали произведения друг друга, поспорили, все выяснили, а теперь идут будни — то, что называется жизнью... Вот Марина вспомнила смешное из сегодняшней лекции по введению в языкознание, стала пародировать преподавателя и, наконец, рассмешила Оксану, и я тоже немного похихикал...

Хорошо, поел, теперь можно вернуться к себе, с удовольствием покурить. На сытый желудок не так страшно встретить ночь.

— Пишешь что, Оксан?

— Да так, пытаюсь...

— Дашь почитать?

— Ну, как готово будет.

Писательницы... До пятого курса научат их стряпать терпимые поделки. Такие дотягивают до диплома, становятся профессионалами. Как там? «Литературный работник».

В коридоре я встретил Андрея. В первый момент я обрадовался, а потом испугался, ведь Андрей — это значит чуждые мне разговоры, споры, напряги...

— О, Андрей, ты откуда?

Пожали друг другу руки, потрясли их. Подходим к комнате.

— Заходи, вот мое жилище.

С Андреем мы после десятого класса отправились в Ленинград, он там зацепился, стал теперь в свои двадцать четыре одним из главных торговцев обувью, имеет трехкомнатную квартиру, дорогую машину, свой торговый дом, склады. Из школьного хулигана Андрюни он превратился в солидного мужчину, знающего себе цену, с головой на плечах и пухлым бумажником в кармане. Он вроде и считать-то как следует не умел, а теперь ворочает миллионами, контролирует доходы-расходы, разбирается в накладных, за пять минут принимает рискованное решение, поняв каким-то чутьем, что оно принесет ему выгоду.

Я включил свет — свет немного сглаживает убогость комнаты,— налил в банку воды из пластиковой бутылки, включил кипятильник.

— Ты один, что ли, живешь? — спросил Андрей, положив «дипломат» на старый диванчик, который по причине многодневного отсутствия моего соседа Дениса не был застелен.

— С парнем вообще-то, но он здесь редко теперь появляется.

Андрей с легким презрением оглядывал обстановку. Он, если честно, меня раздражает. Рядом с ним я особенно чувствую свою ничтожность. Каждое его движение выдает уверенного, знающего, как надо жить, человека.

— А где он?

— В институте работает дворником, потом едет к девушке, ночует у нее.

— А ты не работаешь?

Я хмыкнул:

— Мне учиться хватает.

— А деньги?

— Стипендия семьдесят тысяч, родители...

— Я-ясно.— Его голос напоминает следовательский, и наш разговор как допрос.

Я решил перевести его на другую тему:

— Ты надолго в Москву? Да садись, Андрей, что ты стоишь... Сейчас чай будет готов.

— В четыре утра самолет в Варшаву.— Он сел, развалился на шатком стуле, закинул ногу на ногу.— Еще зайти здесь кой-куда надо. Почему так холодно?

— Комната угловая, батареи чуть теплые, да и окно не заклеено, сквозит... Обогреватель есть, но что-то там отпаялось...— Я тоже сел.— Как дела, процветаешь?

— Идет потихоньку,— кивнул Андрей.— Еще один склад арендовал. Бухгалтера пришлось взять, сам уже не справляюсь.

— Рад за тебя. Вот, полюбуйся машинкой.— Я показал на стоящую на столе пишущую машинку.— «Самсунг». Спасибо тебе.

— Сколько стоит?

— Шестьсот шестьдесят. На вэдээнха купил, год гарантии. В ней специальная лента есть — не то слово или букву напечатал, можно тут же стереть.

— Да,— усмехнулся Андрей,— тебе эта лента как раз необходима.

В начале октября я ездил в Питер к Андрею за деньгами на эту машинку. Он, конечно, дал как старый друг. В целом одобрил мое поступление в Литинститут, хотя, кажется, не верит, что я буду учиться. Я тоже думаю: долго мне здесь не выдержать... Вода закипела, я заварил чай в кружке.

— Что-нибудь новенькое написал?

— Конечно! — Я постарался ответить бодро.— Несколько рассказов, сейчас над повестью работаю.

— О чем?

— Повесть? М-м... Из жизни рабочего... один день его жизни.

— Я-ясно.— Андрей еще раз оглядел комнату.— Покажи-ка обогреватель. Здесь же холодно невозможно!

Я вытащил из-под дивана электроплитку, служившую обогревателем. Андрей осмотрел ее.

— У тебя отвертка есть?

— Нет.

— Тогда подсоединим напрямую.

Он действовал как заправский электрик; я закурил, наблюдал за работой; окончив операции с проводками, Андрей спросил:

— Куда поставить?

Я показал под обеденный стол.

— Только осторожней, не задевай, может замкнуть. Ну-ка включи.

Я вставил вилку в розетку, спираль постепенно стала краснеть.

— Порядок.— Андрей удовлетворенно глотнул чаю.— Тут дел-то на пять сек. Сам бы мог, не ребенок... Да, я твою писанину привез.— Он открыл дипломат, вынул папочку, положил рядом с машинкой.— Вот...

— Прочитал?

— Прочитал.— Он сделал паузу.— Но деньги вбивать в это не буду.

— Хм... Сам же предложил что-нибудь выпустить... книжку...

— А ты меня обманул,— объявил Андрей и помахал рукой перед лицом, давая понять, что ему крайне неприятен дым вонючей моей сигареты, я послушно затушил ее.

— Почему это обманул?

Сейчас начнет мне все объяснять. Каждую нашу встречу он указывает, что я выгляжу, думаю, живу совсем не так, как надо; он делает мне замечания, что я хожу, шаркая подошвами, не мою руки перед едой, пью сырую воду, вовремя не стригусь. Он делает это не потому, что хочет обидеть меня, просто он хочет меня изменить; люди, выбившиеся из грязи, считают обычно своим долгом вытаскать вслед за собой ближнего. И вот теперь наступил момент, когда Андрей будет учить меня, о чем надо писать.

— Ты говорил, что правду пишешь, а на самом деле...— Он еще не готов сказать откровенно, ему нужна моя реплика, и я ее выдаю:

— А что там?.. Про жизнь же, правдиво...

— Правдиво,— кивнул Андрей,— а не правда. В жизни, по правде, не так. В жизни и хорошо, и плохо, и это все перемешано, а у тебя мазано одним цветом.— Он пожал плечами.— Может, и талантливо написано, я в этих делах не особенно разбираюсь, но мне лично читать было неинтересно, иногда просто противно. Во-от... Короче, мне кажется, надо писать другое.

— Что?

— Нормальное, чтобы интересно было и...— Он употребил умное словечко: — Объективно. Понимаешь, людям и так в жизни хреново живется, а тут они еще это почитают... Что они увидят в твоей писанине? Они этим и так по горло сыты. По-моему... Я не знаю, что там говорят вам в вашем институте, но задача литературы, если уж она есть, не в таких делах... Не в таких вещах, как у тебя.

Я стал терять терпение.

— О чем прикажешь написать, чтобы тебе понравилось?

— Не знаю,— не заметил Андрей моей издевки,— не знаю, ты же у нас писатель. Думай.

Спорить, особенно с Андреем, мне не хочется. Споря, несложно и разругаться, а Андрей последний, у кого можно попросить помощи, денег. Уже несколько раз я порывался послать ему телеграмму, но откладывал до крайней нужды.

— А если я не вижу ничего здесь хорошего? Нет, вижу, но от этого меня тошнит, ведь это-то и есть настоящая ложь. Сами себя веселят, чтоб с ума не посходить. Заметил, сколько теперь праздников стало? По любому поводу концерты, народные гулянья, салюты, и все для того, чтобы скрыть вот это... м-м... это все...— Я поморщился и махнул рукой.

— Никто и не просит про праздники. Про жизнь надо, про нормальную жизнь. Вот,— Андрей чуть замялся,— вот, например, я. Как я целый день вкалываю, бегаю, верчусь, а вечером отдыхаю. Я живу нормально, и день у меня складывается и из проблем, и из неудач, и, конечно, из радостей... Нормальная жизнь. Вот и напиши, ха-ха! — Он хохотнул, чтобы не показаться наглым.— Напиши хоть обо мне. Месяц же наблюдал мою жизнь, в блокнотик что-то записывал. Вот и пиши теперь. Объективно.

Я ответил честно, а может, и нет:

— Скучная у тебя жизнь...

На что мы не способны — легче всего отрицать. У меня нет энергии и мозгов, чтобы жить, как Андрей, заниматься тем, чем он. Поэтому нужно было сказать, что у него скучная, неприемлемая для меня жизнь.

— Я так не считаю.— Голос Андрея стал сухим и спокойным.— Я не считаю, что у меня скучная жизнь... Ну ладно, пусть скучная, но это жизнь. Я чувствую себя человеком. А у тебя что там в рассказах, в повестях? Сидишь где-то в выгребной яме, вокруг помойка, высунешься: «Ой, какой мир гадкий!» — и обратно в яму. Все алкоголики, шлюхи, психи. Да, конечно, есть помойки, без них нельзя, но ведь и другое есть.

Как здраво он рассуждает!

— Я знаю, Роман,— чуть помолчав, несколько смягчившимся тоном продолжил он,— что я и моя жизнь тебе не особенно симпатичны, но, извини, понадобилась тебе машинка, ты ко мне приехал, деньги взял, и тут же нос воротить, глядя, как я эти деньги делаю. И я тебе уже объяснял, зачем я их делаю: хочу жить по-человечески. Хочу, чтобы у меня были хорошая квартира в удобном месте и машина и чтобы я был одет так, чтоб не стыдно за себя было. Раньше я тоже не понимал, а теперь не понимаю, как так вот,— Андрей обвел взглядом комнату и остановился на мне,— так жить можно. Для меня это не жизнь, если сказать откровенно. И помнишь, ты смеялся, что я торговый дом назвал «Данилов»? Да, я хочу, чтобы ее знали и знали, что у Данилова — у Андрея такая фамилия — обувь самая лучшая и надежная.

Я хмыкнул:

— Если б ты ее сам еще шил...

— И это будет,— уверенно сказал он.— Пока только начало.

— Мда...

Помолчали, я подлил чаю. Андрей же не мог не обратить внимания на мою шевелюру.

— Опять оброс, неприятно же. Ты на себя в зеркало смотришь?

— Нет.

Он поморщился.

— Что ты все убудка из себя строишь, а? В двадцать пять лет это уже не смешно даже. Появишься таким еще в Питере, я точно говорю — разобью дыню.

— Если мне нравится так... имидж... И у тебя компаньон, кстати, есть, у него волосы тоже достаточно длинные.

— У Бориса, что ли? У него шишка на шее, он ее прикрывает.

— Зря у меня шишек нету,— вздохнул я с сожалением.— Еще чаю поставить?

— Не хочу.— Андрей посмотрел на часы.— Идти надо, дел до самолета полно.

Для приличия я попросил:

— Посиди еще, поговорим...

— Да о чем говорить? Дураком прикидываешься или других за дураков держишь... Объясни тогда, как, по-твоему, жить надо, а? — Андрей подождал, вдруг я действительно что-то выскажу, и, не дождавшись, спросил: — У вас все тут такие, писатели? — Сам же себе и ответил: — А, нет, сосед твой, наверно, не псих — работает, москвичку подсыял. Он с москвичкой живет?

— Вроде...

— А ты нашел тут кого? Хотя кого ты...

— Ну, так,— перебил я, потянулся за сигаретой,— приходит одна поэтесса, но скоро уже перестанет...

— Почему?

— Скучно со мной... Да, ты прав... Только как измениться? Сил нет никаких...— Я закурил.— И чувствую, что... А как?

— Я тебе предлагал.— Андрей летом мне предлагал остаться в Питере, поселиться у него в запасной однокомнатке и работать.— Подняться сейчас не фиг делать, особенно если тебе помогают... Слушай, потом покуришь, когда уйду. Дышать нечем.

Я раздавил почти целую сигарету в пепельнице. Андрей рассматривал пачку.

— «Прима»... А вот, помнишь, тебя в школе гасили? И правильно делали. Еще сильнее надо было, чтоб научился.— Он отбросил пачку на край стола, поднялся.— В Греции, кажется, там всех уродов, придурков еще младенцами уничтожали, чтоб не мучились и других не мучили. Надо было это оставить.

— Угу, угу,— закивал я,— надо было. Не можешь бороться — сдыхай.

— Ладно, черт с тобой... Если что, пиши или приезжай, помогу, само собой, но советую бросить, фигней страдать. Пьешь, наверно, балбес?

— Так, редко... Денег нет.

Тоже поднявшись, я заметил, что Андрей, вообще-то будучи ниже меня сантиметров на пять, выглядит выше. И глаза его смотрят на меня как бы сверху.

— Совсем нет? — Это он про деньги.

— Скоро стипендия,— уныло ответил я и ответил так уныло, что Андрей поскорей достал из кармана бумажник.

— Вот сотня. Шоколадку купи поэтессе. Но если пить будешь, узнаю и... Специально приеду. Понял? — И заговорщически, с прищуром, по-мужски спросил: — Хорошенькая?

— Да, семнадцать лет,— ответил я и, пряча деньги в ящик стола, поблагодарил: — Выручил, Андрей, спасибо!

Вышли в коридор, на лифте спускались на первый этаж.

— Тут такое дело: решил у вас базу открыть,— делился Андрей своими планами.— Рынок знаешь «Петровско-Разумовский»? Обговорить надо с людьми...

Через минуту мы расстанемся, и неизвестно, на какое время. И между нами вновь проскакивают искорки старой угасшей дружбы.

— Давай, Ромка, делом давай занимайся. Пишешь — пиши. Что-нибудь вроде «Тихого Дона» напишешь, напечатаю без разговоров! — Он хлопнул меня по плечу на прощание.— Давай!

— А ты что, «Тихий Дон», что ли, читал?

— Ну да... Естественно! Вот настоящая книга, про жизнь, про людей. Люди разные, жизнь у них разная, обстоятельства. Нельзя на все с одной точки смотреть. А ты все одно и то же, с позиции чмыря какого-то... Пиши объективно!

Он забрал у охранника паспорт, вышел на улицу.

Да, мы слишком далеки по жизни теперь. В семнадцать лет было куда проще: бухали, пробирались на концерты без билетов, снимали девчонок, шлялись по улицам. Теперь же пришла взрослая жизнь, нужно ее устраивать. И я не хочу выбираться из убожества и нищеты, я даже рад своему ничтожеству. В мой первый приезд в Питер этим летом, после почти пяти лет прозябания в Сибири, я нашел Андрея, и он на радостях повел меня в ночной клуб. Чтобы я чувствовал себя свободно, дал на расходы пятьдесят долларов. Пока он играл на бильярде, попивая минералочку, танцевал, я так напробовался различных коктейлей, пуншев, ликеров, коньяков, что наблевал прямо на стойку и свалился с неудобной, высокой табуретки. И я был доволен...

Черт, зря я положил деньги в стол, а не взял с собой. Сбегал бы сейчас к ларьку, купил бы бутылку. Потерплю до завтра, завтра с утра, вместо института...

В маленьком спортзале играют в настольный теннис, качают на тренажерах мускулы будущие литераторы. Они возбуждены, спорят о счете, стараются по-хитрому подать мяч, шумно выдыхают, принимая на грудь гриф штанги. Занятия физкультурой делают человека сильным и духовно, и телесно. Закаляют. Выиграл партийку — беги писать жизнеутверждающий стишок. Проиграл — не отчаивайся, тоже пиши что-нибудь оптимистическое. Человек все может, человек все победит, он сам строит свою жизнь. Главное — быть сильным!

За завтрашний день можно не переживать. Буду курить «Союз-Аполлон», приготовлю куриный окорочок со спагетти, куплю сахар, кофе. Посижу наедине с бутылочкой, подумаю. Поживу. А там стипендия, потом, глядишь, перевод от родителей...

Я вернулся к себе, раскурил окурок из пепельницы, глотнул остывшего чая. Плитка делала свое дело, в комнате заметно потеплело, воздух напитался дезодорантом Андрея. И настроение улучшилось. Что ж, с Андреем мы видимся редко, он мне не откажет. Нужно просто не сопротивляться, не лезть на рожон, хотя бы делать вид, что я стремлюсь следовать его наставлениям...

Стук в дверь.

— Да, открыто! — кричу я.

Вошла Лена, та самая поэтесса, о которой я говорил Андрею. Она приходит почти каждый вечер, мы пытаемся беседовать, но это у нас не особенно получается. Ей, наверное, надоело со своими, ей хочется посидеть в тишине, и моя комната ей как раз. Я затушил сигарету: Лена не выносит табачного дыма.

— У-у, у тебя плитка заработала! — заметила она.— Теплее стало.— Села на диван.

С минуту молчали. Она молчала, не страдая от отсутствия слов, а я смог выдать только:

— Как день прошел?

Лена пожалала плечами:

— Ничего...

Мне хочется жаловаться на Андрея, поиздеваться над ним, показать себя обиженным, смятенным. Лена обязательно меня пожалеет, а мне нравится, когда меня жалеют.

— ...Хотел за свой счет издать, а почитал и вернул. Говорит, что не подходит, радости людям не несет...

Лена провела ладонью по моим волосам, я протяжно вздохнул. Родное ощущение тяжести и усталости вползало в меня, и я открывал все двери и окна, впуская его. Пусть, пусть вползает, если мне легче, когда тяжело. И жалобно я спросил Лену:

— Лен, а когда ты мне солнышко нарисуешь?

— Нарисую,— пообещала она.— Мы повесим его вот здесь, над твоей кроватью. И станет тепло и светло, и ты оттаешь и улыбнешься.

— Спасибо,— прошептал я, положил голову ей на плечо.

Эти самые минуты могут стать счастьем, лучшими минутами в жизни. Но почему из меня вылетают вздохи и стоны? От чего я успел устать, устать навсегда?

— Рома, мне кажется, что ты никогда не улыбался. У тебя такое лицо, словно тебя обидели и ты вот-вот расплачешься.

— Никто меня не обижал, может, только я сам... Таких, как я, в Спарте сбрасывали со скалы, а нынешнее общество гуманнее. Зря...

Сегодня мы что-то разговорились. Повод, наверно, нашелся...

— Из всей своей жизни, из двадцати пяти почти лет, я полгода был полезным обществу человеком. Я работал на заводе жэбэи, делал плиты для домов... Но это же труд, трудно работать. Нить легче... Я бесполезен, мое дыхание отравлено, глядя на меня, у людей портится настроение. И представляешь, Лен, меня это радует! И ничто меня не разубедит, что жизнь — гадкая штука.

— Жизнь не гадкая, Рома. Нужно просто уметь видеть ее. А ты не хочешь и не пытаешься...

— Да, не пытаюсь,— согласился я.— Здесь водка дешевая — вот это хорошо.

— Не пей,— попросила Лена.— Когда я вижу тебя пьяным... Тебе нельзя пить... Это не выход, Рома.

— А больше ничего не остается.— В моем голосе была боль отверженно-го, раздавленного гения.— Мне нечего больше делать.

Лена снова погладила меня по голове.

— А хочешь, я тебе стишок прочитаю? Только не смейся...

Она помолчала, настраиваясь, волнуясь, наверно. Но ей очень нужно было, чтоб я услышал его... И она начала тихо, нежно, с грустинкой, какая посещает временами романтических девушек:

Мне говорят: «Люблю!» А я боюсь,

Боюсь, что снова обожгусь,

Обожгусь, и станет больно.

Все, хватит и довольно...

...Я сидел и с задумчивым видом смотрел на висевшие на стене полотенца. Их давно надо бы постирать... Любовь, да? Раствориться в любви. Внушить себе, что любишь, и раствориться. Смотреть друг другу в глаза и не замечать окружающего. Как легко быть счастливым! Вокруг ведь чужое, хищное пространство, там полно врагов, чудовищ, ловушек, опасностей. Все ищут спасения. Друг в друге. Но нет, нужно победить страх, быть одиноким и свободным.

— Хорошо... Трогательное стихотворение... А я раньше тоже стихи сочинял. Вот, например.— Выпустив долгий вздох, я принялся нараспев рассказывать:

В той общаге, что в новом районе,
Там Наташка девчонка живет,
Она днем на фабрику ходит,
Вечерами «Пшеничную» пьет.

Ей всего лишь лет девятнадцать,
Но на все ей давно наплевать,
Ни во что ей уже не поверить,
Никого ей уже не обнять.

Ну, и так далее. Оно очень длинное на самом деле... Это песня, я давно ее сочинил, когда в Ленинграде учился на штукатуру. Лет семь назад...

— Грустное,— отзывается Лена и дальше молчит.

И молчит очень долго. Мне тоже уже нечего сказать. Ее присутствие теперь неприятно. Хочется остаться одному, завернуться в одеяло, лечь на кровать и закрыть глаза. Ждать следующий день. Быть одному. Тогда есть шанс не пропустить правду. Правда — когда не на ком отвести душу, нечем обмануться.

— Мне кофточку подарили,— заторопилась Лена,— апельсиновый цвет. Я хотела такие же джинсы купить под кофточку. Искала, ездила по магазинам, по рынкам, даже на центральном складе была. Сказали в конце концов, что нет такой расцветки джинсов в природе. Морковные есть, но не подходят...

— Сейчас снова наступило время критического реализма,— говорю я,— литература вернулась к тому, с чего в общем-то и началась. Но критический реализм поверхностен и недолговечен, и уже Гоголь это понял и отрекся... А идти дальше мы не готовы. От наблюдения до анализа очень долгий путь...

Лена поднялась.

— До свидания, Рома, спокойной ночи. Не переживай сильно. Ладно?

Я остался один. Я опустошен, я спокоен, совершенно холоден. В такие минуты я знаю цену себе, как знают себе цену Андрей и тысячи подобных ему. Я горд, я горд тем, что ничтожен, слаб, безволен, я не прочь унижаться еще и еще, я могу бесконечно врать, стонать, и светлая радость наполняет меня; я горд тем, что я все-таки сильнее их. Я сильнее Андрея, который изображает преуспевающего, чистенького, цивилизованного малого; ему, дескать, многое по плечу, он может и сможет еще больше, если не опустит рук, не отступит с того пути, на котором стоит. Точнее — идет. И я горд тем, что я сильнее Лены; ей хочется тепла, любви, нежности, а я растекаюсь перед ней вонючей канализационной жижей и, показывая на себя, утверждаю, что таковы все остальные. И я прав. Они скрывают, гримируют, таят под оболочкой свою жижу, свою привычную, сладковатую, необходимую гниль... Я стою посреди комнатенки, закутавшись в грязное одеяло с казенными штампами, я тихо смеюсь, трясу кулаками. Вот она, правда,— быть непобедимым, неуязвимым, прозрачным, как привидение. А попробуй их затронь за живое! Они ранимы, у них столько болезненных мест! Они взвизгнут, оскалятся, они будут прыгать, рваться с цепи, пока не отомстят!.. А у меня ничего нет. У меня есть слишком много, чтобы бояться, что все отберут. И я не устану повторять, не устану писать, выворачиваться, брызгать слюной и приседать. Я люблюсь, я наслаждаюсь, я не хочу большего, не хочу идти с ними, с вами рука об руку, плечо к плечу. Нет, я не буду грызть, кусаться, бороться, защищать право быть человеком, право, которое придумали

вы. Быть человеком в рамках ваших законов, традиций, норм морали. Хе-хе. Мой сосед, Денис, он добивается, вот он добивается, борется. Хе-хе. Вот увидите — он сможет, он женится, будет здесь полноправным. Закончит вуз как положено. Редакции. Публикации. Совещания. Хе-хе. Карьера, работа, по призванию, уважение, галстук. А я буду идти — непобедимый, униженный, но твердый, сжав кулаки. Я отвязан. Я рву спирали на плитке. Искры. Я докажу им... Склады, обувь, Польша, торговый дом, любовь, квартира в двух шагах от метро, победа в партии пинг-понга, мускулы, душевые комнаты, мексиканская бижутерия, слезы чужих писем, вечерок в ресторане, английский язык, седьмой сборник стихов, террорист, бегущий навстречу бессмертию, ночь после трудного дня, спокойная ночь после не даром прожитого дня. О, о, о! Мне ничего этого не надо. Этого ничего! Я отстраняюсь, я принимаю непристойную позу, я показываю, до какой степени мне не надо. Вот она, моя правда. Моя чистая, без оговорок, правда. Правда без иллюзий, без миражей, без спасительных блиндажей на случай артиллерийских обстрелов жизни. Мне незачем прятаться: чем больше осколков пролетит сквозь меня, тем большего удовольствия я достигну. Тем больше узнаю. Я смеюсь над вашими глупыми потугами! Семья! Дети! Долг! Восемичасовой рабочий день. Подходный налог. Частная собственность. Кооперативная, общественная, личная. Гигантский шарообразный муравейник, где все муравьи поодиночке. Осиное гнездо, и осы жалят друг друга. Вот ваша система, ваши принципы, ваши традиции, а я, я — вне. Я ублюдок — я не знаю вас, моих истинных родителей, моих учителей, воспитателей, отцовского ремня, проповедующего о лучших путях. Нет, я ничего и никого не хочу, я не хочу хватать сладкий кусок и тянуть себе в пасть. Да, я одна из миллионов лягушек, попавших в горшок с нечистотами, но в отличие от других я уверен: возня не поможет. Лучше хлебать и опускаться на дно. Возня не спасет. Возня утомительна и бесполезна... Ха-ха! Какое завершение вялого вечера, столкновения с чужими желаниями, стремлениями, мечтами! Все покрывает мой смех. И проклятие, еще раз проклятие, бессильное, но неустанное, выплескивается из меня... Нищета превратила вас в жадных, зубастых, опасных зверьков. Нищета благополучия, будильников, копилок, автомобилей, семейных бюджетов, ваших гримас усталости и обиды, скрытых за вымученными улыбками в тридцать два искусственных зуба.

Так, скорей за стол, за мой верный рабочий стол! Писать... Ручка, тетрадь... для... ученика... класса... Писать:

«Осталось только завернуться в одеяло, лечь на кровать и ничего не видеть. Закрывать глаза, замереть. Еще один вечер, а потом наступит ночь, за нею приползет побитой, больной собакой следующий день...»

Светлана МАКСИМОВА

СЮЖЕТ

Люня уходила. Дорога пахла пылью, прибитой первыми крупными каплями наступающего дождя. Босые ноги знали, что это пыль, — они загребали ее, ускользающую, скрюченными пальцами, стараясь коснуться ногтями твердой опоры, но... Люня уходила... Круглые мокрые нашлепки на дороге прилипали к растрескавшимся подошвам, нарастая густой глиняной массой, и дорога после Люни, ступающей все тяжелее и тяжелее, оставалась совсем сухой, хотя

дождь нарастал и все чаще упал в пыль весомыми зримыми каплями. Капли превращали пыль в мокрые глиняные пятаки, и Люня жадно собирала их на свои растрескавшиеся подошвы. Когда-то бабушка прикладывала пятаки к Люниным ссадинам, потом Люня опускала пятаки бабушке на веки, а теперь дождь крупными каплями падает в пыль, и Люня уходит... И вспоминает: «Когда-то...»

Когда-то в детстве ее звали Олюня. Но это «О» куда-то затерялось, и Люня осталась совсем одна у всех на устах: «Люня... Люня...»

— Люня... — хлопает на дне пустого, гулкого бассейна.

И вода уходит у нее из-под ног... Куда уходит вода из этой забетонированной коробки, из этого цементного ящика, напоминающего ей только... Нет! Она не может произнести это слово. Ее двоюродная тетя, родом с Украины, говорила про это — «домовина». Почти дом. Все-таки не так страшно. И вообще Люня никогда не любила этот бассейн и никогда не купалась в нем. Но последние три месяца ей постоянно снился один и тот же сон, что она спускается в этот цементный ящик и вода уходит у нее из-под ног. И если бы ее муж Никола не настоял на том, чтобы построить бассейн, не было бы этих снов про уходящую воду, про скользкое илистое дно, про это хлопанье под ногами, странно напоминающее ее имя: «Люня... Люня...» Словно все родные, ушедшие раньше ее, собрались в этом бассейне и зовут ее, зовут... И чем громче хлопает у нее под ногами, тем яснее слышит она голос дяди, окликающий ее детским именем. Вот он, совсем рядом, этот голос ее бедного дяди, всегда страдающего насморком, и хлопающего носом, и при этом вечно декламирующего сквозь хлопанье какие-то странные стихи своих друзей. Ее дядя — поэт, и все его друзья — поэты, и этот смешной человек с тяжелыми веками на некрасивом лице, чьи стихи так любит цитировать дядя: «В ящике скользком на самом дне...». И вся ее оставшаяся жизнь — «В ящике скользком на самом дне...». Но разве это ее жизнь?! Этот дом, увитый лианами по веранде, этот сад с тремя кокосовыми пальмами, опрокидывающими свои тяжелые плоды, словно головы, откуда исходит этот бред.

— Это все бред отрезанной головы, — любил приговаривать ее младший братец. Теперь ему — восемьдесят, а ей — девяносто, но все равно он младший и любимый и все так же осаживает своих сестер: «Это все бред отрезанной головы...»

Это все бред, бред, бред... на больничной койке...

Экватор бежит по кругу, как змея, кусающая собственный хвост, — именно в этой точке и находится городок Пунта-Фихо, откуда Люня уходит. Она уходит, как вода, как песок, как бесполезные рифмованные строки всех этих дядиных друзей. Да, никогда в жизни ей не пригодилась ни одна из этих строк! И вот теперь... Она загребает скрюченными пальцами, стараясь найти точку опоры, а они все катятся, катятся, эти строки...

— В ящике скользком на самом дне...

— Дядя! Дядя! Зачем ты читаешь такие ужасные вещи? Посмотри, как хорошо! Как пахнет жасмин перед грозой! А соловьи! Соловьи! Они верещат, как поросята! Ах, непоэтично?! А ну вас с вашей поэзией! Давайте лучше выйдем в сад! Ой, как голова кружится!

— Она лежала вместе с другими в ящике скользком на самом дне...

— Дядя, ну, перестань, пожалуйста! И вообще поэт не может быть таким уродом. Как, он уже здесь?! Тогда я ухожу! Я ухожу в сад! Да, прямо через балкон!..

...Московская барышня двенадцати лет, танцевавшая на детских балах в маминых туфлях, потому как статью и ростом пошла в отца, интендантского полковника, а мамочка была такая миниатюрная и такая субтильная, такая субтильная, как часто приговаривала ее бабушка, вздыхая и крестясь.

— И как эта петля могла затянуться, в ней же, сердешной, и весу-то не было.

По вечерам, уложив внучку спать, бабушка часто разговаривала сама с собой. И Люня засыпала под это бормотание, как под колыбельную. Все семейные тайны узнавала она из одинокого старческого наборматывания — и то, что мамочка, грешница великая, сама на себя руки наложила, хоть и жалко ее, так жалко — ведь махонькая была, как дите, и такая субтильная, а младшая дочь, тетя Лида, и вовсе в артистки пошла, и это из их-то семьи — потомственных дворян и бояр вольного города Пскова. Ну, и что с того, что балерина императорского театра, а замуж вышла за чахоточного поэта, вот он и таскает племянницу свою куда ни попадая, придумал тоже — литературные вечера... Она же дите совсем... Вот вернется Миша с фронта...

А «дите» надевала мамини туфли на босу ногу и сводила с ума всех друзей дяди-поэта, а сама все косилась на ментики и погоны князя К., опального друга семьи. Ментики и погоны не смели появляться в доме после смерти мамочки, и только в шумном сборище поэтов с тяжелым вздохом подносили к губам тоненькие пальчики той, которая никак не походила обликом на его тайную страсть, потому как статью и ростом пошла в отца. Обычный сюжет... особенно здесь, в Богом забытой венесуэльской провинции на полуострове Парагвана, поэтому так долго, так трудно ей уходить по пыльной проселочной дороге из этого не ее дома, не ее сада... Но разве это не ее дом? Разве это не ее сад? А где же тогда прошла вся ее жизнь? В каком доме? В каком саду? И разве это не они с Николой взрастили этот сад?.. А теперь лимоны совсем некому собирать. Они все падают и скатываются в бассейн, такие мелкие и круглые, как мячики от пинг-понга. Это все детские игры с другом семьи. И не отбиться от этих воспоминаний... Они все падают и скатываются в бассейн, сморщенные, почерневшие лимоны. Уже весь сад заполнен ими... То ли дело у этих индейцев — коли беременная в доме, так на стволах деревьев тут же сосцы вырастают, и каждое дерево младенца подкармливает. А у нее в саду после смерти Николы муравьи совсем обезумели — все вышли наружу и кочуют из одного угла в другой, перетаскивая свои драгоценные куколочки.

— Вот тебе и кукольные балы,— приговаривал ее дядя, наблюдая, как она кружится в вальсе с его другом, знаменитым поэтом, высоким, широкоплечим, со светлыми, слегка косящими глазами. И добавлял с горечью: — У девочки совершенно никакого интереса к поэзии. Удивительно прагматичный ум. Вся в отца.

И действительно, никогда ни при ком не вспоминала она потом все эти знакомства, да и какую ценность могли они иметь здесь, за океаном. Впрочем, даже этого не думала. Просто не вспоминала.

Из России уезжали на корабле «Сеггет». Это был австро-венгерский угольщик, и все его почему-то называли «Сюжет». Даже папа, педантично грамотный человек, позволил себе эту ошибку.

— Вот наш «Сюжет» и отчалил,— сказал он, глядя на отдаляющийся Севастополь.

А Люня в это время засмотрелась на одного господина. Это он помог ей взойти по трапу и уже на палубе, отдалившись, вдруг обернулся в толпе и сделал легкий полупоклон в ее сторону. Он даже потянулся было к шляпе, но тут

же рука его странно дернулась и спряталась за спину. Это немного удивило Люню. И она, засмотревшись на этого чудака, не заметила, как «Сюжет» отчалил. И если бы не общие крики и среди них один женский пронзительный: «Саша! Саша!» — в ответ на который этот господин дернулся и сорвал-таки шляпу с головы — и все драгоценности, которые он спрятал под шляпой, с размаху полетели в море, и если бы не это, она, быть может, и не запомнила бы, как именно «Сюжет» отчалил. А господин этот вначале даже и не понял ничего, он только махал шляпой, и все кричал и зывал к кому-то на берегу, пока перед глазами сверкали жемчуга и бриллианты, падающие в море с непутевой его головы. Потом, уже много лет спустя, в каком-то фильме она увидела этого человека, срывающего шляпу с головы. Но корабль назывался совсем иначе и уходил из Одессы.

На корабле им досталось место в трюме, в загоне для свиней. И то слава Богу! Но эти свиньи так верещали, когда началась качка, что Люня сразу вспомнила соловьев в Малаховке, и дядю, читающего стихи, и поэта, приходящего в гости, и детские балы, и первый вальс со знаменитым поэтом на даче, когда собиралась гроза и соловьи верещали точно, как эти поросята. И она, московская барышня тринадцати лет с годовалой сестрой на руках в хрюкающем и визжащем трюме, развернулась так неожиданно царственно в сторону уходящего берега и незавершенного вальса и, уставившись в темную, измазанную навозом стену трюма, поплыла с годовалой сестрой на руках в этом вальсе наперекор качке. И как раз в эту минуту, когда она замечталась, какая-то безумная хавронья украла пустышку у ее спящей сестры и громко зачавкала рядом. И когда к общему визгу и хрюканью прибавился захлебывающийся детский плач, и аппетитное чавканье свиньи, пережевывающей пустышку, и аханье взрослых,— Люня не выдержала и выпрямилась. Она вскинулась было встать во весь рост в этом трюме с плачущей сестрой на руках, подняться над этими свиньями и продолжать вальс, но ей не дали... Нет, ей не дали даже понять, что никак не встать в этом трюме. Ее просто усадили силой, у нее забрали ребенка и напоили какими-то каплями, пока она все кружилась в вальсе со своим поэтом, пока она не уснула наконец-то. Но и во сне ей снился этот вальс. И этот господин, поклонившийся ей на палубе, вальсировал вместе со всеми в общей качке. В откинутой руке он держал шляпу, словно фокусник, а из шляпы сыпались сказочные богатства прямо в Черное море: и жемчуга, и фальшивые бриллианты, и шелка ее детских бальных платьев, и соловьи, и поэты в гусарской форме, и белой акации гроздь душистые... И начиналась гроза... Первый удар грома был похож на глухой выстрел — фокусник дернулся, словно услышал собственное имя, и Люня заметила на вьющемся русом затылке маленькую рубиновую каплю. Она точно знала, что это колечко с рубином, запутавшееся в волосах, предназначалось ей, и потому потянулась шаловливо к нему — через Атлантический океан, через дом свой и сад с кокосовыми пальмами, через всю прошедшую жизнь. О, только бы дотянуться, только бы надеть это кольцо на безымянный палец — и тогда ее освободят наконец-то от этих длинных прозрачных трубочек, торчащих из носа, изо рта, из ушей, изо всех мыслимых отверстий ее бедного тела, распростертого на высокой больничной койке в маленьком городке Пунта-Фихо, в Богом забытой венесуэльской провинции. Она уже уходит... Дорога пахнет пылью... Но эти длинные прозрачные трубочки опутали ее, как паутина. Душа продвигается медленно, толчками — от холодеющих ног к гортани, и на освободившееся место шумно всасываются воспоминания, строки, лица и кружатся в этом странном промежутке между остывающим телом и ею, тринадцатилетней, босоногой, уходящей по мягкой пыльной

дороге. Все мешает ей. Все, что прикасается, кажется ей лишним. Она хочет снять крест, большой, серебряный, тяжелый.

— Нельзя! Нельзя! — в ужасе шепчет ей младшая сестра и останавливает руку.

— Не говори глупости... — шепчет Люня цепенеющими губами. — Ты разве не видишь?..

Это ее последние слова, но глазами она все еще удивляется тому, как это сестра ее может не видеть, что ей, Люне, уже несут новые белые одежды. И нужно все снять, чтобы надеть их и идти дальше по мягкой пыльной дороге. Она уже прошла через пропасть воображения, через каждый образ, рожденный поэтом, танцевавшим с ней на детском балу. И теперь она свободна. Она уходит в белом платье с рубиновым кольцом на безымянном пальце. Она уходит... И «Сюжет» движется в обратную сторону — к Севастополю... И все танцуют на палубе...

Валерий ОСИНСКИЙ

ГОСТЬ

Была поздняя осень. Воскресенье. Падал первый снежок, которого раньше середины декабря в этих краях не ждали. Улицы и тротуары обледенели и, жиденько посыпанные песком, к полудню так схватились, что не оставалось сомнений — зима на подходе. Вот-вот. Тихо, безветренно, морозно.

Гостя привел Петр Аркадьевич Скачук, друг семьи и лечащий врач сына Анны Андреевны, перенесшего инсульт. Шумно отдуваясь и перчаткой смахивая с ондатрового воротника пальто одинокие снежинки, гость бодро разговаривал и шутил с хозяйкой, встретившей их на крыльце, словно давний знакомый. Его щеки полыхали с мороза, глаза весело блестели, как у человека, довольного жизнью и любившего человеческое общение. Под снятой им ондатровой шапкой обнаружились сильно поредевшие волосы сорокапятилетнего мужчины. Звали его Семен Егорович Верестов.

Верестова, врача-психиатра, пригласили к Осокиным проконсультировать свекровь Анны Андреевны, семидесятидевятилетнюю старуху, у которой хозяйка заподозрила склероз и «стариковские бзики» и просила, как она выражалась, посмотреть ее остороженько, чтобы бабка ничего не заподозрила. Скачук, давнишний приятель Верестова еще по военному госпиталю, намекал: «Пристроить бы бабушку поприличнее, если что...» Была и еще причина. Верестов — холост, хозяйка, «свежая» еще женщина, разведена (бывший муж лечится принудительно в алкогольной лечебнице), трое взрослых детей (существенно — взрослых!).

Деревянный домик с каменной пристройкой, железный крашенный гараж, куда Скачук по-свойски завел кофейного цвета «жигуленок», сад, виноградник (правда, голые, с облетевшей листвой, невыгодно смотревшиеся в эту пору) да и сам район частных домов вдалеке от городского шума понравились Верестову, выросшему в деревне. Плешины отлетевшей штукатурки, обнажившие каменную кладку пристройки, выгоревшие до грязно-розового цвета доски домика — все говорило о том, что строение знало лучшие времена. Но все-таки это был «дом на земле», и летом наверняка эта «дача» в пышном гнезде зелени и цветов имела приличный вид.

— А это что? — кивнул Верестов на низкорослый, словно вколоченный по самые оконца бетонный кубик за гаражом в глубине сада.

— Борис, муж Ани, нутрий разводил,— пояснил Скачук, прикрывая ворота.— Сейчас там свинью держат...

«Разумно!» — подумал Верестов, немного насупившись, заложив руки за спину и легонько покачиваясь с пятки на носок, подумал с тем неопределенным, неловким ощущением закоренелого холостого порядочного мужчины, которого сейчас представят женщине, муж которой в отлучке, и это рождало смутную вину, что ли, будто он вторгнулся в мир, налаженный другим мужчиной. Впрочем, все это ерунда. Верестов догадался, что волнуется.

А все же, несмотря на балагурство, он покраснел, увидев хозяйку, и потоптался в прихожей, переобувался в теплые тапки, раздевался и копался, копался: сбоку, рядом, синело ее бархатное платье, и он собирался с духом в этом своем топтании, не зацепиться бы взглядом за ее раздавшуюся грудь в треугольном вырезе, пухлые руки с прижатыми, как у певицы, к бокам локтями. И ему уже мерещилась насмешка в ее глазах, черных, подведенных дешевым карандашом, насмешка со знанием, от которой и его губы ломала ухмылка.

Что бы уже ни делал Верестов, о чем ни говорил, шутил ли, делал комплименты, сидя за чудным — по славянскому обычаю — хлебосольным столом, в нем плавилось и плавилось что-то томящее и сладкое.

Дети ему, в общем, понравились. Дети как дети. Рыженького кучерявого Игоря, что приволакивал левую ногу и придерживал безжизненную левую руку, паренька с неглупыми, как у людей, познавших несчастье, глазами, незлобиво, ему было жалко. Верестов вообще трудно переносил вид человеческого увечья. А детские увечья, хоть парень и не ребенок, но в сыновья сгодился бы ему, были болезненны для него. Верестов припомнил свою службу. Тогда еще три года служили, и не было тогда нынешнего зверства — сапогом по голове. Представил Аню, почерневшую от пережитого, но без слез. Такие за свое стоят, сцепив зубы, и пацана она из могилы вытащила. Поди, в копеечку это влетело.

Да, Верестову нравилось у Осокиных. С семьей у него не сложилось, жениться не удалось, хотя женщины, конечно, были, и он только на примере знакомых видел «свой угол», сам не узнав этого. И сейчас ему казалось, что именно такого вот домашнего тепла ему недоставало...

У Ани все получалось ладно. За столом шутили, Аня подливала красного домашнего вина, даже потанцевали немного. Он говорил: «У вас очень легкие движения. Тела почти не чувствуется...» Хозяйка возбужденно улыбалась и отвечала: «Вы говорите это из вежливости...»

И они незаметно пододвигались друг к другу, неуклюже, робко.

Все складывалось так, как должно складываться, когда пожившие люди нравятся друг другу.

О «деле», ко всеобщему неудовольствию, вспомнил Скачук. Сладко потянувшись, он пьяненько промышчал что-то с серьезной физиономией. Аня вопросительно приподняла правую бровь, но тут же сообразила. Наташа нехотя собрала грязную посуду. Олег проворно загремел в соседней комнате ведром с углем, а Игорь проковылял к магнитофону за дверью.

— Она у соседей...— Женщина поднялась и только у дверей, вспомнив о Верестове, быстрым движением оправила на бедрах платье и натянуто покрывила для него губы.

Скачук многозначительно подмигивал Верестову — мол, какова! Семен Егорович кашлянул и вышел на кухню покурить.

За окном, серый, поникший, замер сад.

По дорожке, кутаясь в наброшенную на плечи куртку, прошла Аня. Верестов проводил ее взглядом. Женщина остановилась в глубине двора возле своеобразной беседки из натянутой на стойки и параллельные брусья прозрачной клеенки. Это заинтересовало Верестова. Крыша беседки провисла от скопившейся на ней подмерзшей дождевой воды, бурой от опавших листьев. Аня остановилась с краю лужи — осторожно, чтобы не подломить ледок и не намочить тапки, — и кого-то позвала. Верестов заметил в глубине беседки темное и расплывчатое пятно. Пятно выпрямилось, и наружу вышла старуха в стареньком овчинном полушубке и цветастом платке. К боку она ребром прижимала пустой таз, очевидно, приносила корм для птиц. По одежде и походке, степенной, вразвалочку, Верестов угадал в ней крестьянку.

— Давно она у них живет? — спросил Верестов Скачука, вернувшись в комнату.

— Два года, — пробубнил тот.

— Как же она хозяйство оставила?

— Продала...

— А сын-то ее сюда вернется?

Скачук по-коровьи, вытянув язык, облизнул губы и длинные неровные зубы. Он уже изрядно набрался.

— Посмотрим! — негромко проговорил Верестов.

Старуха стянула валенки и, убирая гребенкой серые волосы, заплетенные на затылке в жиденькую косицу, присела на диван. Верестов приветливо поздоровался с шутливым поклоном, предложил знакомиться. Он представился просто: «Семен». Старушка кивнула, и он присел рядом, широко расставив ноги и облокотясь о колени сцепленными руками.

Верестов расспрашивал, где она жила раньше, не скучает ли по родной деревне, как соседей звали и как лучше добраться до ее родных мест. Спрашивал о здоровье и разных пустяках, например, что с утра ела. При самом беглом осмотре выходило, что это вполне нормальная старуха. Скуластое, морщинистое лицо, слезящиеся глаза, курносая, сухонькая — таких встретишь по дюжине на каждой улице любого российского городка. Глаза опасно смотрели из запавших дупел глазниц, как два шустрых умных зверька.

— Тут вот и живете? — спросил Верестов, оглядывая проходную комнату рядом с прихожей, белую штору в пол-окна, ведро в угольной пыли, приставленное к поддувалу под топкой.

— Отдельную комнату выделили. Бесплатно... — В надтреснутом грудном голосе бабки послышался вызов.

— В гости, как сегодня, частенько ходите?

Они переглянулись. Старуха пожала плечами.

— А с чего вы меня остерегаетесь, Мария Игнатьевна? — спросил Верестов дружески.

Старуха насмешливо покосилась на пришельца.

— Так вы ж друг Петра Аркадича...

Они засмеялись.

— Знаешь, что скажу, мил-человек, — продолжила старуха, — ты вот все смеешься, прости меня, старую, а глаза у тебя не улыбочивые, взгляд тяжелый, пронзительный. Да и назвал ты меня сразу по имени-отчеству. А ведь знакомства у нас не было...

Верестов опешил, затем хлопнул себя по колену и беззвучно рассмеялся.

— Вот как! И всегда вы так выговариваете? — спросил он.

— Мне уж восьмидесятый. Врать-то не с руки. Да и не зря ты сразу подсел... Анька с Петром Аркадичем подослала?

Верестов внимательно посмотрел на старуху.

— Да ты не бойся! — сказала она, понизив голос и добродушно посмеиваясь.— Я им не скажу. Меня тут больно придурковатой считают. Анька от меня вещи прячет и перекладывает: мол, забывчивая я стала. А болеть — болею! Как в мои годы не болеть? — В ее голосе прозвучала грусть.— Ты не сердчай. Знать я не хочу, зачем ты приходил. Да только скажи им, если хочешь: нехорошо они поступают со старухой. Пусть берут они эту комнату. Игорь скоро женится. Надо где-то жить. А мы с Борей сами отстроимся.

Они помолчали. Что-то было недоговорено, и старуха добавила:

— Только не увози меня никуда. Мне бы сына, Борю, дожждаться.

Они пристально посмотрели друг на друга. Верестов внутренне вздрогнул. Ни страха, ни суетливости — ничего этого не было в бабке. Так, верно, называют о последнем желании — спокойно, обдуманно.

— Пойду я...— сказал Верестов.

— Пойди.

В «гостиной» он долго молчал. А затем вдруг спросил Игоря:

— Отца на свадьбу пригласишь?

— Зачем? — недоумевая, отозвался парень.

Дети с неподдельным веселым любопытством посмотрели на Верестова, будто он ляпнул глупую шутку, над которой все сейчас посмеются.

— Отец все-таки. И бабушке приятно будет. Бабушку-то любите? — раздражаясь, спросил Семен Егорович.— Съездили бы к нему...

Аня вернулась из кухни и слышала последнюю фразу. Через силу Верестов взглянул на хозяйку и увидел ее напряженное лицо.

— Если бы папа хотел, чтобы к нему приехали, он бы написал,— рассудительно заметил Олег, туповато уперевшись в тарелку взглядом и приподнимая брови.— Я однажды уже ездил. Папа не захотел выйти.

Верестову вдруг стало скучно. В конце концов с чего это он бесцеремонно вмешивается в чужую жизнь? Он миролюбиво улыбнулся.

— Деньги-то на свадьбу есть? — спросил он.

— Бабушка, когда приехала, нам по двести тысяч на книжку положила,— гордо произнесла внучка.

На лице, шее и груди Ани появились красные нервные пятна, очень ставшие ей. Она взглянула на Скачука, но тот безнадежно захмелел и сонно клевал своим крючковатым красным носом. Своего же раздражения она показать не имела права. И на глазах у притихших детей несвязно завела разговор про свою жизнь, и это получилось унижительно, неприкрыто, откровенно. Верестов почувствовал себя как на приеме в больнице, поднялся с дивана и ушел курить.

После чая, на улице, ежась от холода, особенно пронзительного после натопленной квартиры, глядя мимо Анны Андреевны и Скачука, Семен Егорович без проволочек объявил, что старуха совершенно вменяема и вряд ли какой-нибудь психиатр усомнится в ее умственных способностях. Скачук, освежившийся на воздухе, смущенно покашливал и избегал смотреть на приятеля. Верестов видел, как Аня, покусывая нижнюю губу, готовилась убеждать его. Он вдруг представил себя со стороны, упрямого, рассерженного, испортившего настроение людям, так хлебосольно принявшим его. Но что же с бабкой-то делать? Оставить здесь? Сживут.

— Хорошо! Я узнаю...— неохотно проговорил он к молчаливому изумлению и облегчению присутствующих и, натягивая перчатку, сбежал с крыльца.

По пути на остановку (выпив, Скачук не садился за руль), нарушив тягостное молчание, Петр Аркадьевич было занудил:

— Аня — очень хорошая женщина. Ты вот... — Он спяну не подобрал слова. — Ухаживал когда-нибудь за чужой старухой, которая, извини, за собой смыть не может?

— Хватит! — оборвал его Верестов.

Говорить не хотелось. Он потянул из кармана перчатку, и вместе с нею из кармана что-то выпало на снежок. Верестов механически поднял... И обоим стало неловко, неуютно вдвоем на пустынной улице.

— Отдашь ей это, — глухо проговорил Верестов...

А через неделю Мария Игнатьевна умерла.

Ее похоронили в два дня.

В разгар хлопот по похоронам Скачук вернул деньги от Верестова, оставив их на холодильнике. Анна Андреевна подумала, что так и должен поступать порядочный человек, если дело не сладилось.

Никита ЕЛИСЕЕВ

МАРДУК

Танки остановились у окраин.

Мардук не разрешил рушить стальными гусеницами руины, чуть припорошенные снегом, и чудом сохранившиеся деревянные домики, из труб которых, будто в насмешку, курился идиллически-деревенский дымок.

Танки, оружие древних, остановились у окраин.

Солдаты в черных комбинезонах, в шлемофонах входили в сдавшийся город.

Мардук стоял у своей машины.

Из этого города он бежал пять лет тому назад.

Пенсне Мардука поблескивало на солнце.

— Ну-ка, — повернулся он к директору внешней охраны, — долбани мою любимую.

— Есть! — коротко бросил директор и дал резкую отмашку рукой: дескать, начали! Тронулись...

В воздухе сначала зашипело, как бывает всегда, когда ставят иглу граммофона на старую, заезженную донельзя пластинку; вслед за тем полилась песня.

— Хорошо, — кивнул Мардук, растроганный и умиленный, — хорошо...

— Бананы ел, — пел женский низкий голос, — пил кофе на Мартинике, курил в Стамбуле злые табаки...

Мардук-воитель, научившийся убивать людей раньше, чем любить женщин, Мардук-узурпатор, в черной папахе, белой ворсистой шубе с когтями по подолу и на рукавах, в ослепительно черных сапогах, слушал свою любимую песню.

— Я пойду в город, — сказал он наконец директору внешней охраны.

Директор пожал плечами:

— Я бы советовал вам взять кого-нибудь из стражи.

Мардук поправил пенсне.

— Не откажусь.

— Седьмой! — выкликнул из слонявшихся неподалеку охранников директор угрюмого верзилу. — Пойдете с Мардуком.

Мардук уже шел в город, в его разваленные, размятые улицы. Следом за ним пропустил охранник.

— Гей,— не оглядываясь, бросил Мардук,— когда кончится эта песня, поставишь «Горочку».

Он щурился от солнца. Где-то здесь, на одной из улиц, в которые входит, вваливается сейчас его солдатня, жила Лена и жил Ионафан.

Жила? Жил? А может, и сейчас живут? Вот было бы любопытно зайти.

Мардук шел по бывшей улице меж двух рядов руин; за ним еле поспевал охранник.

«С ума сойти,— думал Мардук,— я как будто запретил себе о них думать после того, как привезли из тюрьмы истерзанную, полуживую Лену, и после того, как отдал строжайший приказ: ни в коем случае...»

Мардук остановился.

Толпа солдат деловито и весело топтала ногами какого-то шпака; вырван-ная из рук его берданка валялась неподалеку.

— Вот, полюбуйся,— довольно громко сказал Мардук запыхавшемуся, чуть было не налетевшему на него охраннику,— они еще считают себя представителями великой народной армии. Какое зверство, какая гадость!

— Пошел вон,— посоветовал один из солдат,— не на политзанятиях...— И тут же осекся, узнав Мардука.

Толпа распалась, освободила проход, по которому Мардук прошел к хрипевшему, недотоптанному человеку.

— Он стрелял в нас,— буркнул кто-то из солдат, но Мардук не обратил на эти слова никакого внимания.

Он нагнулся над пострадавшим, аккуратно, стараясь не запачкаться, взял за локоть. Охранник, поняв жест Мардука, помог пострадавшему подняться на ноги.

— Мы не красные,— тихим голосом начал объяснять Мардук,— мы не издеваемся над пленными. Попался с поличным — ведите в штаб, в отдел внешней охраны, расстреляйте в конце концов, но пытать! Издеваться! — Мардук предостерегающе поднял руку в черной лайковой перчатке.— Ни в коем случае... Многие,— человек покачивался и хрипел,— многие,— невозмутимо продолжал Мардук,— полагают, что, мол, война все спишет, что, мол, взаимное ожесточение... Так вот запомните: не спишет, но подчеркнет, выделит! — Мардук коротко рубанул воздух рукой.— Взаимное ожесточение! Так не поддавайтесь же ему. Будьте людьми не только на политзанятиях, но и после тяжелого, кровопролитного боя...

В воздухе зазвучала иная, веселящая, томящая душу Мардука, старая песня:

— Вот кто-то с горочки спустился, наверно, милый мой идет, на нем защитна гимнастерка, она с ума меня сведет...

Солдаты слушали Мардука и песню, опустив головы.

Мардук обернулся к окровавленному, вымазанному черной жижей человеку.

— Фамилия?

— Ишан...— человек перевел дыхание,— кулиев.

Солдаты недовольно зароптали.

Мардук поморщился и сделал знак рукой. Ропот стих.

— Так ты еще и инородец,— насмешливо сказал Мардук и резко, зная, как вздрагивают от такого вопроса, спросил: — Национальность?

— Какое...— начал было избитый.

— Национальность? — четко повторил свой вопрос Мардук.

— Тат,— сказал избитый.

— Тат,— улыбнулся Мардук,— тат, да не тот.

Солдаты гоготнули.

— Ясно,— сказал Мардук и оборотился к солдатам: — Кто тут расстраивался, что не на политзанятиях?

— Сидорчук, Сидорчук,— зашумели солдаты.

— Ну-ка, ну-ка,— Мардук упер руки в боки,— давайте сюда этого Тараса Бульбу... В честь победы, так и быть, никаких санкций, но полюбоваться на него стоит.

Солдаты вытолкнули под ясные очи Мардука скромно потупившегося Сидорчука.

— Солдат! — позвал Мардук.— Какого батальона?

— Непобедимых львов,— сумрачно буркнул Сидорчук.

— Врешь, врешь,— вскричал Мардук и даже ногой притопнул, подражая своему любимому полководцу,— лгун хуже немогузнайки! Подлых шакалов, а не благородных львов, шакалов, издевающихся над пленными! Солдатскую книжку!

Сидорчук расстегнул черный комбинезон, достал из нагрудного кармана солдатскую книжку.

Мардук неспешно полистал ее страницы, размахнулся и с силой ударил Сидорчука по лицу.

— Дрянь,— сказал Мардук,— дрянь! У тебя есть награды за Вязов, за Хлынов, ты недостоин этих наград. Мерзавец. Вот,— Мардук указал на Ишанкулиева,— заберешь этого тата и дотащишь его до госпиталя внутренней охраны. Скажешь: распоряжение Мардука. Я проверю. И если хотя бы волос упадет с его головы, хотя бы волос...— Мардук протянул Сидорчуку книжку.

Солдаты разбрелись. Сидорчук потащил Ишанкулиева. Мардук и седьмой охранник пошли по улице меж двух рядов руин.

— Видишь,— сказал Мардук, довольно щурясь,— а лет через двадцать этот тат помянет меня в своих мемуарах. Думай о памяти благодарных потомков.

Мардук остановился, огляделся. Вывезла же кривая! Он узнавал в скопище руин поворот на улицу Македонского.

Мардук пошел налево.

— Мардук,— услышал он за спиной,— э... Ваше сиятельство, эт... господин координатор...

Мардук обернулся.

Седьмой топтался на одном месте.

— В чем дело?

— Э...— сказал седьмой,— ну... я жил здесь.

— И я здесь жил, в чем дело?

— Ну, это...— мямлил седьмой,— здесь лучше зря не ходить... Ну, очень злые собаки...

Мардук в изумлении поправил папаху, подошел к охраннику.

— Я не понял тебя, товарищ,— мирно спросил,— ты что, собак боишься?

— Да,— честно признался седьмой,— боюсь.

Мардук расстегнул нижнюю пуговицу шубы, достал из кармана галифе портсигар и поинтересовался:

— Кого же ты еще боишься, воин?

— Всех,— не смущаясь, объяснил охранник,— я всех боюсь. Потому и во внешнюю охрану подался. Я трус.

Постукивая папирисой о портсигар, Мардук подвел итог беседе:

— Ты умом треснул, воин. Швейк тоже мне выискался. Правду-матку он ржет, видали вы... Собак боится, а Мардуку про это сказать не испугался, а ну, марш вперед, за родину, за Мардука — и ни шагу назад перед Бобиком в гостях у Барбоса. Пистолет у тебя есть?

— Так точно,— сказал оторопевший охранник,— есть.

— Умешь им пользоваться?

— Ну,— замялся охранник,— не очень...

— То есть как это не очень,— оторопел Мардук,— не умеешь, что ли?

— Нет,— начал объяснять охранник,— я в основном, ну, по акциям, что-бы, значит, в затылок, а если собака, ну, и прыгнет...

— Марш вперед! — угрожающе произнес Мардук.— Акционер, понимаешь. Развелось вас, захребетников, бездельников, во внешней охране, перешерстить, мать вашу, всех давно пора... Марш.

Охранник, вздохнув, тронулся вперед.

«Чего ради я поперся по этой улице? — раздраженно думал Мардук.— Ионафан наверняка давно за границей, оттуда руководит борьбой, а Ленка не выжила, сдохла. Когда ее привезли из тюрьмы,— он передернул плечами,— даже уж на что выдавший виды директор и тот...»

Мардук снял пенсне. Мир моментально потерял пугающую стереоскопическую четкость, расплылся радужными, веселыми цветными пятнами.

— Стой,— сказал Мардук седьмому,— принимай боевое крещение.

Это был двор Елены. Двор Ленки и ее с мамой домик.

Как он уцелел? Но уцелел, и из трубы вился дымок, а по заснеженному пространству двора гулял волкодав. Оставалось только проверить, Лена в доме или кто другой.

Волкодав остановился и оскалил желтые клыки.

Охранник неуверенно посмотрел на Мардука.

— Застрелить? — тихо спросил он.

Мардук пожал плечами.

— Я в принципе — против убийств. Если можешь договориться с ним — договаривайся, но мне нужно пройти к этому дому.

Охранник отворил калитку и вошел во двор.

Мардук оперся о забор.

Сдержанно рыча, медленно, неприметно набирая скорость, волкодав шел к охраннику.

В окне домика качнулась занавеска.

— Ленка,— весело позвал Мардук,— это я, Мардук. Уйми своего Рекса.

Рывком распахнулась форточка, и резкий женский голос вылетел в заснеженный палисадник вместе с клубами пара:

— Порви им глотку, Рекс! Убей их! Фас!

Охранник успел вытащить пистолет и даже нажать на курок. Но это ему не помогло. Мардук отворил калитку, прошел по дорожке, перешагнул через катавших по снегу Рекса и охранника и, сделав еще несколько шагов, оказался у самого окна Лениного домика.

Мардук стукнул в стекло костяшками пальцев.

— Лена,— сказал он довольно громко,— не дури, закрой форточку, ты выстудишь дом, а я не начальник по снабжению — всего только великий коорди-

натор и — не менее великий полководец, дров я тебе достать не смогу. Закрой форточку и открой дверь. Мне надо с тобой поговорить.

Занавеска откинулась, и в окне показалась Елена.

— У тебя есть совесть? — спросила она.

Мардук приблизил лицо к окну и громко крикнул, оставляя следы своего дыхания на стекле:

— Нету у меня совести, Ленка, слышишь, нету!..

За спиной Мардука орали охранник и Рекс, старавшиеся загрызть друг друга. Мардук поморщился и, не поворачиваясь, попросил:

— Потихе нельзя?

— Сейчас... потихе, потихе... сейчас,— прохрипел мало что соображавший охранник.

— Стыд у тебя есть? — продолжала допытываться Елена.

— Слушай, перестань,— обиделся Мардук,— лучше скажи: Ионафан с тобой?

— Подонок! — прокричала сквозь стекла Елена.— Ты ведь посадил меня в тюрьму!

— Хо,— Мардук хлопнул себя по бокам руками,— хо! Вот это мне, честное слово, нравится. А куда я тебя должен был посадить, дорогая? Здесь-то моя совесть чиста. Через линию фронта в столицу Мардука собирается любовница оппозиционера, с чужим паспортом приходит к великому координатору на прием... Интересно, что я должен был сделать? Что?! Да я, если хочешь знать, спас тебя.

— Спас? — выкрикнула Елена.— Спас? Тварь! Ты что, не знаешь, что со мной делали в тюрьме? Как я жива осталась, до сих пор...— Елена замолчала.

— Да,— согласился Мардук,— я сам удивляюсь.

— Подонок,— повторила Елена тихо, так что Мардук догадался об этом только по движению ее губ,— подонок,— повторила она громче.

Мардук расстроился.

— Вообще,— сказал,— при чем здесь я? При чем здесь мы? Трамвай устроили, заметь, не тюремщики, а те, кто захватил тюрьму... Ленка, не дури, открой дверь. Там договорим.

Лена отвернулась, задернула занавеску.

Мардук пошел вдоль стены домика к двери. Он приминал каблуками недавно выпавший снег, оставлял в пушистом, мягком, белом твердые продавленные следы.

Дверь распахнулась.

Мардук остолбенел.

На пороге стоял робот-убийца.

— Вот те на,— обиженно сказал Мардук,— как же тебя в тюрьму-то не посадить? Я к тебе с открытым сердцем, с распахнутой душой, а ты мне — железяку с прямой наводкой.

Робот помигал зеленоватой лампочкой. Мардук опасно оглянулся. Позади все еще катались по снегу Рекс с охранником.

«Ну, да все равно,— сообразил Мардук,— если долбанет, то лучик и до них достанет».

Робот-убийца был оружием древним — поновее, чем танки, но все же древним — и потому с совершенно убойной силой. Хряпнет, не разбирая...

— Леночка,— попросил Мардук,— убери ты своего железного дровосека. Я ж без никого. Сама видишь... Этот,— Мардук кивнул в сторону охранника и

Рекса,— собаколов... не в счет. Больше для солидности и смеха, чем для охраны. Сдвинь антропоида — дай пройти человеку.

Робот замигал красной лампочкой.

— Ладно, ладно,— Мардуку сделалось не по себе,— я уйду, уйду, скажи только, где Ионафан,— и все. И я отваливаю.

Во лбу робота загорелась нестерпимым светом огромная матовая белая лампа, подобная далекому солнцу в зимнем синееющем небе.

«Все,— подумал Мардук,— все... Отыгрался в казаки-разбойники,— и тут же удивился тому, что одновременно с этой отчаянной мыслью холодно и бесстрастно отметилось: — А роботов им Емелька поставлял, наверное? Кто ж еще? Ворюга».

Ленка, по-видимому, медлила нажимать кнопку, и Мардук решил использовать последний шанс.

Когда-то, в годы шальной юности, Емелька разъяснял Мардуку: «Ну а коли попался — не беги... Ён достанет. Если поспеешь — звездани промеж глаз, по фонарю. Сильно звезданешь, ён, может, испортится. Чихнет так и остановится. Ну а несильно... Пиши пропало. Рванет так...»

Результата своего удара Мардук никак не ожидал.

Робот кракнул, осел и как-то нелепо и быстро рассыпался, даже без особога грома.

Мардук радостно рассмеялся и перешагнул через его останки.

Елена отступила назад, прижалась к стене.

Мардук поднял с пола ржавый болт.

— Это вас что, Емелька снабжает? — весело спросил он.

Ленка молчала.

Мардук прошел в комнату и притворил дверь.

— Вот гад,— так же весело продолжил он, подбирая белую ворсистую шубу и усаживаясь на стул.— Ворует со склада державное имущество, загоняет мирным гражданам.

— Вам не жарко? Не взопреете в шубе? — спросила Лена.

— А,— Мардук махнул рукой,— не взопрею. Спасибо за заботу. Я говорю: гад Емелька! Добро бы хорошее имущество продавал, а то списанных перержавленных роботов-убийц.

— Емельяну Ивановичу,— докторально сказала Елена,— негде достать хороших роботов. Спасибо и на этом!

— Те-те-те,— начал было Мардук, но тут на улице щелкнул выстрел.

В дверь постучали.

— Да-да,— сказала Елена.

Дверь скрипнула.

Елена в ужасе поднесла руки к лицу.

— Справился? — не оборачиваясь, поинтересовался Мардук.— Придушил лютого врага? Или враг вырвался и убежал?

— Простите... великий координатор,— с трудом выхрипнул искусанный в кровь охранник,— у вас индпакета не найдется?

Мардук лениво повернул голову.

— Что,— тихо спросил он,— покусили? — И добавил с мстительным странным чувством: — Это тебе не из нагана в затылки безоружным шарашить.

— Подонок,— выдохнула Елена,— он ведь выполняет твои приказы. Походите сюда, у меня есть бинты и йод. Я обработаю раны.

Мардук снял папаху, хлопнул ее на стол, потом сдернул запотевшее пенсне, стал его протирать.

— Приказы,— Мардук хмыкнул,— мои приказы... А зачем он их выполняет? Иди, иди! — Он махнул рукой застрявшему на пороге охраннику.— Иди к гуманистке, она тебе поможет.

Охранник вошел в комнату, плотно закрыл дверь и, осторожно обходя Мардука, побрел к Елене.

— Видали? — Мардук вздел на нос пенсне.— Нашли крайнего. Мои приказы. Приказ приказом, но всегда есть тот, кто с готовностью,— Мардук поднял руку в черной лайковой перчатке,— с радостью его выполнит. Вот прикажи я ему: застрелись! — он ведь сто отговорок придумает, прежде чем возьмется выполнять такой приказ, забюллетенит, паскуда,— Мардук зевнул.— А скажи: застрели! — и застрелит, сукин кот...

Мардук заложил руки за голову, вытянул ноги в черных глянцеvitых сапогах на полкомнаты.

Елена перевязывала покусанного охранника; скосив глаза на Мардука, она спросила:

— Не холодно в сапожках по морозцу?

— Нет,— спокойно ответил Мардук,— яловые и портянки хорошие, байковые. Не холодно.

— Что же мне,— буркнул охранник,— не выполнять теперь ваши приказы?

— Я те не выполню,— пообещал ему Мардук,— я те не выполню!.. Через два перехода Космква, пойдешь в штурмовых колоннах. Видали вы... пацифиста? Махатма Ганди выискался. Ишь...

Охранник вжал голову в плечи.

— Ленка! Ты его кончила обрабатывать?

— Да,— сказала Елена.

— Тогда пошел вон на улицу! И сиди там смирно, сторожи нас, а то гляди: к другому псу пошлю на бой кровавый, святой и правый. Марш!

Охранник заспешил к двери.

Елена уселась на стул, вытянула руки, коснулась пальцами папахи. Мардук увидел, как перекорежены, изуродованы ее пальцы, и покраснел.

Охранник закрыл дверь и остался на улице, во дворике, рядом с убитым псом.

— Как они тебя не убьют! — сказала наконец Елена.

— Не волнуйся,— довольно хмыкнул Мардук,— я из истории знаю: таких, как я, не убивают. Убивают слабых. Или очень плохих, или очень хороших. А я — в самую меру.

— Да уж,— улыбнулась Елена.

— Ты, — продолжил Мардук,— знаешь, что им нужно? Если святой, то — мертвый, если живой — то бандит... Мертвому святому они молятся, мертвого бандита пинают ногами — и наоборот. Ясно?

— Ты плохого о нас мнения,— тихо сказала Елена.

— А причем здесь ты, или Ионафан, или Емелька? Даже Емелька? — Мардук пожал плечами.— Отщепенцы поганые, нечего примазываться к великому народу.

Елена покачала головой.

— Ты редкая сволочь, Мардук. Редкая...

— Ленка,— Мардук прижал руки к груди,— Ленка... Я вижу: ты зло на меня держишь. И зря. Вот ей-же-ей, зря... Ну, приперлась ты от Ионафана, ку-

да мне было тебя девать? В тюрьму или на плаху. Третьего-то не дано. Выпусти я тебя, — так либо мои укоцали бы, либо твои...

Елена поглядела на Мардука.

— Интересно, — сказала она, — так ты думаешь, меня Ионафан прислал?

— А кто же? — несколько даже опешил Мардук.

Елена криво усмехнулась, потом заговорила:

— В тюрьме меня ненавидели. Все помнили, что я твоя жена.

— Вот-вот, — Мардук закивал головой, — именно, именно. Зверье-с, форменное зверье, куда бич не свистнет.

— Так это же вы, — вздохнула Елена и сцепила искореженные, недоломанные, не додавленные каблуками пальцы на колене, — довели до зверства своими бичами. Это же вы круг-кружочек начертили: бич — вырвавшийся из-под бича зверь — бич — вырвавшийся...

Мардук замахал руками.

— Хватит, хватит! Лучше скажи, где Ионафан.

— Ионафан? — Елена снова странно посмотрела на Мардука. — Ты что, не знаешь, где Ионафан?

— Нет, — честно признался Мардук, — не знаю.

— Ну, — покачала головой Елена, — и плохо же твои Пинкертоны работают, Мардук Великолепный... Пойдем, покажу тебе Ионафана.

Мардук задохнулся от радости. В это он не мог поверить. Ионафан остался. Не сбежал! И он увидится с Ионафаном!

Елена собиралась.

— Лен, — сказал Мардук, — я тебя спрошу... Охранника брать?

— Бери, — пожалала плечами Елена. — Бери, если боишься. Впрочем, он же у тебя для смеху, для солидности?

— Нет, — развеселился Мардук, — он прошел боевое крещение. Он теперь воин.

Вышли во дворик, где тосковал, переминался с ноги на ногу охранник. От нечего делать он привязал к шее задушенного им пса бельевую веревку.

Елена посмотрела на оскаленную мертвую морду и закусил губу.

— Я замечал, — сказал Мардук спокойно, — женщины много жестче мужчин.

— Оставь свои заметки при себе, — сухо посоветовала Елена.

Мардук вынул из кармана огромную круглую печать, опустил ее в снег на секунду, а затем придавил к двери.

— Все, — сказал он, — будешь, Еленушка, как у Бога за дверьми. А если, не дай Бог, ваши придут, дверь с петель снимешь или у Ионафана другую печать выпросишь.

— Идешь? — Елена взялась за штaketину калитки.

— Иду, иду, — заторопился Мардук.

В городе постреливали. Виднелись черные комбинезоны мардуковых солдат сквозь голые палисадники и свежие, чуть присыпанные снегом развалины, но на улочку Александра Македонского, где жила жена Мардука, любовница Ионафана Елена, геройское войско как-то не сворачивало. Может, действительно боялись собак?

Охранник плелся следом за Еленой и Мардуком, тащил на веревке убитого Рекса.

— Тебе что, — спросил Мардук, — жалко с военным трофеем расстаться?

— Оставь его, — посоветовала Елена, — он других собак отпугивает. Лучше прикажи ему схоронить Рекса. Ладно?

— Ин быть по-твоему,— Мардук махнул рукой,— миловать так миловать. Собаколов, слышал, что хозяйка Рекса сказала? Вернемся с прогулки — она тебе покажет место, схоронишь пса. Понял?

— У меня есть мини-скрепер,— сказала Елена.

— Емелька надьбал? — деловито спросил Мардук.

— Емелька,— сухо и недовольно согласилась Елена.

— Спасибо, не надо,— сказал Мардук,— с Емелькиным товаром уже ознакомлены... Мне самокопы не нужны.

— Как знаешь,— протянула Елена.

Они свернули в тупичок Бодлера, здесь кончался город, далее тянулось белое безлесое пространство, пруды и сразу за ними — просматриваемая насквозь дубовая роща. Каждое бочкастое, растопыренное дерево на особицу, отдельно, застыло недвижно, каменно.

Мардук не любил дубы. В этих деревьях были надутость, туповатость, полное отсутствие гибкости. Мардук любил ивы.

Елена шла по белому снегу, не разбирая дороги. Впрочем, снегу было немного. То был первый снег.

Мардук приотстал немного и шепнул на ухо охраннику:

— Ты останься в стороне. Но если услышишь... ну, словом, вытаскивай пистолет и на помощь.

Они входили в рощу.

— Скоро? — поинтересовался Мардук.

— Да уже пришли,— сказала Елена.

— Тогда подожди здесь... собаколов,— обратился к охраннику Мардук.

Охранник остался ждать. С неба падали редкие снежинки и не таяли на шерсти собаки.

Елена прошла совсем немного и остановилась у небольшого бугорка.

Мардук старался не догадываться о том, что это за бугорок.

— Здесь,— тихо сказала Елена.

— Где? — так же тихо спросил Мардук.

Елена присела на корточки перед бугорком.

— Здесь — Ионафан,— повторила она и посмотрела на Мардука.

— Разбудите,— глупо сказал он и, только тогда поняв, куда привела его Елена, как был, в белой ворсистой шубе с клыками по подолу и по рукавам, лег на бугорок лицом в снег, глазами в пенсне — в снег...

— Мардук,— сказала Елена и положила руку на его вздрагивающую спину, на белый мех, на который падал и не таял снег,— Мардук Великолепный. Он повернул к Елене лицо, мокрое от растаявшего снега. Снег тек по стеклышкам пенсне, и мир расплывался сквозь эти стекла.

— Кто его убил? — спросил Мардук.

Он не отдавал такого приказа.

— Кто его убил? — повторил Мардук.

— Он сам,— сказала наконец Елена,— сам, когда узнал, что я в тюрьме. Мардук рывком поднялся на ноги:

— Что ты мелешь? На что он рассчитывал? Это был лучший вариант.— И тут же прервал себя, пораженный догадкой: — Ты... сама? Он не знал? Ты сама сорвалась?

— Да,— сказала Елена,— сама.

— Дрянь! — Мардук размахнулся и ударил ее ногой.— Мерзавка! — Елена упала и привычно спрятала голову в руки, подставила под удары спину.— Сука,— орал Мардук,— Фанни Каплан нашлась. Шарлотта Корде, спаситель-

ница отечества! Ты его убила, ты, ты... С вас волосинки бы не упало, я бы выслал его за рубеж — и все... Дура! Дура! — Мардук перестал бить Лену, остановился тяжело дышащий, всхлипывающий. — Дура! — Дрожащими руками он снял пенсне, кулаком стал утирать слезы. — Ты разве не знаешь? Это был единственный... кого я любил.

Из-за кряжистого дуба высунулся охранник.

— Простите,— он сжимал пистолет в руке,— я слышал шум, ничего?

— Ничего, ничего, милый,— шмыгнул носом Мардук,— сходи постой на краю дубовой рощицы. Твоя помощь не требуется.

Елена поднялась, отряхнулась.

— Вот оно как,— сказала она,— вот оно что, а я думала, ты никого не любишь, Мардук.

— Ты у него была — один свет в окошке,— жаловался Мардук,— я этого не знал, но ты-то должна была знать. На кой ты сорвалась ко мне? Родину освободить? Далась тебе...

Мардук замолчал, завсхлипывал.

Елена прислонилась к стволу дерева, сухому, пыльному.

— Я ведь любила тебя когда-то, Мардук.

— Уйди, Ленка,— попросил Мардук,— уйди. Дай мне побыть одному.

Елена пожала плечами и пошла прочь.

Мардук недолго стоял один. Он услышал недалекий выстрел, словно резкий хлопок, подумав, шмыгнул носом, водрузил на нос пенсне, поправил папаху и заспешил из рощи.

Ленка лежала, ткнувшись головой в снег. Охранник засовывал пистолет в карман.

— Я подумал,— неловко улыбаясь, сказал он,— что... ну, что лучше для вас, если ее, ну, словом...

— Физиономист, психолог,— процедил сквозь зубы Мардук и, повернувшись, отчеканил, упираясь пальцем в грудь вытянувшегося перед ним во фрунт охранника: — Но если ты, собаколов несчастный, думаешь, что этим отвертись от копания и долбления мерзлой земли, то ты заблуждаешься! Теперь тебе предстоит вырыть две ямы.

Галина СКВОРЦОВА

СПАСИТЕЛЬНИЦА МИРА

Еще год назад она слыла гениальной и была желанной гостьей во многих домах. В чем конкретно заключалась эта гениальность, никто толком не знал, но слухи ходили, и того было довольно, чтоб наживку проглотить. И как все любили ее, как домогались в дни наездов: чтоб непременно ко мне... и ко мне... и к нам... Всенепременнейше... А теперь ее в лучшем случае отсылали в «комнату для прислуги», то есть на кухню. «Мне дали водочки, закутить...— уводя глаза и смущенно улыбаясь, рассказывала Вера о визите к Гарику.— Да что бы я там делала, они теперь все только по-английски говорят...» Больше всего ее огорчил не прием, а то, что «тортика» не досталось. «Торт был необыкновенный...»

«Она опасна,— говорили между собой друзья Веры тотчас после ее приезда.— Ее нужно срочно отправить туда». Они стеснялись сказать прямо —

«психушка», да никто бы и не взял на себя ответственность, это вроде того, как если бы они собственными руками затолкали ее в душегубку, хотя душа ее была погублена задолго до них, может быть, даже в младенчестве, кажется, она и сама знала об этом, недаром же не раз в подпитии кричала, размахивая по-птичьему непропорционально длинными руками: «Ребята (она называла их ребятами по студенческой привычке, хотя какие там «ребята» — все уже сороковик разменяли), я безумная, а вы сумасшедшие!..»

То ее безумство нравилось, оно было гениальным и позволяло им оторваться от грешной земли, воспарить, почувствовать себя хоть на мгновение высшими существами.

О том, что у Веры «крыша поехала», сообщила по телефону московская приятельница Ирка. Она же выяснила, что это у Веры наследственное — у нее и мать сошла с ума в сорок лет, — а значит, неизлечимо. По слухам, Вера собиралась в самое ближайшее время их навестить и даже, наверное, уже выехала. «Так что готовьтесь...» — весело сказала Ирка, и все поняли, что она умыла руки.

Как всегда в экстренных случаях, собрались у Гарика. Сначала решали, у кого Вера остановится, если все-таки приедет. То есть кому первому провести ночь с сумасшедшей. В глазах Лизы Мышкиной застыло откровенное недоумение: принести себя, свое спокойствие в жертву? Но ради чего? Ради гениальной Веры — пожалуй, ради безумной — увольте...

— А мне ее жалко, — сказала Миля, — все же человек...

— Ну, раз ты такая сердобольная, так и возьми ее к себе, — съехидничала Лиза. И тотчас почувствовала укол совести: как-никак она в Москве у Веры часто останавливалась, чаще, чем другие.

— Ребята, — ласково попеняла Наталья, — конечно, Веру жалко, но ведь у нас никакого опыта общения с сумасшедшими. Кто знает, что она может выкинуть...

— Да, если она приедет, покоя не будет, это уж точно... — подтвердил и мрачнейший с каждой минутой Гарик; у него были свои основания опасаться приезда Веры: она запросто — что с нее, сумасшедшей, возьмешь — могла проболтаться о его шалостях в столице...

Как-то неожиданно для него самого и вырвалось это — «психушка». Однако никто из присутствующих не хотел выглядеть сволочью не столько в собственных, сколько в глазах других. Предпочли нейтральное — туда — из детской игры: пойдя туда — не знаю куда...

Вера и пошла. И пришла к Гарика (Бог наказал!). А у того как раз дом полон иностранцев, не будешь же при них взашей выталкивать. Но и допустить, чтобы они увидели такое — бесполое существо, с ввалившимися, как у дистрофика, щеками на иссиня-бледном лице, в грязной, замасленной куртке, с тощим солдатским рюкзачком, — он не мог.

Бочком, бочком затолкал ее на кухню, мимоходом Инне: «Покорми» (авось поест — подбреет). Жена, умница, поняла с полуслова — и Веру под белы, то есть грязны, руки — ах, ах! Да каким ветром...

Гарик вьюном вился вокруг гостей, а в голове держал одно: выпроводить ее, немедленно выпроводить... Выждав некоторое время, когда, по его расчетам, Вера должна была насытиться, он снова появился на кухне.

— Верочка-то говорит, микробов в нашем городе видимо-невидимо... — с приторно-ласковой улыбкой начала Инна.

Гарик метнул на нее бешеный взгляд — идиотка! — и, сладчайше осклабившись, к Вере: «Матушка-голубушка, отчего ж не написала, встретили бы, как раньше, по первому разряду...»

— А, знаешь, тебя очень хотела увидеть Наталья,— вдруг соврал Гарик, хотя за секунду до того не помышлял ни о чем подобном.— Незадолго до твоего прихода звонила, будто чувствовала. Говорит, хочу Веру видеть, и Даша, мол, соскучилась...

Вера понимающе кивнула, подхватила с полу рюкзачок с курткой и с тхой, прямо-таки потусторонней улыбкой попрощалась. На мгновение Гарик оскорбился — хоть бы слово какое доброе сказала, все-таки не виделись полгода... Но тут же и отогнал эти мысли, не до того — гости требовали внимания.

Наталья, увидев Веру, только и могла выдавить из себя: «Проходи...» Повела на кухню, она же гостиная и кабинет. Вера от еды отказалась, но попросила чая, сожалея вслух о «тортике», каким не угостили ее у Гарика.

Прежде они до рассвета просиживали за этим вот столом. Чаю выпивали, наверно, с ведро. Вера часто говорила ей про Дашу: «Княжна у тебя растет, княжна...» Наталья отмахивалась: дескать, какая там княжна, гадкий утенок,— а сама краснела от удовольствия: в глубине души она верила, что ее дочь, тоненькая, с гладко зачесанными волосками, лоб в первых прыщиках, со временем расцветет и вправду станет похожей на неведомую княжну, с которой сравнивала ее Вера.

Воспоминания о «княжне» смягчили Наталью, разговор пошел веселее, но в общем-то о вещах самых обыкновенных — о погоде, знакомых. Наталья уже стала подумывать, что слухи о безумии Веры сильно преувеличены, разве что выглядит... Впрочем, на любом московском вокзале Вера ничем бы не выделялась из толпы. Несколько странен ее повышенный интерес к начальству из «бывших», они же и настоящие, но и это объяснимо: когда-то в своих полночных беседах, тусовках, как сказала бы Даша, они упоминали об этих людях с неприязнью, даже враждой, называли их надсмотрщиками, загнавшими всех нормальных людей в клетки. Видимо, у Веры это отложилось. Одну фамилию она повторила дважды, смакуя, как бы пробуя на вкус. На взгляд Натальи, это был преподлейший человек, вовсе попользовавшийся властью.

— Говорят, он много ездил...— с неприятной усмешечкой, скорее утверждая, чем спрашивая, сказала Вера, напряженно глядя куда-то мимо Натальи, будто привиделась ей некая картина. И, сделав многозначительную паузу, закончила: — Вот уехал — и не вернулся...— Радость вспыхнула в ее глазах, она торжествующе засмеялась.

От этого жуткого смеха по спине Натальи пробежали мурашки: было очевидно, что светильник разума в голове Веры все-таки угас.

Вера попросила закурить, и Наталья протянула ей пачку «Опала». Длинные пальцы Веры, смуглые то ли от загара, то ли от грязи, сильно дрожали, когда она вытягивала сигарету из пачки, а потом прикуривала.

С каждой минутой Наталье становилось все тревожнее. Она встала, подошла к окну посмотреть, не идет ли Даша. И вдруг почувствовала: за ее спиной что-то происходит. Может быть, даже Вера вот-вот бросится на нее и начнет душить. Они станут бороться, и в какой-то момент огромная сила безумной возьмет верх...

Превозмогая себя, Наталья обернулась: Вера стояла в дверном проеме с закрытыми глазами, вытянув перед собой руки. Лицо ее было багровым, а толстые жилы на шее, казалось, вот-вот лопнут от сверхнапряжения.

Наталье было жутко и неловко одновременно, как если бы она подсматривала в замочную скважину. Кашлянув, она сделала вид, будто что-то ищет. Вера сказала буднично:

— Все. Я уничтожила их...

Она направилась в ванную. Вскоре там зашумела вода, видимо, Вера захотела принять душ. Наталья, прикрыв дверь кухни, набрала номер Сорокиных:

— Она у меня. Кажется, моется...

Миля заинтересованно выспрашивала подробности: как одета, выглядит...

— Ирка ведь говорила, что она в своей Москвѣ чуть не умерла от голода, целую неделю варила какие-то веточки, тем и питалась...

И тут Наталья поняла, что нужно бить на жалость: у Сорокиных, кроме кошки, никого, а у нее Даша, она не могла рисковать...

— Кожа да кости, видно, оголодала...

— А такое? Что-нибудь такое заметила? — перебила Миля.

Наталья ответила уклончиво: дескать, ничего особенного. Поговорили про погоду, дачные дела, конечно, и посплетничали, не без того. В какой-то момент Наталья посетовала:

— Мне уходить надо, не знаю, куда ее и пристроить...

— Можешь послать ко мне, — согласилась Миля. — У меня два отгула, перекантуемся как-нибудь. Да и не совсем же она приехала...

У Сорокиных Вера прожила целую неделю, в конце которой Миля не выдержала и купила Вере билет в Москву. Но Вера то ли не поняла, то ли не захотела принять решительный жест Мили — натура она была гордая, управлять собой никому не позволяла — и продолжала жить у Сорокиных как ни в чем не бывало.

— ...Она только и говорит об этих микробах! — кричала Миля Наталье по телефону. — А если задуматься, что это за микробы? Да те, кто не разделяет ее бредни...

Наталья виновато молчала, понимая, что каждый мог бы оказаться на месте Мили, но оказалась почему-то Миля, и не почему-то, а потому, что самая порядочная из них.

— ...В квартире пожар устроила, — едва не плакала Миля. — Вздумала посуду прокалить на плите, это она так от микробов избавляется. Хорошо, Виктор оказался дома, уже полотенце загорелось... Ее же нельзя оставлять одну ни на минуту... Я что? Отпуск из-за нее должна брать? Она ведь уезжать не собирается, а в психушку, с Виктором узнавали, таких теперь не берут, то есть берут, но если больной сам придет и скажет: «Хочу лечиться». А разве Вера пойдет? Она-то считает себя вполне здоровой...

Действительно, поддержала ее Наталья, почему из-за этой сумасшедшей все у них должно идти кувырком? Ну да, дружба, но это не значит, что до конца дней своих они обязаны нести этот крест... «Живые думают о живых», — говорила Натальяна мама, царствие ей небесное... И вдруг отчего-то вспомнила, как однажды, будучи проездом в Москве, она остановилась у Веры. И как ночью проснулась от резкой боли в икроножной мышце. Не сдержавшись, застонала. Вера тотчас вскочила, в тревоге бросилась к ней: «Что? Что случилось?». «Судорога», — сквозь стиснутые зубы прошептала Наталья. «У меня такое было, потерпи...» — И Вера с силой, непонятно откуда взявшейся в ее худеньком теле, принялась растирать ей ногу. Боль вскоре затихла. Вера заботливо, как в

детстве мама, подоткнула под нее одеяло и легко коснулась лба нежными сухими губами... Да... Каждый из их компании мог припомнить что-нибудь такое. Когда Виктор заболел, Вера каких только лекарств ему ни присылала. А Гарик, а Людмила...

Людмила — особая статья. Из незадачливых сочинительниц, греющаяся возле таких, как Вера, подбирающая крохи со стола ее пиршества: Верины идеи, мысли да и целые сюжеты, почти готовые рассказы она моментально претворяла в жизнь, выдавая, естественно, за свое. Наталья возмущалась столь откровенным воровством, а Вера смеялась: «Смотри-ка, рвет подметки на ходу... Да мне не жалко... У меня этих историй...— И она выразительно чиркала пальцами над головой.— Писать — не переписать...»

Едва ли не каждому второму Людмила рассказывала о своем несчастливом детстве, бесконечных болезнях, изменах мужа, который никак не хотел понять ее творческих устремлений. И Вера, сердобольная Вера, не могла не поддаться столь естественному для нее чувству жалости, уже нарочно подсовывала ей новый сюжетец и радовалась, видя, как загораются глаза у Людмилы, как оживает она, забывая и про мужа, и про болезни.

В дни приезда Веры, у кого бы та ни остановилась — у Мышкиных ли, Сорокиных, у самой ли Натальи,— Людмила бесцеремонно звонила и требовала к себе внимания, драгоценного Вериного внимания, которым все они одинаково дорожили. Она использовала Веру для устройства своих дел в Москве, в основном в столичных издательствах. Вера что-то дописывала за нее, куда-то носила, с кем-то договаривалась, обивала чьи-то пороги, и в конце концов все устраивалось, дело выгорало. Людмила, несмотря на свою прижимистость, пыталась ее отдарить, как отдаривала она обычно лиц из сферы услуг, но Вера дары возвращала, и обеим становилось неловко. Так бы оно и тянулось, если бы однажды Вера не отказала Людмиле — по причине самой уважительной: она влюбилась, и объект ее любви требовал непременно двадцатичетырехчасового Вериного присутствия. Вера по-честному сказала: «Ребята, ухожу в подполье...» — это значит, чтоб временно не тревожили. И все ее поняли. Все, но не Людмила. Почувствовав, что Вера ускользает и более не принадлежит ей безраздельно, она затаила мстительную злобу. В компании с мужчиной, тоже из «пишущих», притязания которого Вера отвергла когда-то, она распускала всюду самые гнусные слухи о Вере, называла ее московской авантюристкой, присвоившей себе чужую, то есть, надо полагать, Людмилину, славу. Трудно сказать, что имела в виду эта болезненно самолюбивая женщина. Наталье казалось, что она попросту безумно ревнует Веру, но не к кому-то, а к ней самой. Ей бы хотелось, чтобы и о ней говорили и ею восхищались, называли гениальной... Но город безмолвствовал, за исключением разве что любовника. Людмила всюду таскала его с собой, угощала обедами в ресторанах, за что благодарный компаньон написал статью, где в самых светлых красках изобразил Людмилу, а в самых черных, разумеется, Веру, которая якобы всегда стояла на ее пути.

Для Веры предательство Людмилы было сильным потрясением. Как ребенок, беззащитно и понапрасну обиженный, она спрашивала: «Ребята, за что?!» Гарик философски заметил: «Не сделай добра — не наживешь и врага... Ты унизила ее своим бескорыстием, и она тебе этого не простит, у нее-то все по расчету...»

Из-за Людмилы, считала Наталья, Вера все реже и реже ездила в их город. И уже не было прежнего беззаботного веселья, да и времена изменились: бескорыстных называли сумасшедшими, серую бездарность — гениальностью. Все стали страшно деловыми, всем стало некогда. Их компания, некогда считавшаяся монолитной, распалась, то есть по старой памяти они еще собирались

вместе, но словно по обязанности — не о чем было говорить, нечего обсуждать. И тут эти слухи про Веру — сошла с ума. И вовсе не на любовной почве, чего можно было от нее ожидать как от природы страстной и нерассуждающей. Вдруг откуда ни возьмись образовалась эта наследственность, когда ни матери, ни отца Вера отродясь не знала, с младенчества воспитывалась в детдоме.

«Нет, все это очень странно...» — размышляла Наталья, в то время как Миля продолжала изливать наболевшее.

Миля никого не обвиняла, ее волновало одно: как выпроводить Веру из квартиры. Ни один из мягких, щадящих вариантов здесь не подходил — пробовала же Миля с билетами. В конце концов остановились на том, что, как только Вера уйдет по своим «важным» делам (она каждый день часа на два куда-то исчезала, якобы на спецзадание), Миля переправит ее рюкзачок на вокзал в камеру хранения, а в дверях оставит записку: мол, дорогая Вера, срочная командировка, вещи на вокзале, номер ячейки такой-то...

— Мы с Витькой и на самом деле уедем, — пообещала Миля. — Я не выдержу, когда она начнет стучать, у нее же нюх, как у собаки, учует, что мы дома...

Мышкины, к которым Наталья тотчас позвонила, были того же мнения.

— Пусть едет домой, — сурово изрек Сашка. — Там у нее прописка, врач участковый, Ирка, наконец... Сообразят, что ей лечиться надо, в психу... то есть в больнице бы полежать — как-никак питание регулярное, опять же режим, чистое белье... Если мы ее пустим, то она уже никогда не оставит нас в покое, так-то нам ад устроит...

Договорились, что Мышкины обзвонят остальных и предупредят, чтоб вечером держали оборону — не пускали Веру к себе, чего бы им это ни стоило.

Наталья не знала, не могла предположить, что с той самой минуты, как они решат объявить Вере войну, ее жизнь и в самом деле превратится в ад. Они без конца созванивались, встревоженными голосами заговорщиков спрашивали: «Ну, как?» — и Наталья невольно чувствовала себя соучастницей некоего гнусного преступления.

Она вздрагивала от каждого звонка, бегала от двери к окну, осторожно выглядывала из-за плотно закрытых штор. Звонок Мышкина застал ее врасплох. Неестественно бодрым тоном он сообщил, что приходила Вера и они, разумеется, ее не пустили. Потом видели из окна, как она сидела на скамейке в их скверике прямо под дождем.

Часа через два объявился Гарик.

— Кажется, пронесло, — с явным облегчением сказал он. — Всего два рожка позвонила. Я в глазок смотрел: ну и видок у нее — жуть берет...

Гарик посоветовал держаться стойко и повесил трубку.

«Итак, круг сужается», — с тоской думала Наталья. Остались только двое. К Людмиле Вера не пойдет, это исключено. Значит, она уже на полпути к ней. И если Наталья не пустит, а она не пустит, у нее Даша, она не имеет права травмировать неокрепшую психику подростка, то ей придется ночью в чужом городе... Наталья крепко сжала виски ладонями: она не хотела думать о том, что могло быть дальше с безумной, живущей по законам иного мира... Пока разберутся, пока сообразят... Она же на первый, самый первый взгляд почти что нормальная. Ну, похожа на бомжа или бомжиху, так сегодня их полным-полно. Ночью в городе и здоровому мужику опасно, не то что одинокой женщине, а она легко откликается на любое человеческое слово — вот в чем беда, — сразу становится ручной, могут завести куда угодно, ночью все кошки серы...

Наталья осторожно выглянула из-за шторы — стояла непроглядная ноябрьская темь, уныло шуршал мелкий дождик. Собственная квартира показалась вдруг Наталье особенно уютной и надежной, и нарушить эту надежность было свыше ее сил.

Она поправила шторы и направилась к Даше: предстояло самое трудное, то, что Наталья весь вечер старательно оттягивала, — объяснить дочери, почему они не должны подходить к двери, что бы за ней ни происходило.

Даша никак не могла взять в толк, почему нельзя пустить к ним переночевать такую хорошую, такую добрую тетю, как тетя Вера, которая зовет ее княжной и говорит, что она непременно вырастет красавицей, только это увидеть надо, и она, тетя Вера, видит будущую Дашину красоту. «Много званных, да мало избранных...» — загадочно повторяла она при этом всякий раз.

Наталья, волнуясь, стала рассказывать, как у Сорокиных Вера чуть не устроила пожар и вообще ведет себя странно — все время моется... Рассказывая, она чувствовала, как мелки, неубедительны становятся эти доводы, стоит их произнести, облечь в слова. Вот и Даша от усердия даже лоб наморщила, но, видимо, так и не поняла, в чем вина тети Веры. Помолчав, она спросила тихо:

— Если тетя Вера придет, ты... пустишь? — И с несмелой надеждой посмотрела на Наталью.

— Не знаю... наверное, нет... — проглотила подступивший комок Наталья.

Она не умела да и не могла рассказать дочери о том чувстве ужаса, который испытала на кухне, когда Вера за ее спиной делала какие-то манипуляции.

В это время в дверь позвонили. Наталья с Дашей одновременно кинулись посмотреть в глазок. За дверью стояла соседка. Она попросила разрешения позвонить. Потом был еще звонок, приходила другая соседка — приносила на пробу пирог, который она только что испекла... Взгляд Даши молил: «Пусти, пусти тетю Веру!» Наталья в отчаянии закрывала глаза, чтобы только не поддаться: нет-нет, невозможно... Жалость — это провокация, ущербность... Они жалкая, вымирающая порода... Скулеж, игра в милосердие и в конце концов следование тому же закону стаи... Важно жить, просто жить... Наталья усмехнулась. Теперь-то стало ясно: кто есть ху? Они просто-напросто добренькие слюнявчики, протряслись, продрожали всю жизнь, ни вспышек, ни огня от них, одно медленное тление. А может, все дело в том, что они от рождения полумертвые, сердчишки в них такие скукоженные, потому по утрам и «жить не хочется...».

Того единственного, самого опасного звонка все не было. «Господи, хоть бы не пришла...» — молила Наталья и была уже близка к истерике, потому что знала, что пустит, как не пустить — она дочери тогда в глаза смотреть не посмеет. Но если пустит, то сама же и подпишет себе приговор — нельзя будет ни на минуту оставить дом, Дашу, и каждое мгновение ждать подвоха, каждое мгновение — в напряжении... Сначала сойдет с ума она сама, потом Даша... Если не случится что-нибудь худшее. Хотя... что может быть хуже?.. Нет, она не имеет права... Она должна сказать «нет» — и положит этому конец. Надо бы, как Сорокины, уйти, уехать, будто в гости с ночевкой, и Даше ничего бы объяснить не пришлось. А каково для нее знать, что за дверью тетя Вера, и не открыть? Она же будет чувствовать себя предательницей на всю оставшуюся жизнь... Наталья изо всех сил отгоняла от себя видение — безумную Веру, идущую под дождем в этой черноте, в чужом, враждебном городе, где ей нет места. Что пережила она в этот свой приезд? Осудила ли их, возненавидела? Наказала ли непощением, как Людмилу? А что, если «микробы» не такой уж бред? Если они существуют на самом деле? Что знают они об иных, невидимых мирах, о мирах безумных? И, наверно, уже не узнают.

Они почти не спали в эту ночь, а рано утром позвонил Гарик. Каким-то замороженным голосом сказал, что Вера у Людмилы.

— Как? Почему у нее?! Не может быть! — не поверила Наталья.

— Она думала, собака под дверью скребется, у нее Арчи с месяц как пропал, она и прислушивалась к каждому шороху. И знаешь, что Вера сказала ей? — Гарик выдержал эффектную паузу. — «Я, — говорит, — приехала вас спасать, у вас же в городе все с ума посходили...» А сама еле на ногах держится... Тоже мне, спасительница мира...

Сон Луны

* * *

Возьмите на руки слона,
погладьте морду носорога,
и чистоплотная Луна
вам улыбнется,
как сорока,

и будет весело висеть,
среди печальных звезд летая,
как будто пойманная в сеть
большая рыба золотая;

однако
цепи лишних слов
вокруг опутали планету

и нет поблизости слонов
и носорогов тоже нету;

устав от горьких новостей,
Луна
легла
на дно
колодца,

а Время,
полное страстей,
глядит нам в спину
и смеется.

Звериный сонет

Напрасно время жизни берегу:
мой года в лесу Кукушка сверит,
где рыскают понятливые звери,
питаюсь непонятливым рагу.

Досадно спотыкаясь на бегу,
противнику сдаваться не намерен.
Ко мне придет на помощь Сивый Мерин
и отнесет к Овсяному Стогу,

где не бывает подлости и лести,
где Бабочка и Тигр играют вместе,

а Ветер, забывая вой и стон,
шепнет уютно, дую в Стог Овсяный,
что величают Бабочку сусанной,
а Тигр носит имя спиридон.

В порыве нежности

Сквозь обворожительный туман
ехал я куда-то
с милой девой,
обхватив ее рукою левой,
а рукою правой сжав карман.

Дева мне шепнула:
«Отчего ж
вы кармана щупаете нити?
Лучше в плен объятий заключите,
чтобы я не чувствовала дрожь...»

Ощущая нежности порыв,
обуянный надлежащей силой,

обнял я фигуру
девы милой,
свой карман нарочно отпустив.

Из кармана вылезла змея —
то ли анаконда,
то ли кобра,—
и на деву глянула недобро
живность ядовитая моя.

Дева от испуга сразу в крик!
Я змею ударил больно в ухо
и сказал:
«Ну, что же ты, старуха?»
А змея:
«Ну, что же ты, старик?..»

На Патриарших прудах

Висело солнце на гвозде,
укутанное одеялом,
утратив верность идеалам
светить всегда,
светить везде;

вода,
застывшая куском
не то смолы,
не то мазута,
была раздета и разута,
в ней звезды плавали
гуськом;

большая птица,
или две,
среди намокших звезд купалась,
твое колено выгибалось
углом латинской буквы V,

и только тонкая игла,
что сердце чуткое колола,
слегка робела,
но колола...

А что она еще могла?

Военная тревога

Для счастья надобно немного:
вино,
любовь
и прочный мир.
Но вот военная тревога
нарушила покой квартир.

Военные надев ботинки,
военные обув штаны,
я вылезая из кровати,
чтоб защитить покой страны.

Сурово пью кефир военный,

жую военный помидор —
и отправляюсь постепенно
врагу достойный дать отпор.

*А дочь моя лежит в кроватке
и видит детский сон о том,
как смелый папа на лошадке
с коварным борется врагом,
он ловко скачет с папирсой
навстречу лютному врагу,
а ветер с папиного носа
срывает хрупкие очки,
потом еще пиджак срывает,*

*потом военные штаны,
потом военные ботинки
(ценою в 42 рубля),
а папа без очков не видит,
но скачет на лихом коне
навстречу ядерным ракетам,
подводным лодкам и т. п.,
и враг,
в биноклю наблюдая
раздетый папин организм,
вдруг неуклонно понимает,
что значит русский героизм;
он рвет секретную бумагу
и убегает наутек,*

*а папе скоро за отвагу
дадут Почетный Молоток!..*

Темно.
На улице военной
отряд военных фонарей.
Я тороплюсь,
дабы военный
свой долг исполнить поскорей.

А возле мусорного бака,
держа в зубах газеты клоч,
сидит военная собака
и зорко смотрит в потолок.

* * *

Какие необъятные миры
Вверху неторопливо проплывали,
Пока внизу мы прятались в подвале
Согласно глупым правилам игры.

А нынче лишь пустые комары
Спешат гурьбой в заоблачные дали,
Усердно нажимая на педали,—
Повадки их коварны и хитры.

Навстречу им плывет пузатый слон
И робко машет длинными руками,
Пытаясь путь загородить веслом...

Но, сколько б глупость в ум ни облекали,
Останется чудесным небосклон —
И места хватит всем над облаками.



Ирина ЕРМАКОВА

Времена у нас по-прежнему античны...

Праздник

На деревне нашей праздник небывалый:
каждый кустик приосанился, раскрылся,
расцвела душа-крапива на приволье,
в позаброшенных домах сияют окна.
По проселочной пыли, нарядной, звонкой,
в колеснице, запряженной воробьями,
проезжает долгожданная богиня,
заливается трепещущая стая.
Все в порядке — полюбуйся, Афродита,
ничего, хвала богам, не изменилось,
в колесе смеются солнечные спицы,
в клубе ветер пляшет, пьяный от восторга,
и поет тебя блаженная калитка,
на единственной петле своей качаясь,
и вороны греют клювы на припеке
так же праздно, так же томно, как обычно, —
времена у нас по-прежнему античны.

Если я и вправду стану глиной,
подорожной подмосковной рыжей глиной,
и меня не позабудет легкий обод,
и по мне прокатит счастье золотое.

* * *

Гармония во всем.
Цветы ее просты.
Земля сияет, прибранная чисто.
Гармонией бездонной налиты
отверстые зеницы гармониста.

Жизнь вытекает змейкой из виска
и красит им воспетую природу,
за что и был убит наверняка,
а также — чем любезен был народу.

Однако он, любовно матерясь,
не прекращает пения, играя,

затем, что не утрачивает связь
со всем живучим от земли до рая.

А в небе — полный утренний парад:
интриг высоких строгие начала,
гармони разномерные висят
и раздраженно ангелы следят,
как русский ад цветет ромашкой алой.

* * *

Я признана счастливой,
я признана живой
и призвана по ветреному миру
за сильно пьющим ангелом
с блестящей головой
нести его трагическую лиру.

С квартиры на квартиру
ходячею строкой
по залам и прокуренным кофейням
следить за разливающей
магической рукой,
чтоб инструмент вручить по мановенью.

А дети и поэты,
и прочий люд в миру,
и пастухи под райскими кустами —
ВЗЛЕТАЮТ ВСЕ, —
когда свою высокую игру
он пробует расстроенными нежными к утру,
холодными дрожащими перстами.

И небо замирает,
и звук идет в зенит,
и с ним, тысячелетним, — вечно юной —
волью мне, безнаказанной,
пока он чутко спит,
перебирать серебряные струны.



Алексей ВАРЛАМОВ

Антилохер

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРЕМИИ

...Лет тому назад, получив первый в жизни гонорар, счастливый, гордый и двадцатичетырехлетний, я шел с улицы «Правды» и в переходе возле Савеловского вокзала споткнулся о приземистого паренька в потрепанной меховой курточке, какие носят приезжие фраеры. Паренек сидел на корточках и как-то очень неумело гонял пластмассовыми стаканчиками по разложенной перед ним фанерке мягкий матерчатый шарик, предлагая проходящим угадать, под каким стаканчиком этот шарик скрывается.

Подняв на меня дружелюбные глаза, он доверительно спросил:

— Ваше мнение, мужчина?

Я был в том благодушном настроении, когда все кажется по плечу, и остановился. Собственно, мне не деньги были нужны, мне хотелось закрепить поощреющее в душе «ла-ла-ла» вдохновение и чувство удачи.

Я так и не понял, как это у него получилось, но паренек снял шапку, под которой оказалась лысая, как яйцо, голова, и десять минут спустя гонорара не было. Я огорчился, словно ребенок, и стал объяснять, что эти деньги — мой первый литературный заработок, который я намеревался пропить с друзьями. Но хулиганам чужды сантименты. Обидчик стукнул меня по плечу и процедил:

— Катись отсюда, лох!

Мимо прошел равнодушный сержант милиции, и, глотая обиду, я поклялся, что когда-нибудь все это опишу и возьму тем самым потерю, но судьбе было угодно на свой манер переиначить этот розыгрыш и сделать из меня литературного не то лоха, не то антилоха — не знаю, как это и назвать...

Поначалу, впрочем, моя литературная планида складывалась весьма благополучно. Я печатал все, что писал, и жил покойно и тихо, не имея ни особых врагов, ни особых друзей в литературном мире. Критика была ко мне равнодушно-благосклонна, читатели время от времени присылали письма, и литература рисовалась мне не полем брани, но полем труда, где каждый мирно по мере отпущенных сил возделывает свою грядку и никакого дележа быть не может, ведь смешно же предположить, чтобы кто-то претендовал на твое место. Литература тем и была в моих глазах ценна как род деятельности: плох я или хорош, талантлив или нет, но делаю свое дело, которое никто за меня не сделает.

Но кое-какие странности в моем положении все же были. По своим взглядам я всегда ощущал себя ближе к почвенникам. Однако смыкание патристической линии с барахтающимися коммунистами, идеализация то Егора Лигачева, то Валентина Купцова как национальных лидеров — все это удручало полной бездарностью. Я не понимал, как умные люди вроде Распутина или Белова сами этого не видят и делают глупость за глупостью. За них было обидно, но при этом стремительное перекрашивание талантливых вождей демократии из одного цвета в другой и лакейское глубокомыслие обслуживающих их писателей были по-своему еще отвратительнее. Высокомерие в людях всегда отпугивало меня больше тупоумия, а элитарность — больше плебейства. И тем не менее надо было к кому-то примкнуть, ибо даже выбор журнала, в котором ты печатаешься, указывал на партийную принадлежность. А мне хотелось оставаться беспартийным и независимым.

Моя первая маленькая книжка вышла в библиотечке журнала «Молодая гвардия», публиковался я и в еще нескольких сборниках тогдашних «правых», а дальше начали происходить загадочные вещи.

Я относил, допустим, свои рассказы в «Москву» — это было и до Бородина, и до Крупина, — их не печатали. Но печатали в «Знамени». Я относил в патриотический журнал «Слово» — там не брали, но брали в «Новом мире». Я хотел издать книгу в «Молодой гвардии» или «Современнике», там она пролежала несколько лет без движения, пока издательство «Слово» (к одноименному журналу никакого отношения не имеющее) не издало ее за несколько месяцев.

Так я оказался чужим среди своих и своим среди чужих. Однако сильно из-за этого не переживал — мне казалось тогда, важно, не где ты печатаешься, но что ты печатаешь, а институт красных комиссаров и политических надзирателей давно уже упразднили, и выбор журнала стал частным делом автора — и только.

Но я ошибался. В 1995 году я опубликовал в «Новом мире» небольшую повесть. А вскоре в газете «Сегодня» появилась обширная критическая статья. Это был не первый наезд на меня банкирской газеты. За полгода до этого по мне уже прошлись, но мягче, так сказать, в домашних тапочках, потом было еще несколько мелких шипков — теперь же вдарила тяжелая артиллерия, что казалось довольно странным. Приснопамятная и, к сожалению, совсем недолго просуществовавшая полоса «Искусство» в газете «Сегодня» не так часто баловала читателей подробными разборами отдельных произведений, предпочитая энергичные краткие обзоры.

В сущности, мне бы гордиться ее вниманием: ведь если тебя побили, то, значит, сочли достойным для битвы. Однако радости я не испытал: побили меня очень грубо и неумело. Обычно неплохо и довольно живо пишущий критик на этот раз длинно и невнятно растекся на полполосы, но при этом до повести моей ему дела не было. Его интересовал лишь один эпизод — поведение героя во время октябрьских событий 93-го года, — занимавший у меня в тексте не больше страницы. Однако крайне недовольный этой страницей злил мой подверстал под нее все остальные критические претензии и намекнул редакции «Нового мира» на то, что она опубликовала политически вредное произведение. Дело произошло накануне первых думских выборов, и это придавало его материалю особую актуальность.

Тут надо сделать одно отступление. Несколько лет спустя, помню, меня поразили слова Леонида Бородина, одного из самых любимых и уважаемых мною русских писателей 90-х годов. Расхаживая по своему кабинету в редакции «Москвы», такому большому и пустынному, что Бородин в нем терялся и казался страшно одиноким, он сказал, что для него октябрь 93-го был трагедией: по его характеру, по душевному складу, по всему его место было там — среди осажденных в Белом доме, где гибли люди. Но не мог он пойти под красные знамена.

Я не хочу сказать, будто мое отношение к этой бойне было таким же. Скорее, я ничего не понимал и считал происходящее каким-то бредом. Мне не нравились ни те, ни другие, ни штурмующие «Останкино», ни расстреливающие Белый дом, особенно же отвратительны были их вожди и подстрекатели от лоснящегося Гайдара до приבלатненного Хасбулатова.

Я сочувствовал в большей мере осажденным, может быть, только потому, что они стали жертвой, но никаких идей их не разделял. Однако и позиция демократической интеллигенции была мне совершенно чужда. Эти люди жаждали крови, требовали «раздавить гадину», и, в сущности, тогда ведь именно интеллигенция дала власти моральное право на применение силы и писатели были не последними в тех рядах. Мало кто позднее любил вспоминать о том, что незадолго до расстрела Белого дома несколько десятков прогрессивных литераторов обратились с письмом к президенту с требованием обуздать недобитых коммуняк. Вольно им было думать так или эдак, а потом, благословив президента на убийство и заранее выписав индულгенцию, лицемерно протестовать против чеченской войны, только вот к «новомирской» повести моей все это не имело никакого отношения. Она была совершенно о другом, и лишь ослепленный человек не мог или не захотел этого увидеть.

Мне была очень дорога эта повесть, она легко и быстро написалась, но большой кровью дался для нее материал, и было грустно оттого, что, не желая никого раздражать, я вызвал нервический припадок ярости и брани. И, как в том хохляцком анекдоте про Муму, хотелось спросить на вашей клятой мове:

— За что?

Что мне было делать дальше, я не знал: то ли как-то ответить, то ли, наоборот, сделать вид, что я выше любой критики и мне плевать, кто и что обо мне думает. Дескать, собака лает, а караван идет. Однако в позу легко встать — гораздо труднее в ней простоять. И, бросив писательскую мотыгу, я решил сражаться за свое доброе имя, тем более что в статье были и намеки явно не-литературного характера. Но когда я сел писать язвительный, как мне показалось, ответ, то у меня ничего не получилось.

День сменялся ночью, ночь — днем, я пил кофе, глаза мои устали всматриваться в экран компьютера, многовариантный файл под названием «gluhat» по объему превысил сперва октябрьский эпизод, а потом и повесть, из-за которой сыр-бор разгорелся. Я хотел доказать своему обидчику, что, несмотря на его высшее филологическое образование, он безграмотный и темный человек, не различающий позицию автора и героя, что он смешал в одно вдохновенный либеральный донос с торопливо и небрежно, словно для денег отписанной внутренней рецензией, но, когда и этого ему показалось мало, он посмел утверждать, будто бы другая моя повесть замешана на скользких сплетнях, хотя ему откуда знать, что на чем замешано, и порядочному человеку не пристало бросаться такими обвинениями. Я язвил, я издевался, я жалил и торжествовал, желая навсегда отбить у него охоту меня задевать, но вышло вяло и беспомощно, я был жалок в своих потугах, как в том самом переходе, когда запинаясь просил, чтобы мне вернули гонорар, а яйцеголовый детина, выжавший из меня все, что можно, цедил сквозь зубы:

— Катись отсюда, лох!

Делать было нечего — только утереться и снова взяться за мотыгу.

Однако мир не без добрых людей. Вскоре в «Литературной газете» появилась статья в мою защиту, или я так самонадеянно решил, что она писалась в мою защиту, поскольку начиналась она так:

«Модная газета лупит прозаика Алексея Варламова. Бьет по всем правилам дворовой драки. Бьет, как и положено, один, остальные члены тусовки молча в сторонке смотрят, как их товарищ работает. Он работает что надо... по ребрам, по почкам, по фразочкам. Не ходи в мой двор, не ходи!»

Все это было набрано жирным шрифтом и производило впечатление какого-то триллера, в котором я сам себя не узнавал. Но все равно статья была в своем роде замечательна, и после своего неудачного опыта я стал с куда большим уважением относиться к людям мужественной профессии — литературным критикам, охраняющим наши скромные делянки, к пастухам, пасущим отары на тучных лугах, к рискующим своим здоровьем и вкусом смельчакам, и прежние лукавые мысли, что, мол, все критики — паразиты и изливают зависть и желчь на нас, творцов, оттого, что сами ничего путного создать не могут, меня покинули.

Статья наделала много шума; тотчас же следом появился несколько вялый ответ еще одного «сегодняшнего» зоила, впрочем, косвенно подтверждавший мое впечатление: Варламов — сам по себе — тут ни при чем. С этим определением — ни при чем — я и пошел гулять по страницам периодических изданий, то здесь, то там встречая свою фамилию в самых неожиданных контекстах и чувствуя себя эдаким Гаврилой Принципом, неаккуратно хлопнувшим австрийского эрцгерцога, из-за чего пришли в столкновение серьезные силы, которые, впрочем, давно уже искали для этого повод.

«Басинский, размахивая Варламовым, побивает Немзера. Александр Архангельский видит в этом сальеризм и Немзера защищает на том основании, что Платон ему друг, не приводя, однако, сколько-нибудь серьезных аргументов в защиту своей платонической привязанности».

«Критики вновь услышали друг друга... выразили желание сойтись для мужского разговора на нейтральной территории». И т. д., и т. п.

Я следил за всей этой перебранкой с изумлением: волнами расходились ирония, сарказм, пафос, мельчайшие оттенки настроения, обиды и комплексы, принципы и убеждения — статьи и колонки в газетах и журналах, обзоры и подвалы, «круглые столы» и конференции; на смену молодым бойцам приходили старые; кажется, не было ни одного мало-мальски уважающего себя критика любых поколений, который не высказался по этому вопросу, и ни одного издания, отказавшего ему в этом праве.

Отголоски дискуссии доносились, как эхо, еще много месяцев, и благодаря этой полемике я неожиданно для себя узнал, что, оказывается, меня читают солидные и уважаемые люди. Что Ирина Роднянская **несколько** (она так и выделала это жирным шрифтом) предпочитает мою прозу Александру Славовского, а Владимир Новиков, наоборот, терпеть меня не может. Что Владимир Бондаренко записал меня в друзья газеты «Завтра», а Карен Степанян деликатно отлучил от журнала «Знамя» и христианского направления в литературе. Валентин Непомнящий упомянул в «Новом мире» мою повесть в примечаниях к своей статье о Пушкине (и этим лаконичным комментарием я более всего дорожу в своей жизни). Диму Быкова суeta вокруг моего имени неимоверно раздражала, а его подруга Елена Иваницкая некоторое время спустя взяла у меня интервью в кафе «Космос», угостив пивом и раками за счет редакции газеты «Первое сентября»...

Так писалась история Литературы, и, хотя мое место в ней было еще под большим вопросом, выходило, что, сам того не желая, с легкой руки и наверняка вопреки намерениям своего рецензента я пролезал в нее с черного хода. Мне было жутковато от этого подъема, хотелось помедлить и страшно было глядеть вниз, а насмешливая судьба меж тем продолжала выталкивать меня наверх, как пробку.

Месяц спустя я получил письмо из Германии, где сообщалось, что я стал победителем конкурса Лейпцигского литературного клуба «Lege Artis» за лучший рассказ 1995 года. Своей задачей организаторы считали содействие молодым литераторам в странах по ту сторону Одера, освободившихся от коммунизма, и, таким образом, я мог считать свою демократическую реабилитацию, по крайней мере в глазах Запада, состоявшейся. Перед этим, узнав о том, что я еду в Германию, в «Литературной газете» меня попросили сделать беседу с Георгием Владимовым, которому в тот год уже заранее все прочили Букеровскую премию за «Генерала и его армию».

— Понимаете, будет интересно — два русских писателя, один без опыта, но опыт набирающий, и второй с опытом, с судьбой, но пишущий все труднее и труднее, как и подобает в зрелости...

Зрелый Владимов жил в Нидерхаузене — мюнхенском пригороде, до которого от Лейпцига было километров триста, что по немецким ценам выходило недорого. На вопрос, когда оплатит мне «Литературка» дорогу, сейчас или по возвращении, мне ответили, что любимая газета советской интеллигенции даже электричку до Рязани проспонсировать не в состоянии. Но уверили, что богатым немцам ничего не будет стоить сделать в качестве любезности щедрых хозяев подарок русскому гостю, а за это «ЛГ» бесплатно рекламирует культурную инициативу «Lege Artis».

Однако, когда я прибыл в сверкающий на солнце, как леденец, Лейпциг, гостеприимные германцы не только не оплатили мне путь до владимовского Нидерхаузена, но, в торжественной обстановке вручив премию и заявив о своей солидарности с молодой российской демократией, в кулуарах сказали, что оплатить самолет из Москвы не могут.

Вообще они были очень милые люди, и я с удовольствием их вспоминаю, но этот момент был неприятен. Я находился тогда в крайне стесненном положении, деньги на билет занял и заметил, что в этом случае их гуманитарная акция — поддержать молодых российских литераторов, освободившихся от бетонного груза коммунизма, — обесмысливается, ибо почти всю премию я должен буду отдать за дорогу. Они долго жаллись, извиняясь, объясняли, что они не западные, а восточные, я несмело и смущенно обращал их внимание на приглашение, где было написано, что билеты они оплачивают. Они пояснили, что

это только формула, дабы облегчить получение в посольстве визы. Я возразил, что посольству дела нет до того, кто оплачивает дорогу, и что германская душа рисовалась моему воображению пунктуальной и выгодно отличающейся от нашей славянской тем, что дело со словом у нее не расходится. Меня стали, как в преферансе, уговаривать уйти за половину — в общем, сцена была довольно сомнительная, и я бы не стал на ней останавливаться, когда б этот финансовый вопрос не аукнулся потом уже с другой премией и с другим человеком и не подтвердил косвенно, что любая премия — это не только престиж, но и точность в деньгах. А иначе получаются всяческие некрасивости и неразумные поступки с обеих заинтересованных сторон — дающей и получающей.

Деньги немцы в конце концов дали — не знаю, что уж там на них так действовало, однако встреча моя с Владимовым, естественно, не состоялась — триста километров до Нидерхаузена преодолеть было не на что. Но, видно, на то была хранившая меня судьба, и с некоторым ужасом я думаю, что вышло бы, если б я поехал тогда к букеровскому лауреату 1995 года, и в каком коварстве меня только ни обвинили бы, ибо неделю спустя я запросто читал такое:

«Господа, что вы делаете! Неужели вы так мелко цените отличие прозы Варламова от Владимова? Неужели вы и впрямь считаете, что два талантливых русских писателя не похожи один на другого, как ОДИН доллар на ДВА?»

Но я забегаю вперед. Итак, я благополучно вернулся в Москву, а на следующее утро мне позвонили из «Независимой газеты» и с несколько таинственными интонациями попросили подъехать в редакцию и сфотографироваться для интервью.

Удивленный тем, что скромная инициатива малоизвестного лейпцигского клуба уже дошла до Москвы, я отправился на Мясницкую, где сначала меня очень долго так и сяк фотографировали, сперва в кабинете, а потом на пленэре. Помню, шел снежок, какая-то иномарка никак не могла развернуться и выехать из стесненного двора. Наконец фотограф с экзотическим именем Фред меня отпустил, после чего меня завели в большую и светлую комнату и дали листочек, который гласил:

«В прошлую пятницу был подведен итог голосования по определению первого победителя новой российской литературной премии «Антибукер» — за лучшее произведение русской литературы в жанре роман/повесть в 1995 году. Таковым была признана повесть московского прозаика Алексея Варламова «Рождение», опубликованная в июльской книжке “Нового мира”...»

Так началась моя антибукеровская эпопея.

«Говорят, Владимов, когда услышал об учреждении «Антибукера», молча улыбнулся», — написал в «Вечернем клубе» Женя Некрасов, с которым за десять лет до этого мы вместе начинали в литобъединении при Московской писательской организации на улице Писемского.

Не знаю, правда это или нет, но на меня это известие поначалу произвело какое-то мистическое впечатление. Так вот живешь себе живешь, пишешь, публикуешь, ругаешься с критиками, а тем временем неведомый, тайный, похожий на масонскую (или антимасонскую) ложу антибукеровский комитет, который «премию учредил, но которому она не принадлежит» (то есть чьи это деньги, вообще непонятно: мафии, мирового сионизма, арабских шейхов или это золото партии?), следит за каждым твоим шагом и вдруг обваливает на тебя лавину: фотографии на первой странице, комплименты, доллары, телеинтервью... Кстати, будь я разработчиком этой премии, я бы таковой ее и сделал. Сохранил бы в тайне абсолютно все: состав жюри, сумму (ну, может быть, дал бы понять, что она больше букеровской), сроки ее присуждения, — и чтобы она всегда появлялась внезапно и сваливалась как снег на голову.

Но «Независимая» пошла по пути буржуазной респектабельности, и теперь задним числом я думаю, что, присудив эту премию мне, в своих расчетах отчасти ошиблась. Премия — это всегда политика, а я был все-таки не самой подходящей фигурой, по крайней мере для первого «Антибукера».

Я вовсе не собираюсь кидать запоздалый камень в газету, к которой ничего, кроме признательности, не испытываю. Но я никогда не верил в идеал

лизм журналистов и не думаю, что редакцией двигала одна только любовь к литературе. Ведь в том самом девяносто пятом году «Независимую газету» уже успели похоронить, она долгое время выходила сильно похудевшая, потом вообще не выходила, в августе я прочел эпитафию в «Общей газете»: хоршая, дескать, была «Независимая», но время ее ушло.

«Антибукер» был для газеты вопросом чести. Премия должна была поднять ее престиж — ни у кого премии нет, а мы учредим. Была здесь, конечно, и общая неудовлетворенность «Букером», который год из года вручали больше за былые заслуги, чем за реальные произведения, но ставка если не на скандальность, то на эффективность, на блеск изначально предполагалась и была, так сказать, заложена в смету, как тот пресловутый доллар, на который «Антибукер» превосходил «Букера».

Только что могло быть эффектного во мне и в моей тихой повести?

Я, помню, чувствовал себя тогда так, будто обманул серьезных людей с серьезными деньгами, которые, как в гоголевской «казенной сказке», приняли меня за важное лицо. Я стал суеверным, я поверил в теорию заговоров — сначала кто-то организовал вокруг меня шумиху, потом дали премию с сомнительным названием. Все казалось грандиозной мистификацией, чьей-то шуткой или новогодним розыгрышем, но при этом было совершенно непонятно, почему именно меня для этого розыгрыша избрали. Я как будто снова очутился в подземном переходе возле Савеловского вокзала, но теперь не меня, а я сам, неумело переставляя шарики, спрашивал спешащих мимо людей:

— Ваше мнение, мужчины?

Широкая литературная общественность дурить себя, однако, не позволила и встретила акцию «Независимой» в штыки. Бомонд не устраивало, по-моему, совершенно все: ни название премии, ни сам факт ее учреждения, ни, наконец, сомнительный победитель.

Пресса скорбно бесчувствовала, и даже добрый человек из «Литературной газеты» написал, что новость об «Антибукере» поспела на торжественный ужин «Букера не анти» вместе с горячими блюдами — пусть у вас кусок в горле застрянет, и тут же рядом обронил, как он рад за Олега Павлова, «Букера» не получившего, ибо премия могла бы Павлова испортить, из чего следовало, что за меня он огорчен и меня «Антибукер» погубит. В довершение ко всему он окрестил идею превосходства «Антибукера» над «Букером» в один доллар папуасской.

Это папуасское так задело Третьякова, что на вручении он, изменив вальжность своего тона, грозно выискивая в толпе не пришедшего на вручение остролова, процитировал:

— Да, папуасы мы, с раскосыми и жадными очами.

Но более всего была показательна реакция, а точнее, отсутствие таковой у «Нового мира», который мог бы придать тому факту, что их автор получил премию, хоть какое-то значение. Тем более что в «Новом мире» за всеми литературными наградами тщательно следили и всех своих авторов — лауреатов Букеровской, Пушкинской, Государственной премий обязательно поздравляли на страницах журнала. На этот раз редакция промолчала. Может быть, решила, что для нее это несолидно, а может быть, испугалась, что скажет княгиня Марья Алексеевна.

Но при этом, я думаю, будь на моем месте гремевшие в ту пору Петрушевская, Маканин или Битов, их бы и с «Антибукером» поздравили. Так что, если бы устроителям этой кампании хотелось солидности, надо было бы подыскать кого-то более именитого, кто сразу бы поднял своим авторитетом акции новой премии. Если же скандальности, то в этом случае тем более следовало бы выбрать фигуру иного ранжира — ныне благополучно забытых Сорокина, Ерофеева, Галковского или на худой конец поделить между Нарбиковой и Бородыней.

Выбор жюри косвенно доказывал, что подтасовки не было и не было никакого расчета или же расчет был настолько тонкий, что никто его не понял. Они сделали то, что сделали, — дали премию не за имя, а за текст. Литературный мир этого не признал. Писателем привычно считался либо тот, кто всем хорошо известен с застойных времен или прогремел в перестройку, либо тот,

кто сидел в тюрьме за порнографию или наркотики, и ПЕН-клубы всех стран бились за его или ее освобождение, либо тот, кто избежал литературного мира и тем провоцировал жгучий интерес: имярек действительно существует или это мистификация? Писатель должен был уметь себя подавать, а без подобной вкусовой добавки любой текст ничего не стоил. Но именно потому, что я не попадал ни под одну из этих категорий, именно потому, что здесь не было никакой политики, что бы там ни говорили мои друзья и недруги, я этой премии не стыдился и считал ее честной.

Вручение «антибукера» происходило в клубе миллионеров на Большой Коммунистической улице, которым заведовал в ту пору друг Третьякова миллионер-коммунист Семаго. Церемониал не был таким помпезным, как последующие, но по своей суетности и бестолковости понравился мне даже больше.

Впрочем, как все происходило, я помню плохо, и промелькнуло оно перед моими очами словно великий бал у Сатаны. Беда моя была в том, что, оторванный от литературного мира, я никого не знал в лицо, оттого чувствовал себя неуверенным и не представлял, с кем говорю.

Помню человека в сером дымчатом костюме, похожего на английского премьер-министра Джона Мейджора, который со значением посмотрел на меня, пожал руку и, понизив голос, молвил:

— Слышал, что вас отговаривали от премии. Спасибо, что пришли.

Помню другого — невысокого, круглого, в очках с мощными линзами и красной жилетке, он взял в свои объятия, подарил газету «Завтра», что-то сказал комплиментарное о моей прозе, а потом подвел к молча попыхивающему трубкой коротко стриженному мужчине.

— Когда вас отовсюду выгонят, придете к нам, — философски изрек тот.

Газета «Завтра» дымилась в моих руках, как шашка, — на меня опасно косились, но положить ее в сторону я боялся, дабы не прослыть трусом, и мужественно, как террорист-самоубийца, держал в руках.

Потом перехватил меня некто в черном смокинге, белой рубашке и с «бабочкой», он улыбался отчасти искусственной улыбкой и показался мне только что отпраздновавшим пятидесятилетие Никитой Михалковым, правда, на две головы ниже.

— Это я их всех уговорил дать вам премию, — произнес он доверительно и интимно.

Подошел еще один — полная противоположность предыдущему — невзрачный на вид, в свитерочке, с куцей бородкой.

— Ты делай свое дело, — произнес он убедительно и тихо, — и не поддавайся на провокации. А мы за тебя все скажем.

Знакомства эти не укрылись от взоров блистательной публики — в одном из газетных отчетов я прочел следующий пассаж какого-то Дудинского:

«Награждали «Антибукером» в Московском коммерческом клубе (он же ресторан «Слобода»). Судя по «патриотической» окраске приглашенных (от «активных» — заместителя главного редактора «Завтра» Владимира Бондаренко и главного редактора «Нашего современника» Станислава Куняева до «умеренных» — ректора Литературного института Сергея Есина и поэта-соплатчицы Юрия Кублановского), премию получил автор из «их» лагеря».

Это было чистое вранье — демократически окрашенных было больше, чем патриотически, просто те брали не числом, а умением. Но в речах все было очень трогательно и торжественно призывали к единению писательских сил. Правые и левые чокались, общались и лобызались. Все прошлые обиды были забыты, разрушенная усилиями собравшихся в тот вечер в клубе миллионеров людей культура на глазах чудесным образом соединялась. Воодушевленный Третьяков пообещал расширить «Антибукер» и, чтобы утереть нос британским супостатам, вручать премию за лучшее произведение на английском языке, и этот жест был встречен аплодисментами. Словом, бал удался. Помню, Бондаренко подскочил к Наталье Ивановой, приобнял ее, коснувшись мехового боа, но, когда появился фотограф, Иванова прыгнула от него, как кошка, в объятия ко мне, так нас кто-то и сфотографировал. Помню презрительно лорнирующую публику феминистку Марию Арбатову, благодуш-

ного на этот раз Льва Аннинского и настороженного Юрия Мамлеева, а больше не помню никого и ничего.

Покуда народ усиленно выпивал и закусьвал, я разговаривал в креслах с каким-то западным корреспондентом, пытавшимся убедить меня своими расспросами в том, что я русский националист и православный фундаменталист, и явно разочарованным моими ответами, а потом давал интервью милой девушке Кате с «Маяка», первый вопрос которой гласил: «А почему вы носите бороду?» (Это для радиослушателей-то!)

Все время вокруг меня крутился какой-то жирный малый с фотоаппаратом, а потом я с удивлением увидал в «Мегаполисе» физиономию, отдаленно напоминающую мою собственную, но с дорисованной бородой а-ля Карабас-Барабас и соответствующей подписью: «Приставка «анти» не спасла русскую литературу от очередного Льва Толстого».

История с премией на том не завершилась. В клубе миллионеров мне был дан только тот самый пресловутый доллар, перекрывавший премию английских лордов, а также конверт со вложенной запиской: «По поводу получения денег обратитесь в редакцию такого-то числа». Все, абсолютно все знакомые и незнакомые, сочувствующие мне и злорадствующие люди уверяли, что «Независимая» меня кинет, денег не даст и вообще все это был большой розыгрыш. Общество еще не отошло в ту пору от «Чары» и «МММ» и, само побывав в роли лохов, видело каверзу во всем. Приводились в пример какие-то эстрадные певцы, юные художники и скульпторы-пенсионеры, обманутые спонсорами, которые торжественно объявили на всю страну о своей поддержке, а потом смылись в кусты.

Однако, несмотря на эти грозные пророчества, деньги я получил вовремя и сполна, и, когда в «Литературной газете», которая никак не могла уняться и не преминула пнуть «Независимую», кто-то написал, что, мол, смехотворная премия ни в чем не повинному Варламову была торопливо полувручена, это было неправдой.

Однако год спустя все эти мелкие уколы и тычки померкли.

Нет, видно, под несчастной звездой был зачат и рожден «Антибукер»...

Поэт Сергей Гандлевский, на котором «Букер» и «Антибукер» слились в мировой гармонии, что, быть может, и входило в замысел жюри, отказался от положенных ему денег. Кто там был прав, а кто нет, кто кого оскорбил и не так понял, судить не мне. Мне только было грустно, что все окончилось скандалом. Я любил эту премию, я чувствовал свою за нее ответственность и хотел, чтобы она заняла достойное место и журналы не стеснялись поздравлять с нею своих авторов. История с Гандлевским нанесла ей урон, от которого, я не знал, оправится она или нет.

Это была, ей-богу, не самая худшая затея в те не слишком радостные для литературы времена. И, какие бы чувства ни двигали ее организаторами и таинственными финансовыми спонсорами, «Независимая газета» оживила литературную жизнь, щедро напоила и накормила не один десяток литераторов. Она даже создала на короткое время иллюзию примирения и собственной гордости у великороссов, пожелавших утереть нос Великой Британии. И не ее вина, что получилось все не вполне по-европейски. Но мы ведь азиаты, папуасы...

А у меня от всей этой премии, которой, мне казалось тогда, хватит на всю жизнь, но проеденной меньше чем за год, кроме диплома с девизом «Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает» и нескольких старых газет, бережно собранных женой и напомнивших мне о делах давно минувших дней, осталась кухня из карельской сосны. Когда-то сверкавшая чистотой и вкусно пахнувшая деревом, с импортной газовой плитой, а теперь слегка обшарпанная. Мы сидим на кухне с женой, я пишу эти строки, наверное, что-то напутав и, может быть, кого-то обидев, но зла в душе ни на кого не держу. Даже на того яйцеголового паренька в меховой шапке, украсившего мой первый самый дорогой литературный гонорар.

Хроника нулевого года

Холоден был нулевой год.

Я в этот год был единственным, кто в России получал деньги за занятия литературой. Мне платили не за результат, а за процесс — вот в чем дело. А называлось оно, это дело, сторожилово.

Я принимал смену, вытаскивал из мешка старенькую клавиатуру, шуршал кабелями и бряцал разъемами. Черный экран трещал, вспыхивал и озарял мою каморку синим светом программного обеспечения.

Надо мной был вполне литературный дом. С историей литературной, но и всякой другой. Непростой истории дом нависал надо мной — Дом на набережной. Пятьсот его квартир нависали надо мной, и иногда я жалел, что его не выкрасили, как предполагали, в цвет крови, орденов и кремлевских стен.

И я жил в этом доме, сторожа его жильцов. Хозяева обижались, когда это звали сторожиловом. Они велели называться консьержем.

А по мне — что горшком назови.

А лучше — сторожем.

Легенда литературных сторожей и дворников начиналась с Платонова.

Был, конечно, загадочный старец Федор Кузьмич, императорским шагом меряющий Сибирь. Был крутой замес лагерной жизни, и один шаламовский герой говорил другому, что настоящий интеллигент всегда должен уметь развести зубья у пилы. Слои в России смешались. Было время, когда верхний стал нижним. Впрочем, нижний, переместившись наверх, не изменился.

Один мой родственник, студент Петербургского университета, знаток мертвых и живых языков, прапорщик военного времени, летчик, белый офицер, попавший, разумеется, в Соловки, стал потом управдомом. Кто был чем-то — становился ничем.

Но, кстати сказать, мои предки жили и в этом доме, что я теперь сторожил.

Настоящий писатель становился чудачком-маргиналом. Он становился кормильцем своих рукописей — работал, чтобы кормить себя и писать при этом. Профессия его чаще была маргинал. Просто маргинал. Иногда писатель становился, к несчастью, и поильцем своих рукописей.

Но началось все для литературы именно с Платонова. Легенда о подметании им двора Литературного института живуча, как вирус. Мне нравится один ее вариант, тот, в котором по этому двору перемещался подвыпивший офицер, только что ставший студентом. Полы офицерской шинели развевались, на груди горели два ряда орденов. Студент-офицер увидел Платонова и бросился к нему с объятиями.

— Здорово, Андрюша!

Платонов отступил на шаг и смиренно произнес:

— Здравствуйте, барин...

В этом анекдоте выверена интонация. Он не фальшив, и в этом его сила. Это история дворника, а не холопа.

Нужды нет, что она выдумана.

А холопы, до времени не видные, расплодились.

Один человек, например, рассказывал мне про писателя Нагибина. Это был очень небедный писатель, с множеством жен и шлейфом скандала. И это был удачливый писатель. Итак, про него рассказывали, что, когда он приходил в Дом литераторов, вернее, в ресторан этого дома, к нему сбегались все официанты, бросив других клиентов.

Человек рассказывал это с уважением. Дескать, умел себя поставить хороший писатель. Но он, однако, проговаривался — дело было в том, что лакеи чувствовали барина. Лакеям был нужен барин, и вот они бежали к нему в своих белых куртках, и полотенца вились за ними, как белые флаги.

Между тем самые страшные люди для богачей — слуги. Они по своему праву вмешиваются в их жизнь, они знают о ней все, они беспощадны в своих воспоминаниях. Служанка, помогая госпоже одеваться, пересчитывает прыщи и седые волосы, она знает и те, и другие наперечет. Привратник запоминает лица шлюх, он провожает их, открывает дверь, коллекционирует запахи духов и номера автомашин. Шофер хранит в памяти адреса и обманы.

Слуги злопамятны. Они не прощают обид. Обиды коллекционируются тоже. Обидами всегда менялись, как марками — редкие и необычные вклеиваются в альбом. И вот наступило время папарацци — и папарацци шли на поклон к слугам. Бойся привратников — они вежливы и снесут все, но не дай Бог обидятся. Они будут лелеять свою обиду, растить до нужного часа. Благополучие богачей зависит от привратников и служанок, потому что, уволившись, они, привратники и горничные, припадают к газетной кормушке, перечисляя все — и седые волосы хозяек, и заплаканные лица любовниц. Все нынче поголовно грамотные, и возник особый род литературы, смесь грязи и дорогого парфюма, ненависти и горького духа конопля.

И я наблюдал чужую жизнь, отчасти интересную, но не возбуждающую зависти.

Настоящий слуга — пара своего господина. Он завидует ему. Только в зависти можно испытывать классовое чувство. То классовое чувство, которое соединяет любовь и ненависть к хозяину в одно.

Я не был парой.

Был естественный период в моей жизни, когда хотелось быть лучшим. Потом стало понятно, что надо быть не лучшим, а самим собой.

Я был на своем месте. Временном, непостоянном, но на своем. В жизни приходилось часто менять адреса и места, но внутренним стержнем, мифическим гвоздем, придуманным уставом и правилом, был я крепко прибит к жизни. На этом месте я закрепился надолго.

Рядом с моим домом, на автомобильной стоянке, сторожами бытовали драматург и прозаик, даже, кажется, один поэт. Приятель мой Валера Былинский сидел в жестяном курятнике на этой стоянке и писал сценарий.

Проходя мимо, я сказал об этом моей спутнице.

— И все это называется деревня Малое Маргиналово... — заметила она.

— Почему же Малое? — обиделся я. — Это Большое Маргиналово.

Большое Маргиналово окружало меня. В нем жили сотни, тысячи людей. Главное было не где, а как, главное было в гармонии этой жизни.

Мне нужно было всего лишь отпирать дверь. Для этого требуются одна рука и психология: кому отпереть, а кому — нет. Что сказать при этом. Врать я не любил, а врать нужно было.

Это было противнее, чем мыть грязный пол. Пол я мыл хорошо, и, собственно, это было совсем не противно. «Корона не свалится», — говорил один мой давний знакомец. «Корона не свалится», — говорил он, имея в виду короля, моющего лестницу. Делать можно все, и король останется королем.

На моей службе, например, надо было улыбаться жильцам, и это тоже получалось у меня хорошо.

Но я находил прелесть в другом.

Дело в том, что сторожа прошлого времени были людьми безрукими, переживавшими свое время за разговорами и водкой. Они отбывали свой срок. И они его отбыли.

Редкий сторож был рукодельником. А время течет для сторожа по-другому. Безделье льется водочной струей, чтение приобретает особый смысл, и даже винты под отверткой движутся по-другому.

Карабчиевский, с которым я был знаком и которого любил, не был сторожем. Он ремонтировал аппаратуру. Он был рабочим или, если угодно, техником.

И это накладывало отпечаток на то, что он писал.

Я жил однажды в Штутгарте. Жил не в центре, а на холмах, что составлены из щебня и арматуры, жил на обломках старого Штутгарта, что свезены в кучи и присыпаны землей. За полвека на них вырос новый город, но, вдумываясь, я ловил себя на странном чувстве. У меня под ногами были сотни домов — частицы человеческого праха, обоев, наклеенных на обломки стен, кирпича и известки. Это было прошлое.

В настоящем было безденежье и антенны. Я делал самодельные антенны приятелям-арабам — делал их из витого провода и пивных банок.

Однажды, выйдя во внутренний дворик, я обнаружил, что из половины окон моего дома свешиваются парные банки из-под пива, раскачивающиеся на проводах. Ветер тихо пел в них, и банки звенели.

Это была слава.

Делая проводку в подъезде, я проложил кабель вдоль телевизионного. Трех параллельных метров хватило, чтобы принимать платное телевидение без всякой антенны.

Я лазил в чужие электромагнитные волны и выходил в телефонную сеть. Наконец я научился лазить в Internet через чужие телефонные номера.

Сторожа изменились, потому что изменилось время.

Впрочем, мой сменщик был чужд движения электронов. Он дружил с дёревом. Штихели лежали в пенале, поблескивая, как чертежные принадлежности. Шкатулки были натерты воском, а под столом кегельбаном расставлялись матрешки.

Сменщик между тем был музыкантом, дудел в военном оркестре на трубе. Однажды пришел в полной форме с аксельбантами, увешанный значками и бляхами. Потом, переодевшись, сел за стол и под шипение чайника начал мучать какую-то деревянную вазу.

Другой сторож был сторожем и в оставшуюся часть жизни. Он сторожил ипподром. Нет, до лошадей его не допускали. Его удел был руководить другими сторожами, следить, как они охраняют машины да заборы, строения да склады. Старший сторож ходил в своей черной форме, а потом, тоже переодевшись, отсыпался у нас, чтобы опять вернуться к лошадям.

«Убийство человека не приносит много прибыли, а вот убийство лошади выгодно, — думал я. — Не охранять мне лошадей, по крайней мере пока».

Зато приходили ко мне гости. Случайно и ненадолго. Гости не поощрялись, но замечаний мне не делали.

С одними я менялся дискетами. Время читки рукописей прошло — мы лишь обсуждали их, встретившись снова.

Потом я занимался своим делом: приставлял слова — одно к другому. Шлеп-шлеп, строчка-абзац, страница-файл. Так шло время.

С другими надо было меняться иным товаром.

Мой угол под столом заполняли платы и дисководы, сучий машинный потрох. Шло бесконечное сражение. То брали верх матрешки, то провода и элект-

тронная требуха. Потом я сделал телефонную подвеску, и модем заменил некоторых собеседников.

Эти другие гости оставались ненадолго, потому что им нужно было вернуться в другой мир, мир менялова и считалова, мир Митинского рынка, где, как копчености, висят гилянды компьютерных мышей, где можно купить монитор за доллар, где толчея и гомон стихают к трем часам.

Приходили и перекупщики, доставая из сумок отливающие серебром пакеты с винчестерами, перехваченные проволочками кабели и россыпи дискет в технологической упаковке.

Заезжал симпатичный человек Коля Сухов с красавицей женой, но, сидя у меня, большую часть времени они спорили, кому вести машину. Их друзей я немного боялся: был среди них человек, пытавшийся укусить меня за ухо, и была бывшая жена Сивова.

Они сходились без предупреждения, сшибая неловким движением ноги матрешек, роняли сигаретный пепел на пол.

На стене висела гигантская карта Москвы, которую я возил за собой по всем своим домам, до поры бесполезную и огромную, как простыня. Один гость обычно упирался затылком в Сокольники, а другой — в Тушино. Наши колени соприкасались.

Приходил ко мне Сучков.

Сучкова не так давно выгнали.

Он прежде работал на моем месте, и, когда одна из богатых женщин, живших в подъезде, начала на него кричать, просто встал и покинул свой пост. Навсегда.

Раньше Сучков сидел на Новом Арбате под надписью: «Вы хотите джинсы? Так это здесь!»

А познакомились мы с ним очень давно, когда он жил в странном доме, Христианин московского розлива. Дом назывался Блок-Хаус. Блок с заглавной буквы, а не «блок», запущенный дом на выселении, где жили маньеристы, еще не ставшие куртуазными, где жил мой будущий приятель Миша Бутов, где, выйдя поутру в коридор, можно было увидеть двух капитанов, спящих в форме, — руки по швам, фуражки на голове — одного флотского, другого армейского. Жили там люди будущие и люди навсегда прошлые. Жило Маргиналово. Кто-то из жильцов сделал отводку от телефонной будки и установил там телефон.

Сучков был русским человеком из города Грозного, много лет назад оттуда выписанным и не прописанным более нигде. При нашем знакомстве меня сразу же поразил его лексикон. В нем было «конечно» с отчетливым «ч» в середине, непрерывные серьезные оценки — «это тебе плюс, пятерка тебе». Но лучше всего были загадочные образования «бухалово» и «считалово».

Считалово назывался счет, бухгалтерская проверка имущества в ларьке. Пыхтя, Сучков со своим напарником ворочал коробки с джинсами и видеокассетами.

И это было — считалово.

Это была жизнь в вечной стране Маргиналово.

Мы однажды пришли в душное и потное питейное заведение. Напарника Сучкова звали Афанасий Иосифович Мамедов — сочетание более чем необычное. И вот Мамедов собрался обмывать какую-то свою литературную премию.

В странном питейном заведении мы сидели, уставившись друг в друга. Игральные автоматы совершали бесконечную смену своих картинок на экранах. Знаменитый гнусавый голос за кадром не переводил фразы, а комментировал видео.

Мы пили джин с тоником, а кофе был уже допит.

В тот момент я подумал, что для поверхностного читателя весь Хемингуэй заключается в одной строчке «Фиесты»: «Пиво оказалось плохое, и я запил его коньяком, который был еще хуже».

Мои приятели говорили о своем: «А мне нужно купить лекарство. Мне ей Светке нужно купить лекарство, а лекарства нет. Лекарства нет, а бисептолом там все обсыпано». «Пока ты свистнешь, я уже...» — «А где же здесь пописать?» «Ой, блин, ой, блин», — закричал Сучков. «А ты «Camel» купил, понтовщик старый?» — «В приличном заведении «Camel» стоит две пятьсот». — «Джаз? Да он второй после Чижика! А этот... Этот... Этот просто отдыхает».

Слушал я особый язык маргиналова и запоминал его грамматику и синтаксис.

Кончилось тогдашнее сучковское сидение в ларьке на куче иностранных штанов так же неожиданно, как и началось. Я пришел на Новый Арбат, чтобы провести вечер в сучковском ларьке, но вместо него увидел незнакомого парня.

Сучкова уволили, опустел ночной Арбат. Только печальные барышни у стен тоскливо кричали:

— Цигель-цигель, ай люлю!..

Потом Сучков дарил мне кассеты, да в таких количествах, что мне казалось, что он грабанул свой киоск. Потом он приходил ко мне в Дом на набережной и рассказывал о ненаписанных книгах.

Приехала ко мне бывшая жена, вернее, заехала. Нужно ей было мимо, но она остановилась — просто так, посмотреть.

Мы говорили об умирающей литературе.

— А все-таки твой Мурицын — чудило, — сказала моя бывшая жена. — Дело в том, — продолжала она, — что его плохо учили. В хороших местах учат, что если человек вводит какую-нибудь тему или документ в оборот, то нужно сделать это очень ответственно. Нужно сделать так, чтобы не изгадить эту тему. А Мурицын бежит и надкусывает темы. Вот все знают, что он уже написал о том-то и о том-то, а ведь эти статьи — пустышка. Они веселы и задорны, но лишены смысла.

— Не ругай Мурицына, — отвечал я. — Его везде так много, что, может, его вовсе нет. Я его, например, не видел.

Мне нравился Мурицын, похожий на теплород или, как сказала бы моя жена, на симулякр. Он был нужен в этом мире, я придумывал Мурицына сам. Настоящий мог бы оказаться бессмысленным и никчемным.

Мы с женой обычно говорили о третьих лицах, а не о себе. Это называлось — «поддерживать отношения». Действительно, прощаясь, я чувствовал себя так, будто держал на весу что-то тяжелое. Неправильность жизни мучила, но время несло меня дальше.

Я стоял у двери и смотрел, как она садится в машину.

Жизнь то смыкала, то размыкала концы.

Время тянулось. Дом на набережной нависал надо мной, холодил душу.

Шур-шур, мур-мур, шелестело внутри стен.

Я был не литературен, даже антилитературен. Литература для меня была чем-то вроде послушания. Как-то давным-давно я услышал об идее Соловьева, который считал, что есть для русского человека всего три пути: путь воина, путь пахаря и путь монаха. Главное, таким образом, было в том, чтобы правильно выбрать путь.

Когда-то я считал для себя единственной первую дорогу, а теперь меня привлекало именно послушание.

Отвлекаясь от сочинительства, я обкладывался стопками бульварной литературы.

— Эй, массовые, давай сюда, — про себя говорил я. — Давай ко мне, я буду вас изучать.

Авторы болтались в сетях электронных конференций, я, будто химик, разлагал на части парфюм любовных романов, для которых придумал привившееся название «лавбургер».

На огонек приходил Олег Павлов. Он плохо помещался в моем закутке, и иногда казалось, что он расправит плечи и снесет часть дома, лифтовую шахту, посыпят лестницы, зазвенят стекла.

Павлов был тип настоящего харизматического писателя. Он был большой и бородатый. Он говорил степенно. Его проза была густой, как каша, одна из повестей так и называлась — «Митина каша». В густое течение этих текстов читатель попадал, как в поток реки, неостановимый и бесконечный поток. Теперь им написано несколько романов, но речь о другом.

Нравился мне Павлов. Однажды он пришел ко мне и начал рассказывать о букве «ё». Этот большой человек страдал по маленькой букве. Жевал губами. Басил.

Буква требовала защиты. Буква была маленькой — единственный умяют русского языка, беспричинно сокращенный.

Павлов работал санитаром в больнице. Впрочем, нет, тут я ошибаюсь, он работал охранником. Что это за должность, я не знал. Однажды он рассказал мне историю, как носили покойников в морг. Санитары напились и понесли в морг живую старуху. Старуха мычала и отбивалась. Отбилась.

Все это напоминало дурной анекдот, который кончался словами «раз доктор сказал в морг, значит — в морг».

И это тоже было Маргиналово.

Отслужив, я отправлялся домой и шел по улице мимо нищих. Нищие — была моя тема. В других городах я понимал, что освоился с чужой жизнью, когда начинал узнавать нищих, меняющих места.

В этом родном и до сих пор непонятном мне городе я тоже замечал новых и, как начальник караула, проверял прежних на неизменных постах.

Один старик с тремя институтскими ромбами играл в метро на скрипке.

Это называлось: «Всего пять тысяч, и я перестану играть эту мелодию». Ему вторила дребезжащим голосом старушка, поющая советские песни. Молодые ребята с саксофонами и флейтами были преходящи, они были гостями Большого Маргиналова, а вот эти — старик в шляпе со старухой, отчаянно фальшивая скрипка и полиэтиленовый пакет для денег — это была постоянная составляющая. Пели вечную песню в метро фальшивые беженцы, иногда не снимая с себя соболей и норок.

Жизнь тянулась, а литературная жизнь тянулась мимо меня.

Баритонский не приходил ко мне. Я сам заявлялся к нему в газету.

Собственно, Баритонский придумал тогда новый реализм.

Так это называлось, именно так — Новый Реализм. Я не очень понимал, что это такое, но разделял общее настроение. Баритонский придумал его — и оно возникло.

Отчего-то значимым мне казалось сочетание Баритонский — Белинский. Баритонский в ту пору размышлял о его, нового реализма, уставе и программе. Это было объединение сверху — от руководителя.

Однажды он признался, что его во всем привлекают правые — кроме антисемитизма. Правые, впрочем, теперь были левые. Или наоборот.

Но Новый Реализм имел право на существование. То, что из него потом получилось, — это уже другой разговор.

Время распада сменяется временем жестким, временем правил и установлений. Эти периоды чередуются, меняются местами, но в каждом должен существовать противовес. Мне нравился реализм именно этим — идеей твердой основы, противостоянием хаосу. В нем я находил для себя некие правила.

Правила помогали. Без правил жить возможно, но трудно сохраниться. Они нужны в конце концов даже для того, чтобы их нарушать. Внутренне осознанные правила я полюбил с детства.

Поэтому у меня были сложные отношения с тем, что называется «литературной средой».

Знаменитый роман Алексея Толстого «Хождение по мукам» начинается описанием Петербурга 1913 года, где на квартире у инженера Телегина собирается богемная публика. В квартире стены разрисованы и расписаны скабрёзными стихами, там читают футуристические лекции.

Туда приходит девушка. Она влюблена в поэта Бессонова, под которым Толстой разумеет Блока, и с интересом наблюдает богему. Ее зовут Даша. Даша задумчиво смотрит на странные посиделки, на придуманную жизнь, а потом появляется хозяин в белом инженерском кителе и предлагает ей чаю.

— Не бойтесь,— говорит он.— Бутерброды у нас настоящие.

Это начало их любви.

Поступив в Литературный институт, я хотел судьбы Телегина. Я хотел быть порядочным человеком в белом кителе, который среди бессмысленной богемной жизни кормит красивую девушку настоящими бутербродами.

Жизнь наказала меня за эту глупость.

Богема оказалась иной — она была лишена устава. Уставы и правила придают существованию смысл. И я не уставал повторять, что они нужны хотя бы для того, чтобы знать, что ты нарушаешь.

Между тем заглядывали сказочник Глинский и Рудаков.

Когда я познакомился с Рудаковым, я теперь и не помню — кажется, на каком-то новоселье. Мы оказались рука об руку за столом и крепко пили. В итоге он был переименован. Я дал Рудакову больше, чем новое имя, я присвоил ему написание.

Он стал О!Рудаков.

Тогда московские автомобилевладельцы слушали радиостанцию «Европа-Плюс». Машины наполнялись бархатно-порочными голосами ведущих. Когда плавная музыка сменялась быстрым, резким ритмом, водители давили на газ, железное стадо взревывало и на улице создавалась аварийная ситуация — в ту пору О!Рудаков купил себе «Запорожец».

Он занимался философией. Рассказывалось об этом так: «Ну, а Платон — это кликуха такая была... Он такой здоровый был, широкий... Зда-ароовый!»... Так говорил О!Рудаков. И еще он говорил: «Гераклит-то был такой аристократ. О-оочень такой аристократ... А она приходит к Гераклу... Приходит она к Гераклу и говорит: «Что, если нам, Геракл, немножко пожениться?» «Что за фигня?!» — отвечает ей Геракл. «Ах, ты так»,— говорит она и сразу начинает его убивать, без передышки. Вот ведь какие дела. Какой народ был. Скажи, да?!»

Чем-то рассказы Рудакова напоминали мне «Голубую книгу» Зощенко: «А приехал в то время в Россию немецкий герцог, некто Голштинский. Неизвестно, что он делал в своей Германии, но только историкам стало известно, что приехал он в Россию, чтобы жениться по политическим соображениям на дочери двоюродного брата Ивана IV.

И вот он приехал. Наверное, расфуфыренный. В каких-нибудь шелковых штанах. Банты, ленты.

Шпага сбоку. Сам, наверное, длинновязый. Этакая морда красная...

Ну, суетня, наверное, мотня. Мамочка бегаёт. Курей режут. Невесту в баню ведут. Жених с папой сидит. Водку хлещет. Врет, наверное, с три короба. Дескать, у нас, в Германии... Дескать, мы герцоги, и все такое».

Рудаков любил пить пиво и зарабатывал на него следующим способом. В Москве обнаружилось большое количество беззубых людей. Они желали, чтобы их рот засиял золотом. Золото дорого, а окись титана, напыляемая на железную коронку, не в пример дешева, а цвет ее — желт.

Рудаков ездил по стоматологическим поликлиникам и торговал зубами.

Потом Рудаков женился. Издавна у него была мечта — познакомиться с белокурой прибалтийской девушкой, говорящей по-русски с акцентом. Жена действительно оказалась блондинкой, но из Сибири. Экономический кризис сделал свое дело, и, поторговав газетами, Рудаков превратился в приказчика.

Это была сержантская должность: он ездил по стройкам и ругался с рабочими. Шпенглер лежал на сиденье с мятыми листами нарядов.

Новое занятие отдалило его от друга, ставшего начальником.

— Это было тогда, когда с ним еще можно было водку пить, — говорил О!Рудаков.

«Запорожец» был давно продан, и теперь О!Рудаков ездил на хозяйской машине. Наконец я понял, что объединяет нас, — солдатский взгляд на мир, взгляд товарища Сухова на мир и чудесного павлина. Правда, Рудаков сделал-таки одну гадость — приучил меня употреблять слова «какой базар!» в значении «что за пустяки!».

Теперь Рудаков с Глинским сбежали от жен и появились на пороге, пугая миллионеров огромным томом Хайдеггера и подружками, одетыми, словно для съемок «Плейбоя».

Глинский развеселился и начал толковать о конце века, который, оговариваясь, называл «концом света».

Рудаков читал новую павловскую рукопись. К Павлову он относился хмуро — бормотал: «Не из вышкарей, нет...» Рудаков в прежней жизни служил проводником служебных собак в конвойной бригаде.

Девушки льнули к Глинскому, человеку необъятной власти в кругу поршистов города Москвы. Это был замкнутый мир владельцев «порше», в который мог проникнуть отнюдь не всякий, кто купил такую машину.

Чем-то я сам себе напоминал героев фильма «Мимино», просыпающихся в кабине грузовика где-то на Ленинских горах.

— Спи спокойно, — успокаивает своего товарища один из них. — В этой гостинице я хозяин.

Иногда мне казалось, что часть гостей хочет остаться у меня жить. Но нет, они всего лишь хотели у меня переночевать.

Появлялся у меня и другой литератор.

Был он странен, звонил несколько раз, предлагая вложить полтора миллиарда в какой-то «Парк Духа», потом читал что-то из моих рукописей на коммерческих радиостанциях. Говорили, что он связался с сатанистами. И правда, один его глаз смотрел вверх, а другой в сторону. К нему хорошо подходила фраза Миллера о том, что есть люди, которых, как Пепикорна в «Волшебной горе», приводит в экстаз само слово «экзотический». Любил этот литератор задумчиво, по слогам, произнести слово «трансцендентально».

Но более всего меня поразило, как он ухаживает за женщинами.

Сидя в моем закутке, он подсаживался к незнакомкам и, ласково глядя локоть очередной гостьи, бормотал:

— Ты такая классная, знаешь, ты такая классная, ромбический додекаэдр переходит в ромбическую проекцию, а Юпитер уже в семи восьмых. Как меняется картина осени. Я много сказал о лунном свете, не просите меня о большем, только слушайте голоса сосен и кедров, когда их колышет ветер, и вот ты такая классная...

Фамилия этого литератора была такой же вкрадчивой, как и его разговор, — Ильющенко.

Но вернемся к Баритонскому.

Еще Баритонский рассказывал о том, как Мурицын угнал у него машину. Водить Мурицын не умел, и в этом происшествии больше всего пострадал не Баритонский, а автомобиль.

Он рассказывал о чем-то, о чем-то рассказывал Павлов, Сивов рассказывал о Марсовиче.

Марсович был загадочный человек, студент Литературного техникума, имевший литературного секретаря. Он писал загадочную прозу и найден был в квартире мертвым, скорее всего убитым, много лет назад. От него осталось только название романа — «Крылатый львун».

Это было прикосновение смерти.

Умиралово.

А Сивов был редкой породы человеком. Он был профессиональным хорошим человеком, к тому же отцом-одиночкой. Сын его тоже спускался вниз, слушал. Потом его уводила сестра Сивова.

Мне нравился у него один рассказ, где была далекая война, японцы, рыбная лавка и русский прапорщик, которого убивают уже после сдачи Порт-Артура. Сивов был мирным человеком, оттого его война была очень красивой, но все же и очень страшной.

Разговаривали, конечно, и о конце века.

— Самое интересное,— сказал я Сивову,— что fin de siècle— что-то типа Нового года. Такое тридцать первое декабря. Все ожидают нового, ждут чуда с боем часов и обижены, когда новое не приходит. Приходит лишь похмелье.

Сивов тем временем разливал.

Между тем мы говорили о том, что мировая культура развивается пятидесятилетиями — от 1870 года, года первой выставки импрессионистов и, что интереснее, принятия закона о всеобщей грамотности в Англии, и дальше пятидесятилетними периодами — от модернизма к постмодернизму.

— И вот,— говорил я,— теперь нужно подождать еще двадцать лет, руководствуясь хлебниковской манией чисел.

Тогда мы многого не знали, но предсказание отчасти сбылось.

Сивов, выпивая, вспоминал, как он учился в Литературном техникуме:

— Профессор Ковский был не прав, когда спорил со мной на семинаре. Он говорил, что ни один из писателей — даже самый отъявленный алкоголик — не писал в подпитии. Неправда. Я думаю, что в их пьяные головы приходили тогда великие идеи и лишь процесс их отображения требовал трезвости. Самые плодотворные идеи безумны.

Но Сивов уходил, потому что была пора решать сыну-школьнику задачи.

А время тянулось.

Оно тянулось в разговорах— казенное и оплаченное.

Рядом с Домом стояли древние палаты. В них жил институт с культурным названием. Однажды моя знакомая пригласила меня на какой-то вечер, и, войдя, я увидел только знакомые лица.

— Мы тебе не дозвонились, прости. Но ты, глядим, даже с девушкой пришел.

В отсутствие хорошего человека Рустама заседаниями клуба, куда я попал, заправлял человек интересный. Интересного человека звали Костюков. Костюков был всклокочен, борода выдавалась вперед. Он ведал делами журнала «Постскрипtum».

Костюков был логиком, окончил механико-математический факультет, но отчего-то относился ко всему, что имеет прорезь для дискеты, с ненавистью. Считал это бесовщиной.

Временами я восхищался его построениями, фразами, но порой за ними чувствовалась чеканная поступь неглавного инквизитора, но протестантского толка. Как только он открывал рот, из воздуха сгущалась некая интрига.

Культурный институт снабжался электричеством через стоявшую рядом церковь. При словах «массовая культура» электричество гасло. Однажды, когда пришел Кирилл Разлогов, нас собралось за столом тринадцать, и мы говорили, разглядывая друг друга в пламени единственной свечи.

В клубе клубились какие-то очень странные люди. Мальчики и девочки, не то школьники, не то студенты, одна из женщин, дружившая с Мурицыным, впрочем, я не мог поручиться за остальных, приходил печальный интеллигентный переводчик Георга Тракля, появлялся поэт, выражавшийся так витиевато, что я переставал понимать его на второй фразе. Заходил мой давнишний приятель Коля Малинин и тут же удалялся под руку с Алленовым — говорить о Врубеле.

Малинин был весьма своеобразный человек. Он, собственно, был везде. Я его видел в телевизоре, там он присутствовал на всех выставках — от художественных до собачьих. Какие-то школьницы вились вокруг Малинина, но это происходило в ином, неведомом мне светском обществе. Он был изящен, как Арамис.

С Малининым и его друзьями было хорошо говорить. Они были разные, но клубились вместе. Звали их «малининцы». С перемещениями Малинина по квартирам перемещались и малининцы.

Я возвращался в свой закуток, обпившись клубного чая и зажав под мышкой купленный по дороге батон.

Сменщик собирал свое деревянное хозяйство.

— Я знаю, к резьбе по дереву ты относишься уважительно,— говорил он.— Поэтому я тебе покажу...

И перед тем, как упаковать мешок, он показывал мне липового рыцаря. Рыцарь исчезал, оставив в воздухе тонкий дух скипидарной мастики.

В дверях с ним сталкивался мой приятель-вертолетчик. Вертолетчик прилетел из Екатеринбурга, который мы так и не отвыкли называть Свердловском. Он рассказывал мне уральские новости, те города, в которых мы с ним садились и взлетали, звучали под косым потолком сторожки — Сысерть, Кунгур, Саранск.

Вертолетчик переквалифицировался в сыщика.

Рассказывал он странное.

В Свердловске украли бюст Мурицына. Дело было темное, бюст Мурицына приняли за какой-то другой, кажется, за бюст Наполеона — из-за гипсовой треуголки.

Фантастичность этой истории развеялась, когда он показал мне вырезки из газет.

В связи с этим мы вспомнили одного нашего уральского знакомого, у которого на столе стояла великолепная инкрустированная ваза с надписью золотом: «Корреспонденту Академии наук».

Как я уже говорил, сменщики мои приходили в мундирах.

Охранник лошадей в черном, военизированном, а резчик по дереву иногда появлялся в парадной форме военного музыканта, увешанной бляхами и значками. Мундиры напоминали о войне. Все напоминало о войне, хотя очередная война кончилась. Но всегда ясно, что война не кончается.

Приехал ко мне из далекой страны друг. Страна была действительно далека, но я тоже там был когда-то. Войны там не было почти двести лет. В тот год мне было хорошо. Струился мимо меня день, наполняя солнцем узкую улицу. Смерть гуляла далеко. Здесь же были тишина и спокойствие. Плелись вокруг меня неизвестные языки — разноцветные люди сновали мимо нас.

Сидели мы с другом за пластмассовым столиком рядом с набережной, где каменный юноша бьет каменного орла по его орлиной морде. На этом памятнике написано просто: «Ганимед».

А звали моего собеседника Михаил Шишкин.

— Ты делаешь то, чего я старательно хочу избежать,— говорил мой друг.— Ты хочешь рассказать время. Говоря об изображении истории в литературе, я могу привести две причины наших литературных трудностей, одна из которых уже отпала — это цензурные соображения. Вторая причина, которая, как мне кажется, актуальна будет всегда,— это сам текст. Ты должен придумать какую-то вселенную, и вот вспоминаешь о другой, уже готовой, и помещаешь героев туда. То же самое и я хочу сделать сейчас, но кому-то нужно придумать гипотетическую Россию, чтобы с ее помощью лучше посмотреть на Россию сегодняшнюю.

А мне история нужна не для того, чтобы войти в Россию, а для того, что-

бы избавиться от нее. Я хочу написать роман, в котором от начала до конца, от жизни до смерти герои будут переживать человеческие проблемы, а не те, которые ставит перед ними политика.

Вот я написал роман, где герой всю жизнь свою борется с Россией, с теми переплетами, в которые он попадает потому, что живет здесь. И вот хочется написать о людях, которые мучаются по другим причинам, не по тем, что мучают людей сейчас в этой стране. Для этого мне нужно поместить их не в России, но одновременно и в России, ведь герои русские, говорят на русском языке, поэтому я придумываю ту страну, в которой все, что есть нечеловеческого, исчезло.

Я не мучился и поэтому мог слушать его с пониманием.

Мы говорили о литературе, как два клерка, выбравшиеся из конторы на рыбалку. Мы, собственно, и были два клерка — по роду занятий. И это было очевидно, хотя я уже был бывшим клерком.

Наверное, два дворника говорили бы так же.

Шишкин стал редким типом русского писателя, живущего за границей не как литератор или литературовед, не как журналист или преподаватель. Его работа была иной и, кажется, внешне не имела отношения к его прозе. Между тем этот человек не оставил литературу, живя в другой стране. Он не заместил процесс соединения слов тем, что называют «литературной жизнью». Он сидел и писал в своем уголке, и слова складывались, и двигалось повествование, полз по коридору сын, красивая жена возвращалась из магазина, и снова приходили новые слова. Внешне этот процесс был лишен событий, но он сам по себе становился событием — потому что это не итог, а действие, совершение литературы, а не литературной новости.

Теперь он, после нескольких лет жизни в Цюрихе, приехал навестить сына. Он вернулся и удивлялся всему — деликатно удивлялся людям и обстоятельствам. Удивлялся моей службе, сидя в сторожиле закутке.

Впрочем, мы говорили о литературе.

— Торопиться не надо, — говорил он, — никто не может меня опередить. Никто не может написать за меня мой роман. Знаешь, у меня есть одна знакомая, которая меня несколько раз сильно выручала. Однажды у нас состоялся следующий диалог: «Миша, вы пишете роман?» — «Пишу». — «А герой там такой-то?» — «Такой-то». — «А действие происходит там-то и там-то?» — «Там-то и там-то». — «И в такое-то время?» — «В такое-то время». — «Так ваш роман уже написан. Смотрите в библиотеке Н-ский журнал». Я в испуге прибегаю в библиотеку и лихорадочно читаю этот журнал. На меня накатывает ощущение счастья, потому что это совершенно другой роман, не мой. Смысл заключается именно в том, что никто не может тебя опередить. Вот мы с тобой все равно не можем написать одного и того же текста.

Тогда я слушал его под тонкое пение вьюги и вспоминал о том, как давным-давно приехал в гости к Шишкину.

И опять война мешала моему воспоминанию. Шишкин рассказывал свои истории, а при этом облокачивался на старую мою голубую шинель, висящую на стенке. Шишкин медленно шевелил губами, а я думал, что вот есть особый тип человека-отставника. Что-то главное в жизни совершено, и он успокаивается. Он несуетлив. Служба прошла. И это — я.

А тогда, много лет назад, мы тоже расставались.

Надо было уезжать из Цюриха на север, покидая красные корпуса Rote Fabrik и холмы и горы, другие города этой земли и этот город, где по ночам звенят своими мачтами маленькие яхты, качаясь на волне Цюрихского озера. Звон этот тих и странен, будто звон длинных серег, струящихся от ушей к ключицам. Звон печален, звон этот — как унылое коровье стадо на склоне.

Я ехал мимо призывных пунктов, армейских плакатов, какой-то укрытой военной техники. Может, потому, что у нас страна больше, кажется, что техника спрятана, что она находится в отведенных для нее местах. Там же, на малом пространстве, она то выпирает из-за сарая, то высовывает хобот из-за дома. В отличие от моей страны все это стреляло редко.

Но Шишкин уехал, оставив меня под нависающим Домом с большой буквы.

Я открывал двери разговору, чтобы опять вернуться к экрану, к писателям незнатным и незнаменитым, к бульканью старого дисководов, сохраняющего память обо всем. Маргиналово жило своей жизнью на вахтенных постах, клубилось в запертых на ночь ларьках и строительных бытовках.

А диоксид хрома перемагничивался, домены менялись, диск крутился, запоминая эти истории, — и это было то время.

Катился мимо меня с Большого Каменного моста Нулевой год, а я сторожил обитателей Дома — богатых и бедных, сторожил букву «ё» и просто слова, сторожил и сам этот год, дышавший холодом перемен.



Волжский мужичок, или Вечный Горький*

С очень маленькой долей шутки он называл меня «эстетствующим казаком». Он так и начал однажды свое эссе обо мне, напечатанное в «Новом книжном обозрении» в середине 90-х: «Владислав Отрошенко — настоящий, природный русский казак...» — а закончил рассуждениями о моем «эстетстве», «склонности к изощренным мистификациям» и «двойничестве», «которое до добра не доводит».

Помню, как я досадовал, когда мне нужно было выдернуть какую-нибудь фразочку из этого эссе Павла Басинского для задней саморекламной обложки моей книги «Персона вне достоверности», вышедшей тогда в Италии. Подходящая фразочка была, но заканчивалась она неудобоваримо: «...и приходится верить автору на слово, что, впрочем, весьма приятно, ибо словом он владеет не хуже, чем шашкой». Какой шашкой?! Что за бред?! Это же можно понять и перевести только буквально!.. Нет, мой образ («эстетствующий и казачий вместе») никак не укладывался в его голове, набитой множеством взлелеянных им красочно-лубочных картинок. Ему так и хотелось видеть меня таким бравым есаулом с шашкой, в синих шароварах, на донском жеребце и в усах... Но усы были как раз-таки у него. И были неотлучные очки с выпуклыми стеклами. И была какая-то залихватская, смачная и кичливая простота во всем, что бы он ни делал — опрокидывал ли рюмочку водки в доме графа Владимира Толстого в Ясной Поляне, парился ли в баньке под Ярославлем в кругу господ сочинителей, съехавшихся на литературное совещание в лесной пансионат старорежимных профсоюзов, или выносил суждения о преимуществах реализма: «Вот посмотри, Отрошенко, какие могучие и красивые бороды у Варламова с Павловым. А почему? Потому что они настоящие русские реалисты!»

Какая-то мудреная затея судьбы видится мне сейчас в истории нашего знакомства. Был какой-то временной провал в этой истории.

Я отчетливо помню, что познакомился с Басинским во второй половине 80-х. Нас познакомил Александр Сегень, только что опубликовавший тогда роман «Похоронный марш». Роман был превосходный, проникнутый юмором, мудрой иронией, искренностью, — о 60-х годах, о детстве, о смехотворности призрачно величественных образов — Империи, Государства, Космонавта Гагарина, Белки и Стрелки, Чего Бы То Ни Было — перед лицом таинственного факта самоценного человеческого бытия... Словом, изящный был роман, да и сам Сегень был тогда изящным, далеким от всякой хмурой политики художником, в котором мне было симпатично все — и его нежно-звучная венгерская фамилия, и до крайности странные, с немислимыми пробелами под висками бакенбардики, похожие на утренние перыстые облака, и его манера письма, раскованная, жиз-

* Глава из книги «Несвоевременные воспоминания».

нерадостная, затаенно лукавая, с шальными искорками художнического идиотизма.

Помню, прочитав «Похоронный марш», я тут же позвонил Сегеню, и мы долго говорили о его романе. А при встрече в ЦДЛ он показал мне рецензию в «Новом мире». Не помню, хорошо или плохо (на мой «казахье-эстетствующий» взгляд) она была написана, но странным и приятно неожиданным образом рецензия совпадала с тем, что почувствовалось мне в «Похоронном марше». Я попросил Сегеня познакомить меня с автором. И знакомство тут же состоялось, потому что автор, как-то виновато сутулясь, — да вы, мол, не обращайтесь на меня внимания, господа столичные сочинители, пейте, кушайте, а я тут, где-нибудь с краю, присяду — двигался от буфетной стойки, неся в одной руке графинчик с водочкой, в другой закусочку — скипетр и державу лубочного российского литератора всех времен.

Сегень поманил его, приглашая сесть за наш столик. Он все так же виновато приблизился, долго извинялся за что-то и, наконец, сел... Внутренняя скованность, доходившая до внешних проявлений (вид такой, будто лямки волжского бурлака врезаются в плечи), подавленность, недоверчивость — вот все, что я тогда увидел в Басинском. Но знакомство состоялось. И оно на первый взгляд казалось прочным. Во-первых, потому что кое-какой взаимоволнующий разговор все ж таки завязался. Во-вторых, мы были ровесниками и находились в том возрасте (нам было лет по двадцать восемь), когда начинающие литераторы знакомством друг с другом весьма дорожат. И, в-третьих, мы оба были из провинциальных городов, что как-то сближало нас, хотя *мой* город носил когда-то звание *столицы* и выгодно отличался от *его* героического, но угнетающе серого Волгограда, которому могли только сниться щеголеватые старинные парки, триумфальные арки, атаманские дворцы, кафедральный собор в полнеба и прочие пышные творения великих итальянских и русских архитекторов, в обилии уцелевшие в Новочеркасске, где в самом центре, на Московской, стоял отстроенный по проекту Бельтрами дом моего предка, квартирмейстера Области войска Донского, превращенный в кинотеатр с обидным для меня названием «Победа»... Впрочем, нет, давно уже не обидным, ибо *эти* метаморфозы относятся ко временам чересчур прошедшим.

Однако же и то время, о котором теперь идет речь, тоже не стояло на месте.

Время шло, наступили 90-е годы, изменившие многое (во всяком случае, познакомивший нас писатель сбрил свои маленькие ветреные бакенбарды и воел за Великие Образы и за Что-то Там Еще в «Нашем современнике»), а знакомство мое с Басинским, с виду основательное, оставалось каким-то... никаким. Мы, может быть, виделись иногда. Конечно же, виделись, и даже, наверное, часто — круг общих знакомых был уже весьма широким; приветствовали друг друга при встречах, связывались по телефону... Но я почти не помню его до того времени, когда я познакомился как бы уже с другим Басинским, который если и имел что-то общее с простоватым волжским мужичком, то это «что-то» было теперь артистичным, осознанным, куражливо-вольным, как исполнение классической роли, отточенное на большой столичной сцене.

Разумеется, я не могу сейчас с твердой уверенностью обозначить случай, который послужил вехой этого обновленного знакомства. Но припоминается мне вот что. Году в девяносто пятом я написал статью о Гоголе... Да нет! Какую там статью! Это был чисто художественный текст, ловко притворяющийся литературоведческим исследованием. Кое-что я позволил себе придумать за Гоголя, надеясь на его лукавую снисходительность, кое-что — за современников Гоголя, кое-что — за издателей и корректоров его бессмертных творений.

Ключевое же понятие своих рассуждений — якобы историческое, якобы древнеиндийское («Авьякта Парва» — «Непроявленная Книга») — я смело позаимствовал у одного крупного шарлатана, профессора Лютер Колледжа, не считая нужным сослаться на его химерические труды, поскольку этот американский ученый русского происхождения всем своим существованием был обязан моей повести «Тайны жалонерского искусства, или Разоблачение д-ра Казина», главным персонажем которой он и являлся. Словом, в тексте скрытно присутствовало все то, что Басинский если не клеймил, то считал «до добра не доводящим»... Ясно, что с моей стороны было бы нелепо (и даже неделикатно) представлять для рассмотрения столь ветреный труд в степенную «Литературную газету», где именно Басинский уже не первый год и с неумной энергией, свойственной омосковившимся провинциалам, вдохновлялся должностью **старшего редактора (отдела) русской литературы**. Я предполагал опубликовать эссе в газете «Сегодня», чей отдел искусства, возглавляемый Борисом Кузьминским, славился тогда жизнерадостной утонченностью и изысканной раскованностью. Там, по крайней мере, рассуждал я, меня не спросят (в отличие от «Литературки», где тогда еще существовал некий «отдел сверки» цитат с источниками): а откуда это вы взяли, к примеру, вот эти «воспоминания»... или вон те «изречения»?..

И действительно, Борис Кузьминский, звавший до этого кое-какие мои тексты и даже как-то раз наградивший одну мою повесть чрезвычайно лестным для авторского тщеславия словечком «шедевр», принял материал к публикации без всяких вопросов. Требовалось только срочно придумать какой-нибудь «врез», необходимый для ежедневной газеты; что-то вроде: «Сегодня, 15 сентября 1995 года, исполняется столько-то лет с того дня, когда Гоголь...» Что — Гоголь? Ну что? — мучился я, не находя никакой связи между теми событиями, которые приходится в разные годы на эту дату в академических хрониках жизни Гоголя, и содержанием моего эссе. И промучился бы еще долго, если бы не забрел ко мне нечаянно Олег Шишкин, который тогда блистательно и бурно сотрудничал с «Сегодня» и о котором пойдет еще речь ниже (скажу лишь, забегая вперед, что один только его рассказ «Дизель Дизель» извиняет все темные стороны его загадочной натуры, казавшейся кое-кому откровенно клоунской).

Шишкин быстро пробежал своими черными блестящими глазами, из которых так и сыпали искорки веселого безумства, «Хронологическую канву жизни и творчества Н. В. Гоголя» и без всяких рассуждений предложил написать во «врезе», что 15 сентября 1995-го исполняется 151 год с того дня, когда Гоголь закончил морские купания в Остенде. Я отчаянно возражал, говоря, что это чистое шутовство; что эссе мое, несмотря ни на какие вымыслы, и серьезное, и глубокое, и драматическое, и даже в некотором смысле трагическое, и я не хочу, чтобы на его подмостках залихватски выплясывал такой вот балаганный «врез»-скоморох! На что Шишкин мне, в свою очередь, отвечал, что «врез», во-первых, совершенно в стиле «Сегодня», во-вторых, никто, кроме него, Шишкина, на этот «врез» даже внимания не обратит, а в-третьих, нет ничего шутовского в том, что Гоголь, принимая морские купания в Остенде, исцелял свои тонкие расстроенные нервы... В общем, я написал «врез», упомянул в нем «тонкие расстроенные нервы», которые хоть как-то протягивались зыбкими ниточками к содержанию эссе, и с шишкинской оказией отправил написанное в газету.

На следующий день Шишкин позвонил мне и сказал, что все отлично, эссе поставлено в номер на 15 сентября вместе с литографическим (тисненным Ф. А. Брокгаузом в Лейпциге) портретом Гоголя из моей коллекции. Я обрадовался, успокоился и тут же занялся окончанием повести «По следам дворцового

литавриста», которая своей неподатливостью, кажется, и утончила мои нервы до такой степени, что я должен был приступить если не к морским купаниям, то к разрешению таинственного вопроса, почему 14 декабря 1848 года Гоголь солгал П. М. Щепкину, что он полностью окончил второй том «Мертвых душ»...

Да, я успокоился. Но не прошло и трех дней, как в доме моем сверкнула молния, то есть явился быстрый, как молния, Шишкин. И прозвучало раскатами грома слово «НЕМЗЕР». Что — Немзер? «Немзер,— ответил Шишкин,— это тебе, знаешь ли, не лукаво-снисходительный Гоголь!» Впрочем, если не лукавостью, то некоторой капризностью, свойственной Гоголю, литературный критик Немзер, по слухам, обладал. И для газеты «Сегодня» середины 90-х годов он был такой же фигурой, какой мог быть, ну, скажем, для шевыревского «Москвитянина» сам Гоголь, надумай он вдруг поступить туда на службу. Гоголь бы, конечно, не сделался в таком случае главным редактором, он бы, пожалуй, закапризничал. Да и Немзер в газете «Сегодня» вовсе не был главным редактором — нет, он был там просто Главным. Возлюбленным Главным. Главным Литератором. И вот этот Главный, прознав, что Борис Кузьминский собирается печатать эссе о Гоголе, затребовал текст к своему высочайшему столу на просмотр, потому что, во-первых, «как это так?!» и, во-вторых, «как это так?!», а в-третьих (о чем я узнал позднее от писателя Игоря Кузнецова), Немзер смотрел на XIX век в целом и на Гоголя в частности как на особую, вверенную ему епархию, где он обязан бдительно следить за порядком.

Борис Кузьминский, видимо, предчувствуя, что разговор по поводу не совсем «епархиального» Гоголя будет не из приятных, отправил к Немзеру Олега Шишкина, приставив его к моему эссе в качестве адвоката, что было, конечно же, большой промашкой, ибо в глазах Немзера Шишкин, который с боем печатал в газете свои скандально странные *художественные произведения*, выдавая их то за насущную журналистику, то за искусствоведческие статьи, мог быть только подсудимым, поделником или на крайний случай лжесвидетелем.

Полистав в присутствии Шишкина эссе, Немзер объявил ему свое прокурорское заключение, смысл которого состоял в следующем: «врез» абсолютно клоунский, эссе тоже клоунское, да и сам Шишкин — клоун... Как!! Как он вообще посмел подсовывать Немзеру чье-то там эссе да еще всерьез ходатайствовать тут за него, когда ходатайствовать ему нужно за свои фиглярские заметки, которым место в корзине!! Да, а поскольку шишкинских заметок у Немзера в ту минуту под рукой не было, то в корзину полетело мое эссе — во всяком случае, оно полетело туда в фигуральном смысле, хотя энергичные жесты Шишкина, передававшего мне сцену в лицах, подразумевали именно буквальный смысл, который, быть может, и имел место, не могу сказать... Однако могу сказать другое: в тот день, когда я вошел со вторым экземпляром эссе к Басинскому в «ЛГ», я чувствовал себя промотавшимся барином-фанфароником, который явился-таки из пышных столиц в деревеньку просить на шампанское и новые бланжевые перчатки у ехидно прижимистого старосты-мужичка. «На перчатки, батюшка, может быть, и дам, потому как перчатки вашим благородиям всегда нужны, а вот с шампанским, кормилец, придется погодить: неурожай, недоимки!.. Не угодно ли взять на водочку-с?» — так и слышалось мне.

Но в реальности через неделю до моего уха долетели из телефонной трубки такие вот слова: «Слушай, Влад, классная вещь. Мы ее печатаем». «А как же отдел сверки?» — «Уладим...»

Я был тронут: ничего клоунского в этом эссе, опубликованном в «Литературке» под названием «"Авьякта Парва": призрак последней точки в творениях Гоголя», а затем в петербургском журнале «Постскриптум», Басинский не увидел, а увидел то, что виделось мне самому и тем, кто потом отзывался об

этом тексте печатно и устно,— серьезную и отчаянную попытку проникнуть в тайный смысл некоторых поступков и изречений Гоголя.

В «Литературной газете» я стал бывать гораздо чаще, чем раньше. Время от времени там выходили мои статьи, рассказы.

В общении с Басинским я стал находить для себя что-то очень необходимое, какой-то крепкий, ободрительный дух, каким веяло, быть может, на одного моего родовитого предка, когда в детстве его украдкой вывозил из дома поохотиться на Аксайском займище или поиграть в айданы на базарной площади (а то и хватить там на пару с барчонком рюмку-другую под ароматные соленья) станичный дядька-казачок, подменявший иногда болезного французского гувернера.

Я открывал в Басинском все новые и новые неизвестные мне черты. Я, например, очень скоро заметил, что некоторое внешнее сходство с Алексеем Максимовичем Горьким (по мнению многих, случайное — в силу особой формы усов) критик приобрел вовсе не случайно. Нет! Он старательно культивировал в себе это внешнее сходство, доводя его до внутреннего укоренения, до воровства повадок. Стоило только кому-нибудь бросить вскользь: «Паша, ну, ты вылитый Горький!» — как Басинский поднимал руку к усам и, степенно оглаживая их сверху вниз, отвечал: «Но это же хОрОшО, пОнимаете, хОрОшО...» — а вслед за этим пускался в какие-нибудь демагогические литературные поучения, не замечая, что «оканье» постепенно исчезает и поучает уже собственно критик Басинский. Он исподволь поощрял это шутейное сравнение себя с Горьким, старательно создавая на московской почве какой-то — древнеиндийского, что ли, свойства — миф о том, что Басинский — это аватара вездесущего и вечного Горького.

И миф возник. Миф приобрел размах, монументальность. Дело дошло до того, что студенты Литинститута, где Басинский что-то преподавал, замазали известкой надпись на постаменте под институтским памятником Горькому и нацарапали: «П. В. Басинский». Помню, как он рассказывал мне об этом приключении, как журил студентов: вот же, мол, сукины дети, что выдумали! Но я-то отлично видел, что сквозь толстые стекла его старомодно-конторских очков так и льется, так и плещет глубокое удовлетворение.

Критик, конечно же, и не подозревал, что с мифом шутить нельзя, что любой миф способен управлять реальностью так же успешно, как и сознанием самого мифотворца. Ведь он был певцом и приверженцем реализма, воображавшим, пожалуй, что миф в жизни — это только бесплотный призрак, а миф в искусстве — это всего лишь случайный пассажир великого бронепоезда — могучего бронепоезда русской реалистической литературы, который победоносно несется сквозь столетия, рассыпая жгучие искры проникновенных глаголов, и которым мужественно управляют, сменяя друг друга, бородатые машинисты: вон на том перегоне — Федор Достоевский, а вот на этом — Алексей Варламов, а дальше — Олег Павлов... Да, но то, что случилось однажды под Ярославлем в замшелом пансионатике имперских профсоюзов, о котором я, кажется, упоминал, носило уже сверхмифический характер, или, лучше сказать, характер мифа, полностью осуществленного в реальной действительности.

Пансионат этот, где зимой 1996 года затеялось на старинный манер совещание молодых литераторов (Басинский вместе с Игорем Золотусским руководил там единственным семинаром критики, я с Русланом Киреевым — одним из очень многих семинаров прозы), находился в чудесном лесу, на берегу реки, неподалеку от некрасовского имения. Небольшая территория пансионата мистически завораживала своим заповедным видом. Это был настоящий музей наглядного социалистического реализма под открытым небом. Повсюду какие-то

ободрительные лозунги советской эпохи, стилистику которых я уже не в состоянии передать, профили пролетарских мудрецов, предъявленные в битве с капитализмом, словно три туза в «Буре» или «Триньке», счастливые лица всевозможных трудящихся на живописно облупленных стендах, какие-то благодарственные частушки, в которых ловко помянуты и солнце, и воздух, и КПСС, белые статуи дискометательниц с громадными непорочными ягодицами, старинные лавочки с высокими спинками, закрученными на манер океанских волн, — все утоплено в чистом снегу, в неистощимой тишине. Ну, и была там, конечно же, скульптура Горького. Очень странная, надо сказать, скульптура. Она сиротливо стояла, обратившись лицом к реке, где-то поодаль от центральной аллеи, возле бильярдного павильона, и в общем-то ничем особенным не выделялась на фоне зимнего пейзажа, ибо не уступала в белизне ярославскому снегу. Однако все почему-то замедляли шаг, проходя мимо этого произведения безвестного скульптора, и всматривались в знакомое, но как будто бы не совсем узнаваемое лицо с какой-то необъяснимой зачарованностью и изумлением, пока однажды кто-то из господ сочинителей, кажется, Петр Алешковский, не остановил жестом раскинутых рук компанию семинарских начальников, неторопливо двигавшуюся в вечерних сумерках из баньки.

— Пойдите! Да это же Ницше! Фридрих Ницше, ей-Богу! — воскликнул он, указывая на скульптуру горлышком лунно прозрачной бутылки, припасенной «на легкий пар».

— Ну, конечно же, Ницше!.. Ницше!.. Вылитый Ницше!.. А я-то думаю, на кого же он здесь похож! — послышалось со всех сторон.

И тут вдруг голос подал Басинский.

— А что? — молвил он, пожимая плечами. — Я и на Ницше похож... Всегда был похож.

Такое замечание, кажется, всех удовлетворило. Компания двинулась дальше, уже спокойно рассуждая о том, что, ну да, конечно же, Горький всегда был похож на Ницше и даже нарочно старался на него походить... Я же остолбенел. Подумать только! Он ведь даже не сказал «мы с Горьким», он сказал просто «я», и этого уже никто не заметил! Вот он, миф, нечувствительно породнившийся с реальностью! Вот он, призрак, одевшийся во плоть под ярославской полной луной!..

Думаю, не ошибусь, если скажу, что в натуре Басинского таились какие-то особые, внеличностные свойства, которые и заставляли окружающих постоянно сравнивать его с кем-то. Однако не всякие сравнения он поощрял. Помню, однажды, в разгар традиционной предновогодней встречи авторов в отделе русской литературы «ЛГ» (был канун 1996 года), кто-то из друзей-литераторов — то ли поэт Игорь Меламед, то ли литературовед Дмитрий Бак — проделал довольно ловкую шутку. Пока Басинский курил где-то в коридоре, официальная вывеска на дверях отдела была преобразена. Под прозрачный пластик была подsunута бумажка с аккуратно написанным на ней буквосочетанием «ел», так, что оно закрывало собою буквосочетание «ас» в фамилии «Басинский», — получилось «Белинский». Басинский посмеялся вместе со всеми над этой проказой, но тут же строго распорядился навести порядок в содержании таблички, потому как место, мол, присутственное, а не шутейное! Однако дело тут было вовсе не в особенностях *места* — литинститутский памятник Горькому тоже ведь стоял в каком-никаком, но присутствии! Дело было в особенностях *времени*. Как раз незадолго до этого Басинский сам сравнил с «железным Виссарионом» того, с кем он долгое время пикировался на страницах столичных газет, — критика Андрея Немзера. И сравнение это прозвучало чересчур драматично, чтоб усмотреть в нем что-то случайное. В чем заключа-

лась его закономерность, я, кажется, теперь разгадал и могу об этом сказать. Однако замечу предварительно, что в дуэлянтских отношениях Басинский состоял в то время не только с Немзером, но и со многими критиками. Другое дело, что дуэлянтство это было вовсе не свирепым; нет, оно было достаточно церемонным, в нем даже присутствовал некоторый оттенок театральности — особенно это касается перепалок Басинского с Вячеславом Курицыным, с которым он работал бок о бок в отделе русской литературы «ЛГ» (в середине 90-х годов Курицын исполнял там завидную должность какого-то вольноприходящего сотрудника). Ярко загримировавшись: один — под циничного и шально-го повесу, апологета постмодернизма, другой — под благонравного и степенного мужа, защитника всяческой традиционности, Басинский и Курицын, как два театральные дуэлянта, вступали на четвертую полосу «ЛГ» и, целясь друг в друга из бутафорских мушкетов, картинно сходились к барьеру, коим служила горизонтальная или вертикальная типографская линейка. Звучали хлопki якобы роковых выстрелов. Басинский притворялся, что он смертельно ранен в самое сердце, Курицын делал вид, что пуля Басинского пролетела мимо его уха. Публика аплодировала. Занавес опускался. А за кулисами один добродушно похлопывал по плечу другого — ну-ну, хорошо, мол, сегодня сыграл, шельмец!..

Нет, я не могу сказать, что Басинский находился с Курицыным в совершенно уж дружеских отношениях. Он просто *входил в положение* Курицына. А положение Курицына было таково, что он *должен* был принимать на столичной сцене весьма определенную позу, ибо слава его как тончайшего ценителя «нетрадиционных текстов» и деятельного исследователя «постмодернистской ситуации» в литературе явилась, кажется, в столицу раньше, чем сам Курицын из Екатеринбурга. Он *должен* был оправдывать эту славу. *Должен* был брать на себя неблагодарный, но по-своему благородный труд оценивать с литературно-критической точки зрения продукты жизнедеятельности какого-нибудь расчетливого гражданина, какого-нибудь В. Сорокина, который отлично понимал, что без таких донкихотских натур, как Вячеслав Курицын, без некоторых конвенциональных понятий, бескорыстно пущенных в ход этими натурами, он обречен оставаться тем, кем он и был всегда — не автором каких-то там романов, якобы сотворенных в пику «соцреализму», а любознательным мужичком-экспериментатором, звучно испортившим воздух на публике с задней мыслью «Что будет?». Да ничего особенного: поморщатся, отвернутся, войдут в положение... или, может быть, попросят выйти вон, в туалетную комнату, если, конечно, это озвученное действие организма не будет сопровождаться громким скандированием разноязыкого обывателя: «Гор-ба-чъёф!! Пэ-рэ-строй-ка!!» — и если затем не явится, возмещая пламенному гражданину своими концептуальными статьями огорчительную пропажу политического контекста, Вячеслав Курицын или какой-нибудь иной простодушный мечтатель и не скажет: «Постойте, господа! Давайте разберемся! Вонь, быть может, и воняет. Но слово-то «вонь» — это только ряд букв, предполагающий чистый процесс чтения,— чистого чичиковского Петрушку!»

Оттенок театральности присутствовал, сколько я помню, и в дуэлях Басинского с Немзером. Но то, что эти дуэли закончатся вовсе не театрально, никто не ожидал. Не ожидал этого, по-моему, и сам Басинский, хотя такое с ним случалось часто: наступал момент, когда старый партнер становился ему чем-то неуютен. И тогда Басинский, не предупреждая ни публику, ни партнера, менял в последний момент за кулисами бутафорский мушкет на маузер, заряженный боевыми патронами, и, словно персонаж совсем «не той оперы» — словно ок-

тябрьский комиссар в классической (а не в какой-нибудь авангардной) постановке «Евгения Онегина», — проворно выбежал на сцену, чтоб сделать свой выстрел.

Так было с Немзером... Это был выстрел жестокий, беспощадный и даже, на мой взгляд, бесчеловечный... но Бог тут Басинскому судья... Статья была целиком посвящена Немзеру. Она занимала целую полосу в «ЛГ» и называлась «Человек с ружьем». Немзера Басинский не просто сравнивал с полупомешанным Виссарионом Григорьевичем, он на каждом шагу ловил Немзера за руку, доказывая с необыкновенной язвительностью, что тот пытается создать в литературе свой особый, немзеровский, диктаторский порядок — такой порядок, в котором любое слово Немзера означает для писателя Свет, а молчание Немзера — Тьму; что Немзер, теряя рассудок, уже маниакально верит в этот порядок, уже живет в искаженной реальности, уже не видит, какие дикие противоречия вкрадываются в его критические оценки, уже не замечает нелепости своего положения — Человека с ружьем. В статье было проанализировано все — и менторский тон Немзера, и методы бредового возвеличивания Фигуры Критика, то есть самого себя, и его непартийность, которая ставит себе, как и старая добротная большевистская партийность, шизофреническую задачу управлять литературным процессом... Басинский просто убивал Немзера наповал... Но почему именно убивал? Почему — наповал? Почему так старательно и так бессердечно? Да потому, что Немзер — могу сказать теперь это с полной ответственностью — был здесь совершенно ни при чем. В Немзере Басинский отчетливо видел нечто такое, что было присуще ему самому. Он отчаянно пытался уничтожить в себе что-то или кого-то... Он убивал, в сущности, самого себя, своего неотступного двойника, или, лучше сказать, *одного* из своих двойников — истинного и главного двойника, ибо Басинский-Горький, Басинский-Белинский были существами вполне фантазмагорическими и комическими. Но вот Басинский-Немзер — это было явление столь же реальное, сколь и драматическое... Да, двойничество, которое Басинский приписывал мне, преследовало на самом деле его, и притом с гораздо большей яростью, чем мое гипотетическое, так сказать, художественное двойничество.

Но и склонность к мистификациям, увы, не миновала критика.

Я отлично помню, как однажды мартовским полднем 1995 года я зашел в «ЛГ» вычитать свою вещь, выходящую под рубрикой «Рассказ конца века». Басинский сидел в своем кабинете и с таинственной деловитостью что-то внушал Алле Латыниной. По выражению ее лица было видно, что у нее имеются какие-то сомнения относительно того, в чем ее убеждает Басинский. Однако мое появление, как будто оно было случайным, но удачным аргументом в пользу Басинского, вдруг переменяло ее настроение.

— Ну, хорошо, — согласилась она с чем-то. — Вот и Владислав как раз...

— Что «хорошо», Паша? И почему я «как раз»? — спросил я, когда Латынина удалилась в свой кабинет напротив.

Из ответа Басинского мне стало ясно, что речь идет о мистификаторском материале, содержание и форму которого он и обсуждал с Аллой Латыниной (что касается Латыниной, то я должен заметить здесь, в необязательных скобках, что и она имела некоторую склонность к мистификациям; во всяком случае, через ее отдел и с ее приветливого согласия мне удавалось публиковать в «ЛГ» кое-какие статьи от имени персонажа моей повести «Прощание с архивариусом» Сергея Кутейникова, который позволял себе подвергать тщательному критическому разбору целые книги, якобы выпущенные в свет его собратьями по призрачности — персонажами других писателей, например, Петром Безобразовым, чью деятельную натуру вывел в свет Игорь Кузнецов).

— Ну, и какого же свойства обман? — спросил я у Басинского равнодушно-ласковым тоном доктора, обращающегося к новоиспеченному пациенту.

Как и всякий новичок, Басинский повел речь о чем-то совершенно несусветном. Он предложил разом ухнуть что-нибудь монументальное — взять да и выдумать, будто отыскался неведомый вариант знаменитого письма Белинского к Гоголю, прямо противоположный по смыслу; весело сочинить это липовое письмецо да еще опубликовать его в первоапрельском номере!

Я тут же сказал, что, во-первых, любая мистификация в первоапрельском номере — это не мистификация, а жалкий балаган, дозволенный календарем; во-вторых, письмо Белинского к Гоголю, не отвечающее истинной природе адресанта и никаким — даже затаенно-возможным — историческим обстоятельствам, — это грубость и вздор!

— И что же ты предлагаешь? — спросил Басинский.

— Я предлагаю, если речь идет о первоапрельском номере, делать его так, как он и делался у вас всегда, — с шуточками и прибауточками... а вот если ты договоришься с Латыниной, а Латынина, в свою очередь, с вашим высоким начальством, то в самом обычном, будничном номере можно дать на целую половину блок очень любопытных материалов.

Говоря это, я сам еще не знал, какие именно материалы можно дать.

— Послушай, Паша, ты хорошо знаешь историю литературно-номенклатурной жизни советских времен? — спросил я (он знал ее не просто хорошо, а знал как-то нежно, любовно, как бы тоскуя в душе по тем временам, когда фигура критика была судьбоносной и судьборешающей).

— Ну, знаю, — ответил он с неискренним равнодушием.

— А скажи, могла ли литературным чиновникам шестидесятых годов прийти в голову такая бредовая мысль — заманить в СССР Набокова? Нет, не пригласить его на казнь, а просто залучить его на родину... принять в Союз писателей СССР, дать ему дачку, льготы, гарантировать ему терпеливое уважение и т. д., и т. п.

Басинский как-то важно и осторожно задумался, как если бы он был каким-нибудь секретарем Союза советских писателей, каким-нибудь Марковым... Я же ощущал себя в этот момент тайным инструктором ЦК КПСС, явившимся не то с провокационной, не то с директивной идейкой, спущенной с партийных небес: пусть, мол, погадает.

— Могла! — вдруг воскликнул Басинский. — И совсем это не бредовая мысль! Бунина не залучили! С Куприным вышла одна предсмертная суета. А тут уже шестьдесят седьмой год! — фантазировал он, воодушевляясь все больше и больше. — В эмиграции уже нет более значительной фигуры, чем Набоков!.. Они его ненавидят! Они готовы его задушить! Но надо принять в Союз писателей. Для пропаганды... Потому что так решила партия!.. Постой, тут же еще есть достоверные детали, — не унимался Басинский, — какой-то советский вояжер привез Набокову в шестьдесят седьмом году современные снимки его имений... Он еще стихи об этом написал. Помнишь?.. «С серого севера вот пришли эти снимки».

— А зачем этот таинственный вояжер привез ему снимки, как ты думаешь, Паша?

— Ну, как — зачем? Напомнить о родине, разжалобить.

— Да, конечно, — подхватил я. — Это же был тот самый выездной литератор-агент, которого послали к Набокову в Монтрё, чтобы он там его обхаживал, намекал ему о возвращении, уговаривал...

— Точно. А послали его туда, — добавлял Басинский, — после специального, закрытого заседания секретариата СП СССР...

Так, слово за слово, был создан проект газетной полосы, где должны были быть представлены во множестве разнообразные материалы: стенограмма заседания секретариата СП (ее с каким-то неистовым удовольствием брался писать Басинский), отчеты литератора-агента о поездках к Набокову в Монтрё, а также выданные этому агенту инструкции относительно характера и привычек Набокова, его распорядка дня и прочих житейских и психологических тонкостей (это все надлежало сделать мне), ну и, конечно же, самое главное — письмо Набокова из Монтрё в Нью-Йорк к его сестре Елене Сикорской, в котором он с щедрой детализировкой и с ерническим изумлением описывает потуги «советского гастролера» выполнить задание.

— А кто напишет это письмо? — тревожно спросил Басинский. — Кто напишет так, чтобы ни один филолог не усомнился в его подлинности?

В то время это мог сделать только один человек — Евгений Лапутин, с которым меня связывала весьма старинная дружба. Многие из тогдашних литераторов, между прочим, знали только одного Лапутина — утонченного романиста, появляющегося на литературной публике гораздо реже, чем на страницах «толстых» журналов. И многие думали, что держит он себя так скрытно из-за какого-то капризного высокомерия... Впрочем, и оно было в его натуре, не доверявшей никакой случайной задушевности. Но дело было вовсе не в капризах, а в том, что существовал и другой Лапутин, тот же самый, но другой, — Лапутин, у которого не было ни минуты свободного времени, который ездил на дорогих автомобилях, был щегольски одет, благоухающе выбрит, оснащен спутниковым телефоном, где гостили голоса кинозвезд, банкиров, всевозможных «львов» и «львиц» московского света, — такой Лапутин, которого называли исключительно Евгением Борисовичем и который был самым модным в Москве пластическим хирургом. Но был, разумеется, и просто Женя, который в помятых шортах и куцей футболке, со щетиной на бледных щеках сидел под яркой лампой на кухне и сочинял какой-нибудь новый роман — «Приручение арлекинов» или «Мои встречи с Огастесом Кьюницем», изысканная стилистика которых способна была убедить, что он встречается для утонченных бесед и с самим Набоковым в какой-нибудь неощутимой реальности.

Вот этот-то ветреный Женя и сфабриковал письмо Набокова — сочинил его так проникновенно и так выверенно, что Набокову, воскресни он неурочно, пришлось бы, пожалуй, припомнить, что он действительно написал это письмо, вот только события, изображенные в нем, запомнились. «А раз запомнились, то надобно их придумать», — добавил бы еще Набоков, который, как уверял меня Лапутин, и сам бы, раздухарившись, принял участие в этой мистификации по поводу своей персоны.

В марте 1995 года блок «архивных» материалов под общим названием «Как Набокова принимали в Союз писателей» вышел в свет.

За рубежом на эту «сенсацию», насколько мне известно, было немало откликов. Материал был помпезно перепечатан в какой-то мюнхенской газете, о чем нам сообщил московский корреспондент другой немецкой газеты «Зюд Дойче Цайтунг» Томас Урбан. При встрече он рассказывал с радостным ужасом, что поверил во все подчистую и уже отправил полосу «ЛГ» с соответствующими комментариями для перепечатки в своей газете, — но успел остановить перепечатку в последний момент, когда случайно заметил маленькое несоответствие (уступку Латыниной газетному начальству): в верхнем колонтитуле пятой полосы стояла еще не наступившая дата 1.IV.95, контрабандно проникшая в будничные мартовский день...

Одно только огорчало мистификатора Басинского — что не было «внутренних» откликов. Публика равнодушно поверила в вымысел, и более ничего.

«Вот какая сейчас апатия! Вот какое безразличие к литературе и ее истории! Вот это-то я и хотел доказать!» — восклицал Басинский.

Что ж, он был склонен не только мистифицировать читателей, но и придумывать задним числом какие-то «общественные задачи» для этих выходок.

Его самой фантастической *эстетской* выходкой было изощренное уничтожение книги с моими рассказами в 1996 году. Он готовил тогда сборник русской прозы для какого-то кельнского издательства и попросил у меня мои рассказы. Я дал ему их в книжном виде, с тем чтобы он снял ксерокопию. Когда же я позвонил ему через некоторое время и попросил вернуть книгу, он ответил мне буквально следующее:

— Понимаешь, Влад, тут такая история случилась. Моя собачка... ну, такая маленькая комнатная собачка... я недосмотрел за ней — лежал на диване... а она вот сгрызла книгу... ну, съела, понимаешь?.. Там же клейстер, а он, знаешь, аппетитно пахнет для собачки...

Что я мог ответить на это? Ничего. Я мог только подумать с грустью: «Вот он! Вот он, настоящий московский барин-эстет! Лежит себе на диване! Окружил себя книжками! Собачками! — мать их так!.. И собачки у него там поедают сочинения «настоящего, природного русского казака».. А где же природный волжский мужичок?.. Нет его уже! Нет!»



Как просто уйти в небеса...

Дикие лебеди

Покуда Элиза рубашки плела,
покуда молчала и, петли считая,
ждала, что опустится белая стая
(а может быть, даже уже не ждала),
покуда на площади вились дымь
и пламя играло, готова спасенье
стране — от Элизы, а ей — от тюрьмы,
покуда уже собралось население,
покуда король изменялся в лице,
но знал, что ему государство дороже,—
я тоже молчала и верила тоже,
что кто-нибудь правду напишет в конце.

Покуда Элиза глядела на мир
с бессильною жалостью — вовсе не с гневом,—
я думала: чуда не будет под небом,
пока мы еще пребываем под ним.

Покуда толпа осаждала ОВИР
и делала справки про то-то и то-то,
я долго и нудно искала работу,
не веря в другой, полусказочный мир.

Покуда толпа осаждала ОВИР,
кричала про цены, летела до Вены,
я до-о-лго жила.
Я не резала вены,
не лезла в пролет междулестничных дыр.

И лишь иногда, среди белого дня
заснув (потому что устала до коллик),
я слышала: видно, она алкоголик...
Иначе — как спать среди белого дня?

Еще наркоманкой считали меня —
за то, что глаза мои вечно блуждали
то в небо, то в землю.

¹ Стихотворение Виктории Волченко «Пока Эвелина рубашки плела...».

Но это детали.
А, в общем, я просто рубашки плела.

Покуда Элиза рубашки плела,
покуда молчала — ни вздоха, ни крика, —
раскрылась красивая детская книга
и страшная сказка на землю пришла.

«Пока Эвелина рубашки плела,
беда в ее доме сменялась бедою...»¹
И вот, наконец, я почти молодой
до гибели целой страны дожила.

Такого конца я, увы, не ждала.
Но чудо уже не имеет предела:
о дикие лебеди, в этом ли дело,
что я наконец-то рубашки сплела?

Когда Эвелина рубашки сплела,
страна, словно крылья, сложила границы.
Над Красною площадью таяли лица
безумных... В костре остывала зола...

Элиза промолвила: «Богу хвала,
ни дыма, ни чада, ни глада, ни мора...»

А мне-то что делать?
Сгореть от позора
в стране, моим гневом спаленной дотла?!
Я чуда такого, увы, не ждала.
Рубашки плести я уже не умею.
Я только немею и молвить не смею
всю правду — откуда погибель пришла,
когда Эвелина рубашки сплела...

Железная дорога

Что делать,
я опять пишу про пыль вокзала,
про монотонный гул
у пригородных касс,
про свой любимый цвет
асфальта и металла,
про запах сигарет
и тамбур в поздний час...

В редакции носить
поэзию такую —
копеечку просить
с протянутой рукой:
как мрачен этот стих,
Но Бог меня простит —
мне страшно быть другой.
Мне страшно быть другой,
когда в полночный тамбур
ползет колючий свет
лучами шевеля,
а электричка мчит,

выстукивая ямбы,
дождливого страной
в холодные поля.

Мне страшно быть другой —
закрывать глаза и уши,
чтоб только со стихов
проклятие ушло... —
мир доверяет мне
свою большую душу,
я на нее смотрю
сквозь мокрое стекло.

Она молчит в ночи
равниною туманной,
раскинулась во сне
на север и на юг...
И кто-то шепчет мне:
подумай, негуманно
тревожить мир... Молчи —
неизлечим недуг.

И я смотрю в поля,
я лбом в окно вжимаюсь,
и капли сквозь стекло
текут в мои глаза.
Еще чуть-чуть — и все:
поверю и раскаюсь,
и выдохну строку:
ничем помочь нельзя.

...Холодные поля —
навязчивым виденьем.
Надеты провода
на черные кресты.
Прости, моя земля,
что с каждым поколеньем
сгущается беда,
огромная, как ты.
Когда во времена
доносов и наветов
твоих родных детей
топили, как котят,
ты, в страх погружена,
забыла про поэтов
и родила таких, которые молчат.

В тебе растет беда.
Во мне — зерно иудье.
В ушах стучит покой,
не превращаясь в крик.
Дотронусь ли строкой
до твоего безлюдья?
Дотронусь — и сама
ты вырвешь мне язык...

Я, как и ты, страна,
в бессилье растворяюсь.
Мне чудятся одни
снега, снега, снега,
огни, огни, огни... —
и я в тебе теряюсь,
и мы больны одним —
разрушена стена.

Я о тебе пишу,
но это бесполезно.
Я, как и ты, молчу,
я, как и ты, боюсь,
я, как и ты, лечу
дорогою железной,
пока в конце пути
в ночи не разобьюсь.

Я разобьюсь,
а ты
останешься больною.
Я высоко взлечу
и, отводя глаза —
чтоб не смотреть, как ты
прощаешься со мною,—
я выдохну строку
«прекрасны небеса»...

Не вспомнят обо мне
те, для кого писала.
Бесследно голос мой
в твои поля ушел...

Прости меня, страна...

* * *

Как просто уйти в небеса,
пробившись сквозь черное что-то,
стеклянные вставив глаза
и крылья надев для полета.

Как просто при жизни не жить,
питаясь сверкающим светом.
Как просто и весело быть
великим холодным поэтом!

...Когда возвращусь я потом,
то дверь моя будет закрыта.
А если открою свой дом,
то все будет в доме разбито:

И съедены молью пальто,
мышами обгрызана мебель...
Меня не узнает никто,
проведшую годы на небе.

И будут все окна в пыли,
и будут растеряны дети:
они без меня подросли,
а я не успела заметить...

Но крылья уже сожжены,
и так одиноко и страшно,
как будто пришла я с войны,
считаясь безвестно пропавшей...

* * *

...И обожги презрением холодным
тех, кто придет, прикинувшись голодным,
чью душу иссушает сатана...
тех, кто, тебя увидевши, прельстится
и над тобою коршуном вскружится,
и принесет дешевого вина.

Скажи им, нищим, ты хоть четверть слова,
а не поймут — так повтори им снова,
что стыдно слушать их пустую речь...
Что ж ты сидишь и смотришь не мигая,
на вид проста, а изнутри такая,
что можешь гневом до смерти прожечь...

А тут еще они возьмут гитару,
и миг тебе покажется кошмаром.
Но музыка, не слышная другим,
звучащая в тебе, совсем иная,
к щекам прильет, и ты, сама не зная
зачем,
невольно улыбнешься им...

Тогда они начнут последний приступ,
как всадники, что с гиканьем и свистом,
во время оно Киевской Руси —
треклятые татары и монголы! —
врываясь в наши города и села,
тебя хотели вывалить в грязи...
Заговорят загробно, как на тризне,
заученный рассказ о горькой жизни,
о том, как одинока их душа,
и все острее в тебя вонзая взоры,
и все быстрее тебя ведя к позору,
над головою вороном кружа...

И не понять им — нищим и убогим,
что — создана не дьяволом, а Богом —
ты в мир сошла и мир собой спасла...
но что, тебе доверив эту тайну,
чтоб ты ее не выдала случайно,
Господь навеки затворил уста...
что в этом мире — надвое разбитом —
чужим словам, чужим ветрам открыта,
в себе не в силах жалость побороть,
лишь для того ты выглядишь телесной,
чтоб одарить их жертвой бесполезной,
которую вручил тебе Господь...

* * *

*И милосердья редкий дар впустую
растратишь ты...
Анатолий Богатых*

Я река. Я теку и мелею.
По камням, разбиваясь, лечу.
Я легко вас люблю и жалею,
даже если жалеть не хочу...

Не ищу я любви и свободы,
не хочу я как птица летать.
В эти теплые летние воды
окунуться любому под стать.

Я такая, я очень плохая:
доброта моя — чистый расчет.
По пустынным полям протекая,
я втекаю, куда повлечет.

Но куда еще вы живые,
дорогие друзья и враги,
будто раны на мне ножевые
остаются все ваши глотки...

И покуда вам кажется просто
возвратиться, чтоб снова испить,
поднимаясь до вашего роста,
я в себе вас могу утопить.

Я такая, я очень плохая:
я забыть и простить не могу.
Я река без конца и без края,
я теку, и теку, и теку...

Надо мною сгущаются тучи,
и на дне моем водорослей тьма.
Я вас черной тоскою замучу,
вы со мною сойдете с ума.

А когда тебя так любят
эти маленькие перы —
эти тонкие ресницы
и голубизна в белках,
а когда тебе так верят
твои маленькие дети,
надо жить на этом свете
и не думать о веках...

Я река без конца и без края —
никого не могу я согреть.
Я такая, я очень плохая:
доброта моя — чистая смерть.

...И со дна моего среди ночи,
успокоясь под тяжестью вод,
будут ваши стеклянные очи
на зеленый глядеть небосвод...

Ваша тень, ваше зреньё пустое,
ваша боль, ваша песнь, ваш пророк, —
я питаюсь, как вы, пустотою
между этих немислимых строк.

* * *

Не укрыться в черной раме —
чувство долга...
что ж поделать...
Надо быть живою мамой —
остальное все равно.
Как разбойник с кандалами,
пусть душа смирится с телом.
Ей на этом свете долго
проболтаться суждено...



Всеволод ИВАНОВ

«Во время войны приходит пробуждение...»

ТАШКЕНТСКИЙ ДНЕВНИК. 1942¹

Дневники моего отца Всеволода Вячеславовича Иванова охватывают большой период времени — от предвоенных лет до начала шестидесятых годов. Но внутри этих записей выделяется период первых лет войны, когда — в особенности в эвакуации в Ташкенте в 1941 — 1942 гг. и после возвращения из Ташкента в Москву в 1942 — 1943 гг.— Всеволод Иванов вел дневник систематически. Среди дневниковых записей этого времени есть и свидетельство о разговоре автора с К. И. Чуковским, который тоже вел дневник (недавно напечатанный). В этой беседе Иванов говорит, что он ведет дневник о себе и для себя. Автобиографический элемент в дневнике несомненен. Но вместе с тем именно как документ о писателе, на себе испытывающем трудности печатания и взаимодействия с советской цензурой, редакциями газет, журналов и издательств и с Союзом писателей, этот дневник перерастает рамки «записей о себе» и становится общезначимым. Заметим, что в период, о котором идет речь, Иванов стремился написать роман, который соответствовал бы духу времени. Тем не менее это его произведение натолкнулось на сопротивление большого числа чиновников, от сравнительно малозначимых редакторов до Щербакова — одного из главных идеологических помощников Сталина. В разговоре с Щербаковым по приезде в Москву из Ташкента Иванов почти ни в чем с ним не соглашается. Безответным остается и обращение к самому Сталину (который в 20-х годах с вниманием относился к раннему творчеству Иванова). Роман Всеволода Иванова «Проспект Ильича», описывающий оборону города в степи в первый год войны, так и остался полностью не изданным (печатались только отдельные главы из него).

Писатель горько переживал свою парадоксальную судьбу: объявленный классиком советской литературы в пору успеха «Бронепоезда» во МХАТе, он к тому времени, которое зафиксировано в дневнике, постепенно все больше теряет надежду увидеть последующие свои произведения напечатанными (большая часть их будет опубликована посмертно, некоторые вещи до сих пор еще ждут издания).

Судя по нескольким обращениям к будущему читателю, дневник (или некоторые его части) писался не только для себя, но и для следующих поколений. Поэтому его издание соответствует воле автора. Что может быть особенно интересно для современного читателя в этих записях более чем полувековой давности? Как мне кажется, прежде всего общая картина Ташкента и Москвы в первые годы войны, с многочисленными бытовыми деталями и пересказами разговоров и слухов. О последних надо сказать особо.

Одной из характерных черт времени был недостаток информации. Официальная ложь была преднамеренной. Понять из сводок, передававшихся по радио, и из газет, что именно происходит на фронте и в отношениях с союзниками, было крайне трудно. Приходилось многое домысливать, расшифровывая умолчания

¹ Печатаются книжки 1 — 5.

или намеки, на это уходило немало умственных усилий, отраженных и в дневнике. Были люди, как часто упоминаемый в московской части дневника Б. Д. Михайлов (бывший работник Коминтерна, с Ивановым сблизившийся во время совместной предвоенной поездки в Финляндию и страны Прибалтики), занятые почти исключительно анализом складывающейся внешнеполитической ситуации и соответствующими прогнозами. Они оказывались нередко ошибочными, что отмечается и в дневнике. Число ложных слухов или преувеличений, порожденных отсутствием или недостатком информации, может показаться поразительным. Но это была характерная черта времени.

Дневник передает настроение не одного только автора, но и той литературной или — шире — художественной среды, с которой Иванов был связан. Часть знакомых литераторов, художников и артистов, о которых идет речь в дневнике, была дружна с Всеволодом Ивановым еще с довоенных лет, как поэт Перец Маркиш и великий актер Михоэлс, Б. А. Пастернак и художник П. П. Кончаловский (сцена в его мастерской, где он писал мой портрет, переговариваясь с моим отцом, принадлежит к начальной части дневника). Наряду с этими продолжающимися дружескими встречами в дневнике зафиксированы и начавшиеся расхождения: одним из близких друзей Иванова начиная с 20-х годов был Л. М. Леонов. В дневнике он сперва упомянут в связи с известием о том, как ему звонит Сталин, которому понравилась пьеса Леонова. А затем описано несколько московских встреч, во время которых нарастает раздражение Леоновым, уклоняющимся от серьезных разговоров. К числу писателей — соседей по Переделкину, — кроме Пастернака и Леонова принадлежал и Фадеев, с которым Иванов до войны был на коротке. В дневнике ташкентского времени отражен их разрыв: Иванов пишет Фадееву резкое письмо, порывая с ним после речи, в которой Фадеев возвел напраслину на своего старого друга, обозвав того дезертиром. Сходным образом развивались и отношения с В. Катаевым.

Писатели, оказавшиеся в эвакуации в Ташкенте, ощущали себя в некотором противостоянии центральному Союзу писателей. Это относится не только к Иванову, постоянно подчеркивавшему свое недовольство литературными чиновниками и сановниками, но и к преуспевавшему официально драматургу Погодину и даже к одному из наиболее отмеченных ласками власти советских писателей — А. Н. Толстому. В ташкентском дневнике отражена реакция Иванова и всей литературной среды Ташкента на запрещение пьесы Толстого об Иване Грозном. Толстой пытался выполнить официальный социальный заказ, представив Грозного как передового исторического деятеля. Хотя это делалось в соответствии с тем искажением исторической истины, на котором настаивал Сталин, пьеса Толстого вначале была отвергнута цензурой. Ее тяготы в то время испытывали не только писатели, державшие ослушаться начальства, но и те, кто все время готов был к примирению и компромиссам. Переданные в дневнике настроения авторов были пессимистическими и резко противоречили официальному оптимизму их сочинений; едва ли не самым ярким примером может послужить Погодин.

Разобраться в том, что на самом деле думал каждый из упоминаемых в дневнике известных деятелей нашей культуры, совсем нелегко. Понятно, что в разговорах многие из них соблюдали осторожность. Поэтому обилие негативных высказываний, отмеченных в дневнике, заставляет думать об очень далеко зашедшем внутреннем кризисе, охватывавшем многих из писателей, окружавших Иванова. Он сам очень отчетливо формулирует невыносимые условия, в которые поставлен писатель. Но его отношение к режиму в целом в дневнике остается двойственным (особенно это видно в записях, относящихся к послевоенному времени).

Для историка наиболее интересными могут оказаться подробности быта, сообщаемые в дневнике, включая цены (не только на продукты, но и на книги, остававшиеся главной любовью Иванова и в ту пору, когда из-за безденежья он вынужден был начать продавать часть своей замечательной книжной коллекции). Перед читателем проходит множество встреченных Ивановым людей — раненые в госпитале, узбекские крестьяне в кишлаке, актер Качалов, идущий за одеколоном в аптеку. Эти случайные зарисовки и портреты составляют едва ли не глав-

ную художественную прелесть дневника. Любовь Всеволода Иванова к природе и его умение ее живописать всего виднее в описании того, как Россия открывается ему при полете самолетом из Ташкента. Но дневник при всем литературном профессионализме автора далек от чисто стилистических украшений. Если места в рассуждениях Всеволода Иванова можно заметить следы того приподнятого стиля, который характерен для его прозы поздних лет, то отдельные наиболее удачные зарисовки картин, иногда крайне мрачных и автора удручавших (как похороны художника И. Н. Ракитского), относятся к числу достижений автора.

Бытовые детали и пересказы услышанного перемежаются в дневнике с записями, касающимися прочитанного. Всеволод Иванов читал быстро и много. Его огромная библиотека, частично сгоревшая во время постоа солдат на даче в первый год войны, составляла предмет его забот; часть книг перемещалась вместе с ним, другие он покупает, если есть деньги. Его литературные вкусы связаны с противостоятием официальному натурализму; достается даже Льву Толстому и Герцену (хотя последнего, сколько помню, он не раз перечитывал потом и хвалил как стилиста). В продолжавшихся сквозь всю жизнь философских чтениях стоит особенно отметить интерес к буддизму, во время войны усилившийся. Буддизм, как и во время написания ранней повести «Возвращение Будды», для него был вершиной человеческой мысли. Я думаю, что ему близко было отрицание суеты мира, стремление от него удалиться. Оттого едва ли стоит в его сочинениях видеть прямые отголоски этого мирского шума; если он его и воспринимал, то опосредованно, прежде всего через свое искусство. И публикуемый дневник трагичен прежде всего потому, что в нем ужасы войны, отзвуки ленинградской блокады, испытания партизан и солдат на фронте составляют фон драмы художника, обреченного на неравное противостояние чиновникам, не дающим ему выполнить его жизненную задачу. В одной из записей для себя Иванов заметил, что во время войны приходит пробуждение. В Москве снова, как за двадцать лет до того в Петрограде, собираются «Серапионовы братья», преданные искусству прежде всего. И Всеволод Иванов среди них всего настойчивее в своих поисках свободы для художника. Он с увлечением пишет первые главы сатирического романа «Сокровища Александра Македонского», остающегося незавершенным (главы напечатаны посмертно). Этот взлет военных лет оказывается кратковременным. Дневники последующего времени, становящиеся все более отрывочными и лаконичными, запечатлели усталость писателя, чьи вещи ненапечатанными скапливаются на полках шкафов в его кабинете. Когда будут полностью изданы не только дневники, но и многие фрагменты брошенных и незавершенных произведений Иванова (таких, как роман о «шаманском бубне», упоминаемый в дневнике), его творчество предстанет по-новому и можно будет оценить связь этих сочинений поздней поры с лучшими рассказами времени «Тайного тайных», которые навлекли на писателя гонения и десятилетиями не переиздавались.

Вяч. Вс. ИВАНОВ

4 июня. Как волна, раскатились сегодня по городу подробности бомбежки англичанами Кельна, рассказанные вчера А. Толстым на заседании редколлегии «Советского писателя». Когда я стал оживленно повторять этот рассказ Тамаре¹ и упомянул о гибели Кельнского собора, у нее на глазах показались слезы. Приблизительно то же самое, но по-другому рассказал Погодин, с которым я обедал в столовке: «Мы грустим, что сегодня не разрушили еще одного города. С точки зрения 1913 года мы сумасшедшие». Добыли кофе. Писал усиленно: 14 страниц — и не заметил, но вообще-то от жары тяжело. Словно в голове сверлит винт. Пять дней, как уже приехали наши из Чистополя, но только сегодня получили от них телеграмму, посланную с дороги из Оренбурга.

¹ Иванова Тамара Владимировна (1900 — 1995) — жена Вс. Иванова, была актрисой в театре Вс. Мейерхольда, переводчик, автор двух книг воспоминаний «Мои современники, какими я их знала».

Два дня назад похоронили Ивана Николаевича Ракитского. Он знал много о Горьком и все унес в могилу. Из морга выносили гробы, подъезжал ослик. Ждали оркестр. Наконец появились дроги. Возница, вероятно вежливый — словно баптист, — подошел и сказал, указывая на одну из кляч: «Вот та, помоложе, стоит, а эти уже упали, бедняжки. Они на подножном корму. Прикажете ехать?» Оркестр так и не появился. Поехали. Впереди тоже кого-то несли — да и позади. Пыльно. Заболела от жары голова. Колымага качалась на рытвинах, и однажды гроб чуть не свалился — благо художник Басов подхватил его. Спорили у могилы — всем показалось, что могила коротка, и сомневались, выдержат ли тряпичные веревки тяжесть гроба. Могильщик и его жена в красной юбке лопатой мерили гроб и могилу. Закопали. Появились такие запыленные нищие, что нельзя было отличить мужчину от женщины. Они ходили, просили: «Беженец, копеечку». Оказалось, что они живут здесь, на кладбище. Уже могилу закапывали, когда тот же проворный Басов догадался призвать оркестр «с соседнего покойника». Молодые оркестранты в парусиновых штанах и темных рубашках, с инструментами в чехлах. Кто-то сказал пьяным голосом: «Давай Шопена». Сыграли два отрывка и ушли. Ушли и мы. Кладбище грязное, запущенное, одна из присутствовавших на похоронах шла рядом со мной и жаловалась, что совет отпустил кладбищу 45 тысяч на ремонт, а они ничего не сделали — только на главной аллее посадили тополя. А мне было совершенно наплевать на все это, на весь этот ремонт! Пришли к Пешковым. Оказалось, Толстой потому не был на похоронах, что расхворался. Кто-то тихо высказал предположение: «Из-за запрещения “Ивана Грозного”». Выпили красного вина, съели по разрезанной котлетке и ломтику хлеба и пошли домой, причем я был полуживым, так как очень устал.

И. Н. Ракитский в молодости был очень богат, но, по словам Горького, растратил все свое состояние на раскопку скифских курганов. Не знаю, так ли это, но похороны достойны раскапывателя курганов.

Вчера получил телеграмму от Николая Владимировича¹, из которой явствует, что Луков покинул Москву. Стало быть, «Пархоменко» так и не просмотрен Сталиным. Боюсь, что и до конца войны не посмотрит. Луков уехал в Москву 22 апреля. <...>

7 июня. Весь день спал и бездельничал. Вечером пошел к Погодину. Все, кто проходит мимо, спрашивают друг друга о том, как реагирует А. Толстой на статью Храпченко, где Толстой обвиняется в искажении образа И. Грозного. И тут же Погодин с восторгом передавал то, что придумал в сценарии Эйзенштейн. И ходил Луговской, очень гордый тем, что по мыслям Эйзенштейна написал стихи. Ему мучительно хотелось выпить. Мы, Погодин, Регинин и я, сидели в столовой. Луговской пришел якобы с тем, что хочет позвонить по телефону, и затем сел на подоконник. Погодин, только что говоривший о хамстве и приспособленчестве Толстого, не пригласил к столу Луговского, а один пил водку. Луговской внутренне, наверное, бросил: «Хамы!» — и ушел боком. Пошли домой, Погодин провожал нас два квартала и говорил мне: «Я повешусь, ей-богу, повешусь, если будет так продолжаться. Ни машины, ни денег. Сейчас сели бы, поехали к умным, красивым и стоящим девушкам».

Сладострастием своим он мне в те минуты напомнил очень Л. Никулина, который ревновал меня к своей сестре. <...>

9 июня. Позвонил Мачерет и сказал, что завтра в 8 вечера Большаков собирает кинематографчиков — просят меня. Надежда Алексеевна (Пешкова. — *Е. П.*), пришедшая вечером, говорила, что она слушала Большакова, которому в «Пархоменко» не нравится Луков. Басов предложил ехать с разведчиками недр — как раз то самое, что хотелось мне. Получил письмо от Б. Д. Михайлова и очень обрадовался, ибо из двух мест мне уже сообщили, что он умер. <...>

Тот же сценарист, который передавал мне глупый сценарий, высказал намек, предположение: а) немцы будут навязывать нам юг, б) мы пойдем на запад: Витебск — Минск, в) Харьков и вообще Украина — только демонстрация, так как фашисты внесли смуту в настроение украинского мужика.

¹ Михаловский Николай Владимирович — брат Т. В. Ивановой.

Погодин говорил: а) танки собраны немцами для нового наступления на Москву, б) Сталин давал будто бы ультиматум об открытии Второго фронта, в) Второй фронт откроется в Германии — Гамбурге и в подобных местах, как только американцы подвезут войска и самолеты, а все остальное — Франция — демонстрация. Мысли очень смелые.

10 июня. Днем просто лежал и читал «Теорию права» Петражицкого. Вечером слушал Большакова, который, говоря, подражает Щербакову. Хороший фильм «Пархоменко», сказал он между прочим. Я, ожидая его речь, сидел в ограде на земле и разговаривал с Ереминым, студентиком. Рассказ его только что читал. Говорили, что поляки поймали английское радио, 2000 английских бомбардировщиков будто бы разрушили Берлин. Доклад невыразимо скучный, и мне стало стыдно, что я еще ожидал чего-то другого. Затем пошел к Толстому и напился. Толстой ухаживал за заместителем Коваленко, поил его вином, а тот хам, в белом костюме, величественно вякал. Ужасно!

11 июня. Читал «Теорию права». Роман лежит направленный. В 4 часа дня внезапно для этих мест пошел сильнейший дождь. И сейчас небо в тучах и накрапывает. За обедом Янчевецкий сказал, что Бунин плохой писатель. Янчевецкого пригласили выступить, а я так плох здесь, что меня и не приглашают: этот митинг почему-то в 9 часов вечера — о Ленинграде и о письме Жданова. В сводке появился Харьковский участок. Мы по-прежнему ничего не знаем.

12 июня. Читал Канта. Вчера был профессор Беленький, осматривал, выслушивал меня. Затем заговорил и не мог остановиться. Сказал, что коллекционер, если некоторые собирают, скажем, марки, то он коллекционирует встречи с людьми. Но говорил он преимущественно о себе — кто знает, может быть, это лучший способ коллекционировать приятные встречи.

Вчера ночью услышал, но не разобрал «письмо Черчилля к товарищу Сталину и ответ», а утром узнал о подписании нового договора, из которого следует, что будет Второй фронт. Судя по сводке — Харьковский участок, немцы нажимают, чтобы расквитаться с нами до того, как откроется Второй фронт. Экстренный выпуск «Правды Востока». Ночью пришел пьяный Ключарев, его угостили вином, и он уснул в кресле. Позвонил счастливый Луков: приехал — и рассказал что-то по телефону о «Пархоменко». Заходил В. Гусев, сказал, что А. Толстой запрещение «Ивана Грозного» относит за счет Немировича-Данченко.

13 июня. Час. Сидим в задумчивости, не зная, как отправить домой Ключарева. Поет радио. Программы другие — как будто веселые. Память такая стала, что на другой день уже не помнишь, что происходило вчера (пишу 14-го). Днем исправлял роман, затем — столовка, чтение Канта, которого прислали из Москвы. Вечером — Луков, «Золотые пуговицы»¹, Богословский, Гусев. «Лысо-финский фронт, Кости финского фронта», — так острит Богословский, ибо К. Финн, тоскуя, ходит под окнами. Луков неизмеримо горд и называет Богословского «тыловым музыкантом». Луков о Москве сказал только, что три раза бомбили, вернее, была зенитная стрельба, и что в ЦДР кормят лучше, чем здесь в совнаркомовской столовке, и еще, что он видел «Диктатора». За пределы столовки, зениток и кино он не выходил — да и зачем ему это? «Золотые пуговицы» и Богословский относятся к Лукову так почитательно, как Эйзенштейновцы к Эйзенштейну. Разговора о войне не было совершенно. Луков почему-то многозначительно просил помочь сценаристу в разработке сценария о Туле. «Вам сразу выplatят деньги», — сказал он. А денег в семье нет настолько, что жена Вирты, опасаясь, что деньги пропадут, просила вернуть долг. Получил из Узгосиздата предложение прийти и подписать договор на «Прспект Ильича». Для получения этой бумажки сколько должно было бы произойти разговоров о моем таланте, бедности, беспомощности и даже уме, с чем все реже соглашаются литераторы. И все это для того, чтобы я получил сумму, на которую базар даст 4 — 5 кило масла. Получение погиражных за «Пархоменко» должно быть появлением «Кремля». Пьеса <рзб.> «Ключи от гаража» не определяет ничего — будет «Железный ковер».

¹ Ассистент режиссера Л. Лукова. Приходил вместе с Л. Луковым к Вс. Иванову в куртке с золотыми пуговицами, за что и получил в семье Ивановых такое прозвище.

14 июня. Получил книги: М. Рида, Канта и Платона. Гулял. Затем уже, когда смеркалось, пошли смотреть картину американскую о каком-то композиторе-джазбандисте. Было темно во дворе и внутри здания, очевидно, для того, чтобы не привлекать посторонних, картина рвалась, композитор — переводчик картины что-то рычал... но вообще-то все было крайне удивительно: ателье звукозаписи величиной с гараж на 3 машины, выбоины, грязь, арыки — удивительный со своим неуничтоженным нравом старый город и странные суждения людей. Жанно, пошедший в польскую армию и ушедший оттуда, потому что она фашистская, антиеврейская, и не испытывает ненависти к немцам, а больше к нам, потому что у них «внутренняя боль — лагерная, которая им ближе». Поляков отправляют в Сирию. Они увезли с собой Театр миниатюр, джаз-банд, который я видел в Львове (вот так тема), продают ботинки, чулки и прочее, что им высылают из Англии. Тут же Н. Эрдман, мобилизованный «по ошибке», служащий в ансамбле НКВД, обретающемся в Сталинабаде. Регинин, который сказал по поводу американского соглашения: «Будет!» — и все молчат об этом соглашении, ибо не знают, в каком же размере можно говорить.

17 июня. Утром оказалось, что на трех наших сарайчиках взломали замки. Украсть ничего не могли, так как там ничего нет. За наше пребывание здесь — это третья кража.

Вечером по просьбе Крайнова и Майорова пошел посмотреть «Питомцы славы». Здесь слабость, которая меня мучит с добрую неделю, овладела мною настолько, что я не мог сидеть в зале и ушел после первого акта. Но, судя по первому акту, — оперетта. У всех ожидание сессии Верховного Совета, которая, как говорят, откроется завтра. Маникюрша, приходящая к Тамаре, удивляется: «Как же так? Сколько дней подписано уже соглашение, а Второго фронта все нет?»

18 июня. Исчезло Харьковское направление из сводок. Что значит? Сегодня предстоят два выступления на вечерах памяти М. Горького. Выступил на одном, на второй уже поздно. Но, как и на этом, так и на том, публика отсутствовала, да и кому интересно идти на эту скуку? После этого — в темноте — пошел к Екатерине Павловне (Пешковой. — *Е. П.*). Сидели там все с грустными лицами, патефон крутил Мендельсона, на подоконнике стояло три бутылки вина. Все и без того были грустные, а Екатерине Павловне хотелось еще больше грусти. Появился Чуковский, бледный от двойного испуга: попал в арык и боялся утерять «Чуккокалу». Затем, болтая, сказал Надежде Алексеевне:

— А я из-за вас пострадал. Услышал, одна знакомая сказала, что «у Корнея Ивановича в дневнике что-то есть. Он пишет. Он злой». Это говорилось у вас в присутствии Ягоды. Я увез дневники в Киев и прятал их вдоль Днепра. А у меня в дневниках нет политики. Я только об искусстве. У меня нет ни за, ни против Советской власти.

В саду ДКА встретил Бабанову. Она, как и остальные актеры, не смотрела на меня — наверное, узнала, что я ушел с первого акта.

Я смотрел на фотографии, показанные Екатериной Павловной, — молодой Горький, Екатерина Павловна и дочка — или сын? — и думал: «Талант талантом, но тот строй все-таки давал возможность хранить внутреннее достоинство, а наш строй — при его стремлении создать внутреннее достоинство, диалектически пришибает его по очень простой причине: если окружение, то военный дух, если военный дух, то какое же внутреннее достоинство? Откуда ему быть?»

19 июня. Утром радио: речь Молотова на сессии ВС. Страна, мне думается, ждет Второго — и напрасно. Но вас теперь несут не речи, а течение жизни, от которой речи отстают. Так же, как если бы бежать за горной рекой, за ее течением. Приказ о регистрации мужского и женского населения. В «Белом доме» — истерика. Погодин сказал: «А я не пойду, я хочу жить в демократической стране и распоряжаться сам собой». Он был пьян и очень горд, что хочет ехать в Москву. Пришел Гусев — жаловался на Вальку Катаева, который не любит свою семью и семью Петрова, который суть загадочный человек. Но сам Гусев не менее загадочен — он так пишет и так говорит, что это строка в строку идет с передовой «Правды», — и это уже большое искусство. Что он сам думает — кроме вина, — не поймешь. Мне кажется, что, если бы в передовой «Правды» запретили вино, он, несмотря на всю страсть свою к этому напитку, не прикоснулся бы к нему. Очень рад

Комка¹ — мать заняла где-то 2 тысячи рублей,— а парень страшно страдал без денег. Мы уже должны 5 тысяч рублей. Дожди кончились. День ветреный и солнечный. Правил роман. Очень обрадовался, что по экземпляру машинистки выходит 400 — 450 страниц, т. е. листов 18! «Золотые пуговицы», больной, хромой, забыл вчера пузырек бензина и теперь, хромая, несет его Лукову. Злоба на колхозников: «Дорого продают, а сделать с ними ничего нельзя. Они сдали государству, а за мое сколько хочу, столько и беру». Причем денег уже не берут, а меняют. Так оно и есть. Маруся меняет хлеб на ягоды для ребят.

Вечером у Пешковых поминки по Алексею Максимовичу. Екатерина Павловна не приняла бокала: «Здесь нет моего здоровья — это вечер памяти Алексея Максимовича». Тихонов и Эфрос вспоминали о Горьком. Тихонов — о предчувствиях, к которым был склонен Алексей Максимович. Тот был на Урале, с Чеховым, когда Алексей Максимович прислал телеграмму: «Телеграфируйте здоровье». Тихонов, приехав на Капри, спросил: «В чем дело, Алексей Максимович?» Тот объяснил: «Лег спать, вдруг входите вы, Фоксик под кроватью залаял. Дверь закрыта. Я обеспокоился и послал телеграмму». Эфрос рассказал о девушке, которая пришла к Алексею Максимовичу с просьбой, чтобы тот выдал ей удостоверение, что она невинна: жених ревнив и мог почему-то поверить только Горькому. «Ну, и как?» — «Выдал». А вообще-то было тоскливо и скучно, что-то в этом доме не ладится.

20 июня. Днем правил роман. К вечеру — слух о взятии Севастополя. Вечером были у Басова и Ходасевич, причем оказалось, что Басов очень разговорчив и преимущественно воспоминатель. Позже пришла седенькая, неряшливая и картавая женщина. Она врач. Рассказывала о любопытстве узбекских женщин — все ощупывают,— о их легкомыслии. Кажется, и она-то на старости лет не очень щепетильна: роман с Луговским. Он явился, выпил две рюмки и заснул, как всегда, сидя. Она увела его к себе. Мы просили прочесть его стихи к «Грозному» Эйзенштейна. Прочел. До того я слышал от Погодина и прочих, что стихи очень хорошие. А стихи-то совсем, совсем слабые. Избави нас, боже, от ташкентской похвалы!

21 июня. Подтверждения о взятии Севастополя нет. Но есть «ожесточенные бои с превосходящими силами». Правда, это нейтрализовано приветствием начальника гарнизона острова Мальта, но, очевидно, верно, что Севастополь пал. О дне падения наших городов мы узнаем по окончании войны. А почему об этом надо так упорно молчать?

Вечером сидел Гусев. Пили вино. Рассказывал он о том, как посетил раненого Рокоссовского. Генерал рассказывал, как обороняли Москву: «Немцы подошли, и дальше нет сил у них, видимо. Но все-таки наступают. Звоню к Сталину. Тот говорит — держитесь. Через два часа звоню еще. Тот отвечает: «Могу дать один танк и три противотанковых ружья». «У нас нет сил, Иосиф Виссарионович. У меня от **армии** осталась одна тысяча красноармейцев». — «Умирайте, но не уходите». Умираем. Через два часа звоню: «Не можем больше!» «Сколько вам надо?» — «Хотя бы 20 танков». — «Получите 200 и 3 дивизии». Подошли неизвестные (видимо, английские танки). Немцев отогнали.

Режиссер Театра Революции Майоров несколько дней тому назад в столовой рассказывал о своем приятеле, наркомне нефтяной промышленности, который **сам** отвозил английские танки (500!) — для спасения Москвы — на фронт. Он же рассказывал о переговорах с англичанами. Англичанин кладет один кусок сахара. Наши спрашивают: «Почему один?» «У нас Черчилль кладет один кусок на стакан», — ответил англичанин.

Художник Басов говорит, что он с начала войны отказался от сладкого.

22 июня. Болел после вчерашних излияний с Гусевым. Стамова, скульптор, только отмахивается от наших размышлений: «Писатели такие пессимисты». Много лет уже мы только хлопали в ладоши, когда нам устно какой-нибудь Фадеев преподносил передовую «Правды». Это и было **все** знание мира, причем если мы пытались высказать это в литературе, то нам говорили, что мы плохо знаем жизнь. К сожалению, мы слишком хорошо знали ее — и поэтому не в состоянии были ни мыс-

¹ Иванов Вячеслав Всеволодович (г. р. 1929) — сын Вс. Иванова — ученый, филолог, переводчик. Кома — его домашнее прозвище.

лить, ни говорить. Сейчас, оглушенные резким ударом молота войны по голове, мы пытаемся мыслить, и, едва мы хотим высказать эти мысли, нас называют «пессимистами», подразумевая под этим контрреволюционеров и паникеров. Мы отучились спорить, убеждать. Мы или молчим, или рычим друг на друга и садим друг друга в тюрьму, одно пребывание в которой уже является **правом**.

Погодин говорит:

— Сказывают, немцы взяли Липки (станция в 120—150 км от Царицына). Не знаю, везти жену в Москву или нет.

Янчевецкий:

— Везите. Она всегда может уехать обратно.

Лицо у Погодина серое и потное. Водки не пьет.

— Жара. Сто грамм не идет.

У Янчевецкого своя теория: немцы, в особенности на Харьковском направлении, пойдут до конца, т. е. пока не лишат нас нефти. На Запад они внимания обращать не будут.

Вечером слух о взятии Тобрука. Это приходил Зелинский, который ложится в больницу, так как он изголодался и не может ходить. В больнице кормят. Знакомые профессора укладывают туда своих друзей, а на профессоров доносят и пишут протесты.

Слух о Тобруке подтвердил Гусев. Еще недавно гарнизон Тобрука приветствовал гарнизон Севастополя.

23 июня. Окончил правку романа «Проспект Ильича». Поэтому послезавтра иду отдыхать в горы. Татьяна¹ два дня ждет машину, чтобы ехать слушать секретное радио, и едва ли дождетсЯ. В Стамбул, как говорила она несколько дней назад, съехалось много корреспондентов. Почему? Взятие Тобрука, по-моему, только сможет толкнуть англичан к открытию Второго фронта. Удивительная жара. Всеобщее молчание, ибо все слышали сообщение о наших потерях за год войны — 4 миллиона 500 тысяч! Да к тому же никто не верит, что цифра точная — больше!

24 июня. Погодин, хмурый: «Шесть гигантских танков спасли Ленинград. Это те, которые ходили в парадах. А больше не было. Харьковский тракторный — 40% нашей танковой промышленности погибло». Но и все хмурые, ибо напечатаны итоги войны и утром сообщили: «Отступили на Харьковском направлении». Так как в сообщении Информбюро брошена фраза о возможных неприятностях, Комка сказал:

— Впервые предсказание Информбюро сбылось.

Сборы на Акташ.

Письмо Щербакову и переделка статьи для «Узбекистан—Ленинграду».

Сценарист «Туляков», человек, изжеванный кинематографией, но настоящий. Впрочем, от кинематографистов только и остается в конце концов одна стойчивость. Между прочим, Радыш сказал, что Лукову поручено ставить «Московские ночи». Теперь мне кажется понятной сухость Погодина. Он стеснялся? Ему казалось, что он обижает меня, берЯ Лукова. Или мнение слишком тонко?

Тамара и Гусевы смотрели «Улан-Батор». Погодин сказал:

— На эту тему я видел только одну более худшую картину: «Амангельды».

25 июня. Четверг. Ложусь спать, с тем чтобы встать в 6 часов утра и идти на Акташ.

25—26—27 июня. Акташ. Водопад. Костер из ореховых деревьев. Купались. Альпийский луг. Желтые шиповники. Разведка — штольня, столбы из водопроводных труб, глиняные домики, начальник разведки, прораб, десятник. Санаторий. Больные — раненые в синих пижамах. Идем по жаре. Но всего душнее в поезде. Плотник-казах в костюме из мешка. Рядом узбек в халате, перекроенном из шинели. Ссора. Какой-то тоненький, с отверткой за поясом, ругается с узбеком. Человек без челюсти, больше никто не обращает внимания. Надо сказать, что русский народ действительно терпелив. Вечером в голове словно бродит пар. Читал логику Розанова «О понимании». Великолепнейший русский язык, а в системе, как и у большинства современных философов, — радость строительства системы. Когда в

¹ Иванова Татьяна Всеволодовна (г.р. 1919) — дочь Вс. Иванова, переводчик.

будущем философы научатся говорить в диктограф (да и диктографы подешевеют), системы будут совсем необъятны.

Щербакову отправлен роман.

28 июня. Воскресенье. Отдыхал. Читал Розанова и Бальзака. Вечером Д. Еремин читал свои стихи. Острил Богословский. А до того приходил пьяный Погдин, видимо, очень переживающий то, что едет в Москву.

Приезд Тани: Москву бомбят. Я сказал: «Они пойдут на Москву». Богословский: «Бесполезно, зачем им там класть свои силы». У всех «немцы не те». Дай бог. Но нам так нравится делать положение более легким, чем оно есть на самом деле: привыкнув терпеть, мы думаем все же каждый раз, что терпенью пришел конец, а значит, и страданиям: «Дурак — это тот, кто высказывает умные мысли».

29 июня. Появление Тульского фронта. Значит — идет на Москву? Рассказы Татьяны о радиостанции: 10 человек служащих и 88 охраны — узбеки. «Стой» часовые выговорить не могут, а кричат: «Ой, кто идет?» Питалась молоком и хлебом.

Не Тульский, а Курский. Что лучше?

Читал, усталый, Розанова.

Провожал Погодина в Москву. Погодину перед отъездом сказал Берестинский, поднимая бокал:

— Скажи в Москве, что бы ни случилось, Ташкент врагу не сдадим. Никому. Прибежал Родов. Хочет, чтобы я редактировал его книгу.

30 июня. Звонила Войтинская: почему не пишу в «Известия»? Помимо прочего, есть ли деловые отношения? Я сказал: деловых никаких, так как «Известия» мне ни копейки с февраля не заплатили.

1 июля. Волнение у Комки по поводу того, получим ли карточки у академиков. В доме академиков вахтер, но тем не менее у спящей жены академика стащили из-под кровати две пары туфель. К Екатерине Павловне пришла женщина, ее провожал милиционер, она дошла до Пушкинской — ее схватили загримированные и сняли часы, сумочки не взяли.

Сообщение о боях под Волховом. Мы-то ничего не знали о них! И теперь пойми, кто врет и кто говорит правду. Вообще информация наша, если она в какой-то степени характеризует строй, то не дай бог, — ужасно полное неверие в волю нашу и крик во весь голос о нашей неколебимой воле.

Читал Розанова. Пришел режиссер местного театра, принес пьесу «Железный ковер».

— Это произведение искусства. Но... театр — особое дело.

И очень удивился, что «произведение искусства» не печатают. По той же самой, наверное, причине — «особое дело».

Пришел Смирнов, бывший председатель ВОКСа. Парень, видимо, здесь голодает.

— Мы боимся победы, потому что после победы наши герои перебьют нас, потому что мы не герои, — сказал он.

Почерствели. Инженер шестидесяти трех лет сидел после тридцать седьмого два года в тюрьме. 18 часов стоял в попытке на коленях, и так как политические сидят вместе с уголовниками, то вдобавок «физики» избивали «интеллектуалов». Старик сух, собирает корочки. Будешь сухим! Вся мокрота выбита.

Женщине с кровотечением не дали места в вагоне трамвая.

2 июля. Библиотека — книги писателей! — закрыта, так как нужен кабинет Лежневу.

По определению Розанова — «типы» низшие (Обломов), «характеры» высшие (Гамлет).

Днем необычайно жарко. Собирался в издательство, чтобы поговорить о деньгах за роман (?), но не мог. Впрочем, «немогота» сия от безверия в возможность получения каких бы то ни было денег за роман. Это — романтизм.

Затем — обед. Бабочкин и Майоров, да еще скульптор с собачьей фамилией, вроде Фингала (Ингал.— *Е. II.*), и более глупый, чем самая глупая собака, наперебой говорили о рыбе. Скульптор доказывал, что есть рыба лучше стерляди, а затем Бабочкин стал рассказывать, как хорошо на Селигере.

Пили пиво. Затем стали вспоминать, где какое пиво и какие были вина и закуски. Смотрю я на свою жизнь, и удивительное дело — только и вспоминаешь о хорошем, сколько лет разрушаем и все никак не можем разрушить!

Слух о том, что Турция может быть оккупирована СССР, США и Англией и что поэтому немцы бьют на Египет, дабы оттянуть силы.

Каждый день неподалеку от столовой, у тополей, стоят рваные нищие, и стоят так прочно, словно стоять им здесь всегда.

В очередях: об академиках, которые «оттирают» от столовой докторов наук. Художник Шемякин, встреченный мной на улице, сказал:

— Я, знаете, вошел от этого питания в норму. Но теперь, говорят, отменяют это.— Но так как он верит только в хорошее, то он сказал: — Но, кажется, первую категорию не исключают.

Обед: опять распаренная пшеничная каша без масла на воде или нечто, слепленное из макарон.

3 и ю ля. Ужаснейшая жара. Чувствуется — она выше температуры твоего тела. Когда ходил в Узгосиздат, день казался тем бредом, который я испытывал в тифу. Купили для рыбалки удочки и сетки, из которых думаем сделать сачок. Роман читает Лежнев, но, по-видимому, боится читать, ожидая решения Москвы. У Джанибекова взял кофе. Когда я сказал, что хорошо от жары, он удивился:

— Разве помогает?

Вечером пришел Зелинский. Он действительно поправился в больнице. Просил посмотреть его комнату, он спит на полу. Два стула и чемодан. Из верхних окон льют помой.

Мишка¹ делает сеть, и ему глубоко наплевать, что уже идут бои на улицах Севастополя, что немцы в ста километрах от Александрии, что на Курском направлении, как сообщает вечерняя сводка, немцы ценою огромных потерь ворвались в крупный населенный пункт, может быть, это Воронеж. Вообще незнание у нас поразительное.

Встреченный Ржешевский бранил генералов. Их бранят всегда. А так ли они уж бездарны?

С утра, в 9 часов, Штраух едет купаться на Комсомольское озеро, затем читает и думает о постановке пьесы Каплера «Партизаны». Он старается не пить и не есть — хочет похудеть. Сегодня лицо у него огорченное.

— Что такое с вами?

— Выпил бутылку пива, не утерпел.

4 и ю ля. Голос у диктора вздрогнул, когда он сказал о падении Севастополя. Затем унылый некролог, в котором Информбюро пытается доказать — хорошо, что оставили Севастополь. На Курском направлении за день немцы потеряли 65 тысяч убитых и раненых и 250 танков. Наверное, эти цифры пропагандистские, но это прежде всего доказывает, что там свершается что-то великое. По-видимому, немцы рвутся к Волге и, может, даже к Саратову, дабы лишить Москву и Ленинград хлеба и нефти. Вчера, со слов актерской бригады, вернувшейся с ДВ (Дальний Восток.— *Е. П.*), передавали, что ДВ готовится к войне с японцами. Летчики спят одетыми.

Город удручен падением Севастополя. Подобные дни дают впечатление о народе. Причины, приводимые Информбюро, не помогают.

Все поверили, что отступления не будет, а теперь К. Чуковский говорит:

— Так как мы будем отрезаны от центра.— И, помолчав, добавил: — Пройший раз, когда отдавали Севастополь, произошла отмена крепостного права, дали свободу журналам, появились целые шестидесятые годы, а теперь... мы забудем о нем через неделю.

Позволили из Союза и предложили вечер: «Проспект Ильича».

А еще часа через два — Лежнев — путевку. Да, месяц отдохнуть было бы лихо!

5 и ю ля. Пишу в первом часу. Тамара и Кома пришли с «Русских людей» — высидели только две картины. Мишка собирает рюкзаки для рыбной ловли. Пришли, наладили рыболовные снасти, и у меня начался понос! Полежали несколько

¹ Иванов Михаил Всеволодович (г. р. 1927) — сын Вс. Иванова, художник.

часов под кустами ив, покрытых пухом, и пошли домой. Нарвали розового тамариску, шли с огромным трудом, но все же цветы не бросили. Когда вышли на дорогу и стал виден город, тучи дыма на западе, прикрывавшие солнце, чудовищно сильно покраснели. Краснота была такая, что даже пыль, поднятая возом на дороге, была красна, словно кровь, а тутовые деревья на берегу арыка похожи были на раны. Болели поясница, позвоночник, ноги одеревенели. Встретили рыбака, который нес огромную снасть, похожую на ломтик апельсина, увеличенный в миллион раз.

— Рыбы нету. Снасть хорошая, но не очень. Я знаю места, но поймал от силы килограмм на эту снасть, и то слава богу!

Мне показалось, что рыбак этот — символ моей жизни. Я тоже уверен, что у меня чудесная и ловкая снасть, но рыбы ловлю не больше килограмма. И то слава богу!

Напечатан в «Правде Востока» отрывок из романа «Проспект Ильича».

Известие о смерти Евгения Петрова. Конечно, покойник умер на посту, но я его знал хорошо, и покойный был если и идейный, то преимущественно своего устроя. Странно, но **все**, кто умеет и страстно хочет **устроить** свою жизнь, советским ли, легальным способом или же обычным буржуазным, те от страсти своей погибают. Сейчас **скудность** заключается не в том, чтоб копить ценности — золото, бриллианты, а в том, чтоб стремиться их заработать.

6 июля. Сражение у Александрии. Американцы сообщают, что счастье вернулось в сторону англичан, англичане отрицают.

Болит голова, изредка живот. С трудом прочел пьесу Володина «В декабре». Вывод: так как нам не позволено создавать действие **внутри** нашего быта, т. е. выводить противников, то естественно, что все занимаются партизанами — людьми, прямо в глаза сталкивающимися с врагом. Благодаря этому, думаю, будущий историк переоценит партизанское движение, если положение не спасут генералы, которым тоже хочется прославиться. Сообщение о возможности поехать мне и Мишке в санаторий. Но ехать надо, в худшем случае послезавтра. Как же я успею? Не в собирании вещей, а в психологической подготовке к отъезду.

К Петровым ходят посетители: были Лежнев и Алимжан и другие.

7 июля. Сборы в Шахмардан. Телеграмма из «Нового мира» о получении романа. Ужасающая по мрачности сводка: немцы у Воронежа. Видимо, они идут на Саратов, чтобы перерезать Волгу и все железнодорожные пути, соединяющие нас с Востоком и Кавказом. Жена Е. Петрова высказала вчера обиду, что я не выразил ей сожаления об убитом муже. Очень ей важно! Просто это лишний повод к тому, чтобы показать, какой я подлец. То-то будет разговоров о дезертире, трусе и сластолюбце, когда я уеду в санаторий.

Так оно и случилось. Вечером Тамара мне сказала, что Петрова жаловалась пришедшим к ней выразить соболезнование Лежневу и Алимжану, что Всеволод Иванов ее ужасно притесняет и она **не может** жить в этом доме. Алимжан будто бы ходил в Совнарком, и там Петровой обещали выдать квартиру.

Заседание в «Советском писателе». Болтин и его прогнозы: «Сражение у Воронежа не имеет решающего значения. Армия у немцев не та. Ослабели». «Почему же, если она ослабела, немцы нас гонят?» — «Преимущество в вооружении». «Но оно всегда у немцев будет. Ведь у немцев вся европейская промышленность, а наша не увеличилась, а уменьшилась». Молчание. Болтин говорит особым военным жаргоном: противник, фланги, группы. Таков же жаргон писателей и т. д. Как жаль, что нельзя все это изобразить в романе. Петров разбился — упал у Миллера подстреленный немцами самолет. Янко Купала умер, бросившись в пролет лестницы гостиницы «Москва». Цветаева повесилась! Тренин, Федин, Пастернак, я и другие объявлены дезертирами. Хорошенький цветник. В трамвае женщина говорит: «И сколько они (большевики) ни бились, мы победим». И весь трамвай напряженно молчит. Промолчал и я. Почему? Маникюрша, еврейка, у которой двое детей, сказала в воскресенье Тамаре: «Евреев всех надо перерезать. И меня. И моих детей. Если бы не евреи, войны бы не было». Чисто еврейское самопожертвование. Бедная! Она уже поверила, что война из-за евреев! Жена Маркиша узнала, что ее детей, живущих в **детском** санатории в Чимгане, травят дети же. Она пошла туда **пешком** 95 км. По дороге, в кишлаках, ей не удалось купить ни корки хлеба, ни

кружки молока. Крестьяне говорили ей: «Евреям не продаем, из-за вас война». Даже если она и преувеличивает, то все равно ужасно!

9 июля. Надежда Алексеевна не хочет ехать в Чимган, так как боится появления басмачей. Милиционеры в городе стоят на посту без револьверов, все увезено на фронт.

Пришел Канторович с предложением напечатать пьесу «Железный ковер» в юбилейном сборнике драматургов. В тот же момент Тамара подала мне письмо от Комитета по делам искусств о моей пьесе — письмо поразительно наглое.

11 июля. До полудня страдал похмельем, ибо вчера ночью неслыханно напился с Бабочкиным.

Сообщение Крайнова о том, что фильм «Пархоменко» принят очень хорошо.

Позвонил об этом Лукову, а тот грустный. Оказывается, приехал Каплер и сообщил, что в прошлую субботу «Пархоменко» смотрел Сталин. До того ему будто бы смотреть было некогда, и он поручил Щербакову на их ответственность выпустить фильм. Они выбросили сцену в тюрьме (не понравилась здесь и Юсупову) и последнюю сцену — «Битву на саблях». Когда я, грустный, сообщил об этом Комке, тот, очень довольный тем, что теперь мы получим какие-то деньги, сказал:

— А они знают, наверное, вкус Сталина. Если бы эти сцены не выбросить, картина, может быть, и не понравилась бы Сталину.

Позвонили об этом Тамаре активистки, сидящие в ее комнате, очень обрадовались не тому, что фильм понравился Сталину, а тому:

— Раз Сталин смотрит картины, значит, не все еще пропало.

12 июля. Встретил Лукова за столом. Он не может утешиться: вырезали часть картины. Объявление о перерегистрации. Комка сказал: «Тебя возьмут, потому что всех берут». И точно всех — знакомый Татьяны, слепой на один глаз и имеющий 60% зрения в другом, признан годным.

Сообщение о том, что бои на подступах к Воронежу. Вчера ночью против дома, где живут Погодины, зарезали женщину. Учительница, шла ночью с заседания.

Читал Гофмана «Эликсир сатаны». Понятно, почему мы его в 1921 году избрали своим патроном. Жизнь казалась такой изломанной и развороченной, что хотя бы в литературе мы желали создать порядок и стройность. Самое удивительное, что порядка мы не создали — да и не могли. Не знаю, откуда Луков это взял, но он сказал, что Германия четыре раза предлагала нам мир.

13 июля. Немцы вышли к Богучарам — около 300 км от Волги. От пункта вчерашнего сообщения они прошли 50 км — через шесть дней, стало быть, Волга? Настроение подавленное и раздраженное. Зозовский, завиздательством, уезжая в Москву, не взял посылок, так как везет Толстому ящик вина и ящик фруктов — подарок от местного правительства. Басов грустит — разбил бутылку со спиртом.

14 июля. Ужасная сводка, которая, наверное, повергла в уныние всю страну. Немцы ворвались в Воронеж, мы отступили, должно быть, от Богучар, и возле Ржева нам нанесли поражение. (Армии Рокоссовского?) И мы отступили.

— Но у нас тоже ужасное денежное положение,— сказала Тамара,— нам не присылают денег из Москвы за «Пархоменко» и роман.

На фоне этих страшных событий эта фраза, конечно, смешна. Но ведь у каждой семьи горе выражается по-своему. Военные сведения кончились. Вчера сидел, видимо, пришедший затем, чтобы спросить, сын художника Шемякина, близорукий, с болезнью боязни пространства, и не возражал, что его мобилизуют. (Перерегистрация! Брони художников лишили.) Горевал, что не может работать по специальности. Читал роман в Союзе. К удивлению крайнему, роман слушали внимательнейше и сидели долго, несмотря на то, что в городе неслыханные грабежи.

Говорят: а) в Алма-Ате еврейский погром. Выяснил у редактора Киевской киностудии, приехавшего из Алма-Аты,— оказывается, вздор; б) Воронеж сдали; в) в Москве паника. Бог даст, все это брехня так же, как и погром в Алма-Ате.

15 июля. Редактировал рукопись Родова. Олежка сообщил, что Вирта ничего не говорил о панике в Москве. Родители Олежки выехали в Ташкент. Но все московские новости, пока человек едет в поезде, старятся. В Узгосиздате сегодня обещали уплатить **весь** гонорар за роман. Это, конечно, вряд ли. Либо не уплатят, либо вычтут такой налог, что на руки получишь за весь роман тысячу шесть, т. е. как раз сумму того долга, который мы должны нашим доброжелателям. Редактор Ки-

евской киностудии так был ошарашен моим письмом к студии, что не пришел на чтение романа за рукописью. Вчера поздно ночью позвонил Луков и сказал, что пришла телеграмма из Киноиздата: требуют сценарий «Пархоменко» для издания. Обещал утром прислать монтажные листы сценария, но, конечно, не прислал. Сводки такие же, как вчера. Напечатана огромная статья Александрова, которая повторяет зады, но в ней любопытно — почти открытое требование Второго фронта от союзников. Сопоставляя со вчерашней, сильно замаскированной статьей Заславского, надо сказать, что если в газетах мы намекаем, то в открытой беседе с союзниками, надо полагать, прямо стучим кулаком по столу, и кто знает, может быть, даже угрожаем сепаратным миром.

Пришел приехавший из Москвы Вирта. Я увидел озабоченное, бледное от отсутствия загара лицо, одно из тех лиц, которые только что вышли из бомбоубежища и которых я так много видел в Москве. Он говорил очень мало, видимо, боясь выдать что-то или же опасаясь той болтливости, которой охвачен Ташкент.

Естественно, мы спросили о фронте.

— В бой не введены еще резервы, Сталин бережет их. Сейчас все старание — втянуть немцев в сражение по всему фронту, чтобы открыть Второй фронт. Для его открытия, как сказал военный специалист, надо пять-шесть вылетов на французское побережье пяти тысяч самолетов, чтобы разбомбить те укрепления, которые настроили немцы.

Затем вяло (держась за материал) стал говорить об издании книги «Правда о религии в России», литчастью которой он заведовал. Перед его отъездом Сталин прочел книгу и вместо десяти тысячного тиража, как предполагалось раньше, приказал печатать сто тысяч.

Оживился он два раза: когда стал говорить о своей и моей машинах, разрушенных Павленкою, и когда Тамара вернула жене его долг — 1000 рублей.

Сегодня получили первый гонорар за роман — 8 тысяч рублей. Тамара грустила, что за одно издание, а я стал страшно рад, что этой книгой смог наконец заработать.

На обеде подошел Луков. «Пархоменко» продан в Англию. Из Ташкента в Москву затребовали копии фильма, видимо, с тем, чтобы озвучивать его в Москве.

Вирта подтвердил слух, что 6-го действительно немцы зверски разбомбили Саратов. А жена Федина писала, что Костя уехал туда. Бедный Костя, мало ему московских бомбежек!

16 июля. Сообщение о взятии Миллерова и Богучарова. Луганск отрезан?

Жанна Финн, наша соседка, говоря по телефону с Москвой, сказала, что Вала (жена Е. Петрова) давно бы встала с постели, но боится выйти, такое у нее ужасное окружение в доме. Какова? Приблизительно то же говорил Фадеев, когда обвинял меня в дезертирстве из Куйбышева. Им, бедным, так трудно выходить в люди!..

17 июля. Ну, я понимаю, можно отступить войскам, когда немцы лучше вооружены и обладают лучшей тягловой силой, но почему же нам, специалистам агитации, отступить в агитации перед немцами? Сегодня передавали жалкий лепет Информбюро о потерях немцев и нас за два месяца: с 15 мая по 15 июля. И, оказывается, лепет этот вызван немецким сообщением! Неужели мы не могли перебить заранее этого сообщения? Неужели не могли сообщить о потерях немцев, а они, конечно, много теряют! Какая-то постыдная узда сковала наши губы, и мы бормочем, не имея слова, мы, обладатели действительно великого языка! Несчастная Россия.

Вчера Лежнев выразил желание видеть в романе **отрицательное**. Я столько видел и вижу этого отрицательного, что уже не могу писать об этом.

Пришел Жанно. Он писал в чехословацкую армию, желая туда поступить. Ему отказали, так как он польский подданный. А ему противно к полякам. Между поляками и нами — охлаждение. Мы не пускаем в польскую армию евреев, украинцев и белорусов. «Позвольте,— говорят поляки,— мы тогда не будем принимать никого!» Посол Кот уехал. Жанно говорит, что намечается охлаждение с Англией. Они хотят, чтобы Россия победила, но не вышла победителем, намерены пропустить немцев до Волги — пусть застрянут. Баку же будут охранять те семь тысяч самолетов, что сконцентрированы в Каире. Оккупация Кавказа и Средней Азии?

Еврей из Лодзи, живущий в Ашхабаде, сказал о нас:

— Они дети! Они не понимают, что такое коммерция!

Жанно говорит:

— Я рвался в Среднюю Азию больше, чем в Африку. Но теперь я **не вижу** Азии. У меня такое же впечатление, как у солдата, который прошел восемьсот километров.

Знакомый, две недели назад приехавший из Ленинграда, рассказывал, что в феврале был день, когда в Ленинграде умерло от голода 30 000 человек — и это только зарегистрированных! И люди все-таки не эвакуируются, потому что им не жаль города, а жаль квартиры... А мне все равно... Ведь катаклизм мировой! И неужели мы не изменимся?

Затем мы шли по Пушкинской и говорили об искусстве. Какое оно должно быть? Гуманистическое?

— Будут покой, довольство и, главное, тишина, потому что самое ужасное в этой войне — гул. Будет покой работы! — сказала я.

И Жанно согласился.

В двенадцать часов я пришел к Сибирицеву, наркому торговли, просить о прикреплении к распределителю группом драматургов. Очень симпатичный человек, сонный и с капризными губами, старательно пытался открыть глаза и хоть что-нибудь понять. Он на все, что предлагали мы, соглашался, так как, очевидно, знал, что все равно его приказаний не выполнят; 67 человек прикрепить к распределителю? Невозможно. Семь жен писателей и сестру Фурманова? Можно? Еще? И только оживился, когда оказалось, что самозаготавливать рис нельзя. Но тотчас же забыл об этом. Вопрос об искусстве не задал, и было бы странно, если бы задал. Он только объяснил, что по новому приказу наркома СССР Любимова вместе с работающими будут прикреплены и их семьи, которые и получают то, что им полагается по продкарточкам. И, улыбаясь, стал перечислять: три коробки спичек...

— Две, — поправил Эфрос.

— Триста грамм сахара, двести пятьдесят — соли. Керосина... — И поправился: — Но керосин в июле и августе выдавать не будем.

В разговоре о хлебозаготовках сказал, что колхозникам запрещено выдавать молоко.

На обратном пути мы с Эфросом говорили об Англии, ее политике, о возможности Второго фронта (Турция? Франция? Норвегия?). А затем он признался:

— Знаете, я начал писать опять стихи. Лирические — и другие... Даже и прощенья нельзя.

18 июля. Грозная по значению передовая «Правды». И опять пошлость и ту-пость мысли! Слово в прозе Чехова, где грозный священник диктует отцу письмо его распущенному сыну, отец делает приписку домашнего свойства, которой уничтожается вся гроза письма. В качестве довода приводятся бездарные слова из плохой пьесы К. Симонова «Русские люди». Неужели все это только корешок книги, содержание которой где-то по дороге выпало?

19 июля. Выехали в семь. Приехали в Чимган в четыре утра — всего девять часов ехали 90 км. И то удивительно. Радыш рассказал мне всю свою жизнь: сотрудник «Коммунистической мысли» и «Вестника знаний», эсперантист. Офицер в 1914 году. Прорыв. Взял верх горы, а с тыловой, высокой, стороны окопов появились австрияки. Отбивался ручными гранатами, пока они не кончились. Вдруг ложится рука на плечо и голос австрияка лопочет: «Прошу пана присесть, а то будет хуже». Сел. Затем вели из окопов под огнем наших гаубиц. Землянка в лесу. Завтрак с немецким генералом. Изысканное обращение, но чем глубже в тыл, тем обращение хуже. «Здесь, на передовых, люди, и те, и другие, понимают, что смерть рядом. И остается одно — уважать противников». Ехал под охраной ландштурмистов. Не захотел прислониться к бочке с цементом — толпа горожан, обстреливаемых нашей артиллерией, чуть не растерзала его. Городок в Австрии. Лагерь для военнопленных, 600 офицеров и отдельно 100 рядовых. Год сидели за решеткой, затем стали выпускать под конвоем, а затем и в одиночку. Форма и чинопочитание обязательны. Ходил в штатских брюках, фуражку и куртку в городе брал подмышку. И влюбился: «Я убежден, что в Германии осталось не менее двух миллионов русских пленцев от пленных, хотя немку за то, что она сошлась с русским, печатали в газетах как изменницу. Столько же в России от немецких пленных...» «То есть вы полагаете, что сейчас на фронте со стороны русских бьются немцы, а на стороне немцев —

русские? И не оттого ли те «немцы» побеждают?» Он засмеялся. Вообще его теории странны. «Были великие цивилизации. Например, описание Скинии: это инструкция, как обращаться с радио, откуда раздавался голос бога. Несколько человек, укрывшихся на горе, передали дикарям — в искусственном громе и буре — свои знания. Так как у дикарей не было технической базы, чтобы принять эти знания, то уцелевшие ученые смогли передать им только нравственные правила. Цвета? Я лечусь синим светом, прикрывая тело под солнцем синей шелковой тряпкой. Не с лечебной ли целью носились цветные одежды? Сказки — тоже камни прошлой цивилизации». Ну, что же, в конце концов почему нельзя уважать своих предков? Я предпочитаю, даже пища на этой гнусной бумаге, чтобы мои потомки думали, будто я писал на пергаменте». Далее: судьба Радыша. Вернулся из плена. Работал с Ворошиловым в Красной Армии. <Нрзб.> Потом в кино. Тюрма. Кино. Режиссер. Может быть, позже он расскажет и еще о какой-нибудь своей профессии.

Утро. Болит голова. Очень странно видеть санаторий — детский, чем-то напоминающий Коктебель, — в дни войны. Кормят хорошо. Тоже удивительно. Пионерлагерь. Радыш читал отрывок из пьесы. Я рассказывал о Горьком. Жена Радыша объясняла все его теперешнее бездеятельное состояние. Она работает 16 часов в сутки, чтобы получить двойной оклад, т. е. на 250 рублей больше (в месяц!). Дочь, 15 лет, работает вожатым. Выдавали по конфетке, берегут. Собирают хлеб, все, что можно. Она следит за каждым его шагом.

Принял лекарство, чтобы пойти завтра в горы.

20 июля. Встал с головной болью, но все-таки пошел и хорошо сделал, т. к. голова, когда мы приблизились к большому Чимгану, очистилась.

Подножие — граниты, базальт, а верх — мрамор: синий, белый, розовый. Когда на закате в Чимган ударяют боковые лучи солнца, он, словно просвечивая, в то же время так отражает лучи, что через **темные** очки нельзя было на него смотреть. Шли до вершины 8 часов. Когда подошли к первой полосе снега, похожей на рыбу, я еле дошел до воды. Выпил. Поползли дальше. Остатки колы, купленной во Львове, помогли мне. Ломали над пропастью можжевельник. Костер разводили на мраморе! Вообще такое впечатление, что ходишь среди древнейших греческих развалин, — нас стращали холодом, но мы не замерзли с Мишей и под двумя одеялами. Я впервые на такой высоте. Естественно, что хотелось посмотреть на ночное небо. Но я так устал, что заснул сразу же, как только закатилось солнце.

21 июля. Варили кофе, разогревали кашу. Состояние удивительно приятное. Обрато, пробиваясь к меловому перевалу, шли длинной дорогой. Перевал издали видели — близко подойти не хватило сил. По-моему, это мраморная стена, а не меловая. Жара, с трудом дошли до источника. Миша стер ногу. Через болото. Возле каждого санатория отвратительные бетонные скульптуры — и это тогда, когда **рядом** мраморные скалы и целые горы! На воротах санатория НКВД — красное знамя, перевязанное траурным крепом. «Кто умер?» — спрашиваем у встретившего нас Радыша. Он не знает: «Может быть, из их?» Да, но тогда зачем же вывешивать государственный флаг? Радыш очень обеспокоен; от нас, оказывается, ждали ночью костра, а у нас было слишком мало топлива, и уже пошли разговоры: «Не погибли ли они?» Оказывается, в прошлом году там забрались двое на скалу — и не вверх, и не вниз. Стояли всю ночь, щипая друг друга, чтобы не заснуть. Когда их сняли, место, где они стояли, рухнуло. Я сказал:

— С меня достаточно литературных пропастей, зачем мне лезть на чимганские?

Вечером зашли к заведующей.

— Как управляетесь, чтобы ели хорошо?

Она привела пример. Поехала в соседний район на «эмке», купила курицу, спросила разрешения купить петуха, а тем временем заготовитель покупал баранов и гнал их за деревню. Задержав, сколько надо, начальника базара, поехала в село, на ходу посадили (за веревку, за горло) баранов в «эмку» и погнали: пост на границе района. Прогнали машину на полном ходу, и милиционер был очень удивлен, что из окна торчит рогатая голова.

Говорят, есть приказ — отдать санаторий детям эвакуированным. Вот здесь-то и коллизия для Федоровой: ей все прощали, т. к. «их» дети, а теперь? Кто ее будет покрывать или даже заботиться о ней?

22 июля. По городу расклеены анонсы «Пархоменко». В столичных газетах пока ни слова. Пришел Алянский, надо подписать петицию о даровании ему жилплощади и чтобы Тамара отправила его дочь в санаторий.

Был у Алянского друг — художник. Оба имели по охотничьей собаке. На собаку давали «смётки» муки — сор, веревки и прочее. Так как Алянский все «смётки» своей собаки съедал, то ему пришлось отравить ее. Друг его был более сметлив и запас (в столовых) еще кой-какие залежи и «смётки» накопил на весь год. Заболела у Алянского старуха, она просит:

— Дай мне стакан «смётки», мы ничего сегодня не ели.

Не дал. Просила два раза. Отказ: я подумаю,— и ничего не говорит. А сам отдал «высшему чину» всю «смётку» из подхалимажа.

Ленинград? Весь промерзший: стены домов, провода,— улицу перегораживают троллейбусы, вагоны трамваев. По бокам улицы идут ватными шагами (у всех от голода опухают ноги) люди с черными лицами.

— Удивительно красивый город! — воскликнул этот эстет, и в Ташкенте не потерявший своего лица: не захотел основать фабрики для приготовления вещей, а отстаивал создание мастерской — художественной.

— Нам не нужна смета на четыре миллиона, мы хотим на пятьсот рублей. Мы люди искусства! — сказал он в Совнарком.

Его жена умерла от голода. Сын тоже.

— Кишечник стал тонкий, как бумага, и не задерживал даже каплю пищи.

И, рассказав все эти ужасы, добавил:

— Неужели никто не опишет того, как мы страдали? Это был величайший из героизмов — героизм пассивный.

Я сказал, что достаточно написать о Ленинграде мемуары, но ему этого, видимо, показалось мало.

Немцы явно пошли на юг после взятия Ворошиловграда — к Полтаве? Не была ли вся история с Воронежем только их демонстрацией?

Оказывается, Комка ходил по моим талонам два раза обедать в столовую. На третий раз его выгнали. Когда я рассказал это скульптору Ингалу, он сказал:

— Такого мальчика за его смелость надо не гнать, а кормить бесплатно месяц.

Алянский сказал, что из трех миллионов жителей Ленинграда осталось в живых только 500 тысяч.

23 июля. По-видимому, на Дону немцы нанесли нам страшное поражение. Только два дня назад сообщалось об оставлении Ворошиловграда. Сегодня — «бои в районе Новочеркасска», т. е. за два дня немцы сделали 200 км или более. Кроме того, они вышли к Цимлянской, 200 км от Сталинграда.

Кома и Тамара ушли на автобус, чтобы ехать в Чимган. У Комки улыбка не сходит с лица: рад.

Сегодня вспомнил, что перед падением Колчака полковник Янчевецкий, в поезде коего «Вперед» и газете такого же названия я работал наборщиком и писал статьи, представил меня к Георгию третьей степени.

24 июля. Телеграмма от Юговой, поздравляющая с успехом «Пархоменко». Есть фраза: «Москвичи в восторге!» Был в Союзе у Джанибекова. Похоже на то, что получу пять тысяч рублей уже потиражных. Отдал отрывок из романа для «Правды Востока». Спор по поводу стихов Гафур Гуляма — тоска по сыну.

Узбекские писатели слишком много пишут о том, что они **ожидают** обратно своих детей. Это демобилизует.

Я заступился. Меня вежливо выслушали, но спорить не стали. Говорил вчера М. Голодный, что здесь раскрыто несколько националистических организаций, даже среди милиционеров, которые намеренно задерживали дела об антисемитизме. То же самое говорил о пантюркизме в столовой скульптор Ингал.

Кома, наверное, наслаждается санаторием.

25 июля. Разговор с Лежневым, который сидит завешенный ковром в большой комнате. Он рассказывает, как Алимжан хотел «забронировать», т. е. освободить от мобилизации, одних узбеков. Входит М. Голодный, о котором только что сказал Лежнев: «Ну, что с ним сделаешь, он не хочет ехать на фронт, ссылаясь на свою язву желудка, возникшую из-за патологической трусости». За Голодным идет немец в спортивных штанах, в нашей рубашке, но одетой так, что она выглядит по-

немецки. Немца, не помню его фамилии, мобилизовали — он получил «явочную» повестку, где, между прочим, напечатано, что он должен быть острижен. Немцу 47 лет, в прошлую войну он был обер-лейтенантом — коммунист. Из-за порока сердца его не взяли даже на всеобуч. Больше всего его почему-то возмущает «острижен». Он проводит по лысине, открывающей почти весь череп, и говорит:

— Я не буду похож тогда на немца. Как мне работать среди пленных? Про меня могут подумать, что я русский, хорошо говорящий по-немецки.

Его движение означает: у меня **немецкий** череп, и мне будет очень неприятно, если меня сочтут русским. Лежнев звонил военному комиссару и в ЦК: я бы такого коммуниста в армию не взял...

Позвонил какой-то тип. Сказал, что он сотрудник НКВД и желал бы ознакомиться с рукописью Комаровой, находящейся у меня. Я спросил: для чего ему нужна эта рукопись? Он ответил неопределенно, что нужно. Тогда я сказал, что я отдам эту рукопись Алимжану, где ее и можно получить. Обедая, я рассказал этот эпизод Янчевецкому, тот сказал, что Комарова объявила голодовку, что ее в Союзе забыли, что Иванов не возвращает рукопись. И тут же оказалось, что у Янчевецкого есть другая рукопись.

Мишку и Олега Погодина ограбили на Комсомольском озере. У Олега отняли три рубля, у Мишки — рубль. Когда ребяташки попросили обратно трамвайные билеты, их им вернули. Вот бы чем интересовались, голубчики, а не рукописью Комаровой!

26 июля. Выписывал для «Кремля» и мечтал о поездке в Чимган. Вечером пришел К. Зелинский, мы сидели с ним на берегу Салара под луной и в прохладе. Он говорил о новом будто бы методе агитации и пропаганды, вводимом ныне, — говорить правду, без прикрас и лжи.

Когда я вернулся, мне сказали, что был у меня в доску пьяный Погодин, приехавший сегодня.

27 июля. Отрецензировал бездарную вещь Комаровой «Впотьмах» и столь же бездарный сборник рассказов, собранный издательством «Советский писатель». От сборника впечатление такое, что русские литераторы совершенно утратили технику рассказа. Это, несомненно, оттого, что так называемый «реализм» давным-давно превратился в официальное факто-восхищение.

Читал Гофмана и «Курс торгового права» — сейчас то и другое одинаково фантастичны.

Информбюро — в эпизодах — сообщает, что немцы ворвались в Ростов и подбрасывают новые силы к Воронежу (перечисляются несколько дивизий). Боюсь, что обоим грозит гибель, если они не погибли уже.

Несомненно, настоящее несет в себе зерно будущего. Шальная недвижимость 1912—1914 гг. уже принесла шальное стремление 1917 года и последующих. Я не говорю о людях идеи, а об обывателях, весьма странный облик принявших в России и так же странно проявивших себя. То же самое и сейчас. Вчера ночью кто-то, видимо, шел мимо, зашел во двор, возле окна лежала сумочка жены Финна — он и украл. Воров и мазуриков — неисчислимо количество! Это семена. Какие же они дадут всходы? Да и вообще что идет? Кажется, и самые наивные перестают думать, что это очередная кампания — «побить фашистов».

Сельвинский, по словам Зелинского, спасся из Керчи, переплыл залив на шине. В его стихах о России есть строфа, где он говорит, что он любит своих учителей: «от Пушкина до Пастернака!»

Пожалуй, это самое удивительное, что я видел в эту войну. До войны надо было бы съесть шину кокаина, чтобы вообразить, будто бы «Красная звезда» способна напечатать подобную строфу: Пушкин — и рядом с ним Пастернак!

Со слов Луговского (говорит Погодин): «В армии — апатия. Водочный паек прекратили, а то напьются — а ну вас». Я встретил Погодина. Идет с бутылками.

— Мне поручили написать пьесу: «Сталин и защита Москвы». Я спрашиваю: в чем дело? Что за чудо под Москвой? А какой х... чудо. Просто уложили три миллиона и закрыли живым мясом проход. Если бы не зима, быть бы чуме.

28 июля. Отдали Ростов и Новочеркасск. Самое подавленное настроение, какое только может быть. Столько было звону, когда взяли Ростов, — и теперь... Несчастные мы! Что нас теперь может спасти — и ума приложить некуда.

Встретился хромой на костылях Салье, переводчик «Тысячи и одной ночи». Он живет в библиотеке. Напряженно расспрашивал:

— Что будет дальше? Куда они пойдут? Туркестан не захватили англичане? Что нас ждет? Я лично устроен хорошо и ничего не боюсь, но я страдаю за всех.

Получил «Известия» за 22-е. Рецензия на «Пархоменко» тощая и напряженная, из чего можно понять, что я «Известиям» глубоко противен, а «Пархоменко» вышел не ко времени. Что-то скажет «Правда»? Тоже, наверное, в этом роде?

Вечером пришла «Правда». Рецензия короче, но более дельная. Но и там какая-то кислота — «исполнение задачи», и ни слова об искусстве. <...>

Передовая «Правды» говорит: «Любой ценой он **хочет** прорваться на простор донских степей, форсировать Дон и ринуться дальше — к кубанской пшенице и бакинской нефти». А сегодняшнее сообщение о боях за Батайск разве уже не говорит, что немец свое **хотение** исполнил: он форсировал Дон в наиболее защищенном месте, у Ростова, и **кинулся** дальше.

29 июля. Для нашего Мишки самое главное — пойти в горы. Он испытал величайшее удовольствие, когда я принес от Бабочкина ружье. Бабочкин снимается в лагерях. Снимается, говорит он, неохотно, но все же лучше, чем учиться. Вообще апатия. О войне **не** говорят, радио **не** слушают.

— Скоро картина будет готова?

— К октябрю.

— Эх, жаль!

— Чего?

— Да как же, — говорят они, смеясь, — к октябрю нас уже всех перебьют.

Затем он читал отрывки из письма ленинградки. Спокойным голосом она рассказывает о людоедстве, о том, что в уборной при очистке нашли голову и кости съеденного человека, что люди, шатаясь от слабости, все же тащат к себе в квартиру всевозможное барахло и антиквариат, что спекуляция не уменьшилась, а увеличилась.

30 июля. Сборы в Чимган. Как всегда, неполная уверенность, что доедем и пропитаемся. Исправил «Проспект Ильича» по замечаниям Лежнева.

И не послали: бензина мало, и машину решили гонять реже, нагружать гуще — «пускай ломается, но зато бензин сэкономим». Это значит, что если впервые я ехал в Чимган девять часов, то теперь проеду все сутки.

Обед. Луков рассказывает: костюмер сделал костюмы Эйзенштейну для «Ивана Грозного». Он посмотрел и сказал:

— Это хорошо. Но эпоха не та.

— А пища **та?** — ответил костюмер.

Говорят, немцы взяли какой-то Клёцк — городок в 60 км от Сталинграда. Не знаю, правда ли. По радио я слышал что-то оканчивающееся на «ск», но что — не разобрал. Если это действительно так, то на юге нас разгромили, как говорится, «в доску».

Вечером послушал радио — и точно: Клёцк. Стал искать по карте. Долго. Догадался посмотреть на «Б» — нашел. Оказывается, не 60 км, а добрых сто. Это не лучше. Видимо, немцы идут вдоль Дона, направляясь прямо к Сталинграду.

Ну что же! Надежды на союзников мало. На себя? Если мы не в состоянии были бить немцев, когда имели хоть какую-то сеть железных дорог, то теперь вся надежда на бога.

Позвонила Войтинская. Просит статьи.

— Почему, — говорит, — вы были в прошлом году таким активным? А теперь?

Не мог же я сказать ей, что мне плевал в душу всякий, кто мог, — и заплевали всю мою активность, иначе говоря, уважение к слову. Да и сейчас лучше? Месяц назад получили в Москве роман, пишу им, что **нуждаюсь**, сижу без денег — и хоть бы слово!

Я ей сказал:

— Объяснять нужно философскими категориями.

На мой вопрос, как она живет, она ответила, что у нее убили мужа.

31 июля. Собачий вздор. Видимо, надо для чего-то остаться в Ташкенте еще на два дня? Чтó слава, книги, орден — когда никак нельзя было влезть в грузовик, чтобы поехать в Чимган? Наконец мне сказали:

— Идите вперед, вас посадят.

Я и пошел, как дурак. Остановился возле дома академиков. Вышел на середину улицы, поднял руку. Грузовик величественно прошел мимо. <...> Там сидела какая-то тетя.

Круг наблюдений у меня небольшой, но по всему видно, что катастрофа на Северном Кавказе глубочайше всех волнует. Все говорят о том, куда пойдут немцы, как пойдут, а как мы будем сопротивляться — никто и не говорит.

1 августа. Радио назвало три направления, умолчав о Воронеже. Могли там прекратиться бои? Да. Или потому, что потеснили немцев, о чем мы едва ли стали бы молчать, или потому, что потеснили нас, о чем мы молчим. Стало быть, есть основание думать, что Воронеж сдали.

Вечером нет упоминаний о Воронеже. Наши отступили к юго-востоку от Батаяска.

В семь часов обещали все-таки увезти в Чимган. Мечтаю об этом не меньше Мишки, ибо тоска от сводок загрызла...

28 августа. Эти двадцать восемь дней промелькнули, как один. Восемь дней назад вернулся из Чимгана, где много ходил по горам. Всю неделю лежал, страдая болями в мускулах от усиленной ходьбы, и был очень доволен.

А за это время немцы подошли к Грозному и окружили Сталинград. Вчера всех порадовала сводка о нашем продвижении возле Ржева. В трамваях старушки говорили кондукторам:

— Ведь победа. Можно за проезд и не брать.

Режиссер Майоров высказал предположение, что Ржев — демонстрация, чтоб отвлечь от юга немецкие силы.

Говорят, Сталин — на юге. Защищает Кавказ. Тому основание то, что в сегодняшней сводке есть сообщение: Жуков назначен первым заместителем Сталина.

Сколько помнится, Тимошенко был первым заместителем?

Анекдот: Черчилль говорил в палате общин, что обстоятельства помогут выиграть войну: сила, деньги и терпение. В турецкой газете, говорят, поместили карикатуру: русская сила, американские деньги и английское терпение.

Вчера в ответ на хамское письмо А. Фадеева ответил не менее хамским письмом. И вчера же телеграмма из Союза: «Не поедете ли в Челябинск написать очерк об оборонном заводе». Почему в Челябинск? Почему телеграмма на Союз? <...>

Иду в три часа к комиссару Анисимову сговариваться относительно поездки в Таджикистан.

Несомненно, что пребывание в горах зарядило меня доброй мерой безразличия и спокойствия. Тоски как не было. Писать не хочется.

Читал «Таинственный остров» и Плутарха. Похоже, что людям жилось еще хуже, чем нам.

Комиссар сказал: а) наши наступают на Ленинградском фронте; б) по сведениям тех же турецких газет, сосредоточили огромные войсковые силы возле Воронежа, собираются удержать любой ценой. Турецкий президент сказал: «Турция будет хранить нейтралитет, но, если ей придется выступить, она выступит на стороне Антанты». Англичане сосредоточили большие силы в Персии. Волнения в Индии позволяют думать, что Япония вторгнется в Индию и тем самым мы будем избавлены от вторжения.

29 августа. Очень странно. Вчера комиссар обещал поехать на охоту, а сегодня даже и не позвонил. Мне думается, что нет надобности и ехать в Таджикистан в такое суматошное время.

Был в библиотеке, разговаривал с Салье о переводе романа Айбека о Навои.

Вторая статья А. Толстого: «Как пошла русская земля». Бред! Неужели это может иметь если не научное, так агитационное значение? Черт его знает, все возможно.

Читал «Карамазовых».

30 августа. <...> Сейчас все крайности: героизм величайший, трусость величайшая, ложь величайшая («исследование» Толстого о том, «как пошла русская земля»). **Понимание** сего — величайшего, равно как и презренье ко всему — величайшее, боже, неужели же из всего этого великого получится лужа вонючая, из которой и шелудивый пес не пожелает выпить?

Был у Лукова. Заболел он, поев в нашей столовке СНК. Лукова выселяют, т. к. в дом его вселят эвакуопункт. Луков говорит, что на железной дороге сейчас хуже, чем в прошлом году. Билет из Баку по спекулятивным ценам на пароход стоит 20 000 рублей.

— Хочу поскорей поставить «Два бойца», скопить денег и уехать в Москву, — сказал Луков.

Вечером заходил Радыш. Нашел геологоразведку, куда можно поехать. Хорошо бы. Писать не хочется, да и зачем, когда о романе не могу узнать два месяца?

31 августа. Неожиданно на Союз — ценное письмо из Москвы. Предполагал все, что угодно: договор на роман от Чагина, поучение от «Нового мира», даже мнение из ЦК по поводу романа. Но оказалось совершенно неожиданно — **отсрочка** по призыву. Хорошо солдат!

В «Правде» напечатана пьеса А. Корнейчука «Фронт». Вот уж действительно фронт! Участвуют одни мужчины, какая-то санитарка Маруся не в счет. Командующий фронтом — набитый дурак, хотя и с четырьмя орденами. Видимо, символизирует собой старое, или, вернее сказать, устаревшее, командование, которое, кстати сказать, позорится вплоть до первых пятилеток. Вся ставка на молодежь! — вот идея пьесы. Боже мой, что за глупость! Или же умных стариков не осталось?

Лазарет. Подвал. Читал про Ленина из «Пархоменко». Затем о Горьком. Слушают очень внимательно. Много командиров. Комиссар сказал: «Вот этих трех расстреляют, наверное». «Почему?» — «Немцев хвалят». — «Зачем лечить?» — «А пусть сволочи понимают!» Второй рассказ об организации немцев: сбросили в лесу парашютистов. Их перебили легко. Так немцы после того три недели ищут их! Сбрасывали с самолетов продовольствие парашютистам. А наши питались — и тут же наш шофер должен был сбросить продовольствие нашим на передовую линию обороны и не сбросил — сбросил на вторую: испугался. Командир с такой детской радостью рассказывал о немецкой еде, что я спросил:

— А вас что же, плохо кормили наши?

— Зачем плохо? Но неаккуратно доставляли.

И тогда я понял, что ему не хотелось жаловаться и он говорил о шофере как-то в третьем лице.

1 сентября. Три года войны. (1 сентября 1939 года — начало второй мировой войны. — *Е. П.*) Из всех знакомых никто и слова не сказал об этом.

Был в комиссариате. Признаться, идя туда, я волновался. Еще в феврале я записался на учет временно и полагал, что давно мне пора встать на полный учет. Но февраль и сентябрь бесконечно далеки. В комиссариате грязь, орут какие-то бабы во дворе в очереди. Писарей мало, какого-то писаря тут же поймал мальчик из НКВД как не явившегося на мобилизацию — и чепуха полнейшая. Я сам заполнял бланк отсрочки, и мне его подписали, не читая, и начальник отдела, и комиссар Земляной. Грязь. Курят. Писаря обсуждают качество купленных дынь с людьми мобилизуемыми, и все им подобострастно объясняют качество. На столе разбросаны бумаги. Полнейший развал.

Отсюда и пьеса «Фронт». Надежда Алексеевна ничего не знала о пьесе, но она со слов Толстого сказала, что армия реорганизуется «на ходу». Что это значит, пока непонятно, понятно только одно, что Корнейчук написал, как говорит Погодин, «верняк». Очень странная манера объясняться с народом через пьесы: «Новое оружие Костишка уничтожило 40 000 человек зараз», — как передал Толстой, который это слышал от Андроникова, а тот видел «своими глазами» и даже описал: «На раме труба, а внизу мешок», — один человек может перетаскивать и стрелять.

Та же Надежда Алексеевна рассказывала — плакала! — о том, как умерли у ее приятельницы муж, знакомый Алексея Максимовича, две сестры, сын и последняя дочка погибает. «Спасите!» А чем спасешь, когда девочка не принимает пищи.

Появилась новая болезнь — «пеллагра». Разговоры о вечере — о бандитах, покупающих кофточки, о десятилетних проститутках, сманивающих ребятишек, торгующих папиросами, о лотошницах, которые не могли торговать, т. к. мальчишки «вырывают». Да-с!

Кома впервые ходил в школу.

Комиссар, которому я позвонил, сказал, что встретиться можно дня через два, а сговаривались, что я уеду в среду! Не хотят посылать — так надо думать.

2 сентября. Сообщения — «без перемен» — окончились. «Ожесточенные бои у Сталинграда» — из чего можно заключить, что положение возле Волги плохое. Прорыв у Ржева прекратился, по словам Толстого, из-за дождей.

Доктор Беленький нашел у Тамары какую-то сложную болезнь. Ну, и удивительно, что вообще все с ног не свалились! Фронт фронтом, но в тылу потери едва ли не в десять раз больше.

Был у Шестопада. Все оказалось скучнее, чем я предполагал. «Среды» инженерной не было, сам хозяин напился разведенным спиртом через час. Он сообщил только, что ему сказали на 84-м заводе, будто эвакуируется Фергана, т. к., мол, англичане сосредоточили на нашей границе много войска с целью оккупации Средней Азии. Почему оккупация? Потому, мол, что мы ведем переговоры о сепаратном мире с немцами. Тому доказательства: а) пьеса Корнейчука — бранится старшее командование; б) статья Ярославского, бранящая вообще всю армию за бегство; в) передовая «Правды», требующая Второй фронт. Я внутренне сопоставил слова комиссара Анисимова о том, что «Кавказ — первая линия обороны, Средняя Азия — вторая», его явное нежелание посылать меня на границу и подумал: «Чем черт не шутит, если уж он начнет шутить».

Было часов двенадцать, когда я вышел от Шестопада. Мне хотелось помочиться. Двор был освещен с соседнего двора. Я вышел в ворота, выстроенные аркой. Под аркой было адски темно. Место мне показалось совсем подходящим. Я пристроился. Вдруг раздалась яростная брань — «В бога мать», и я скорее почувствовал, что кто-то направляется ко мне. Размахивая палкой и бранясь не хуже своего противника, я выскочил на улицу. За мной бежало двое взрослых и трое мальчишек. Все они спали вдоль стены арки. Какие-то проходившие военные разогнали их, а я, опасаясь, что они проследят меня на свету, боковой темной улицей пришел домой.

И еще к слухам о сепаратном мире, вызвавшим их: несколько дней было — «на фронте без существенных перемен», и самое главное: люди так изголодались мечтой о мире и тишине, которую они, конечно, не получают — ни от англичан, ни от немцев, ни от кого бы то ни было. Эта взбаламученная стихия теперь долго не успокоится, и многие потонут в ней.

Мысль о написании повести «Народ защищает Москву» и разговор с полковником Леомелем в Академии.

3 сентября. Сообщение об ожесточенных боях за Ленинград и южнее Новороссийска, т. е. за последний порт наш в Черном море.

Был в Академии у полковника Леомеля, белобрысого, нервно выкидывающего вперед руки с растопыренными пальцами, с треугольным подбородком и лицом. Очень словоохотлив, но так дисциплинирован, что о себе не сказал ни слова. Рассказывал превосходно. Когда беседа кончилась и стенографистка ушла, Леомель сказал:

— Товарищ Иванов! Как вы понимаете «Фронт» Корнейчука? Это же не пьеса, это директива. А у нас двадцать пять генералов, и все старики. Как мы им в глаза теперь глядеть будем?

Воодушевленный удачной беседой с Леомелем, я пошел к семье генерал-майора Петрова, защитника Одессы и Севастополя. Жена, тихая, заботящаяся о сыне, ничего не могла сказать и показала мне сумасшедшей. Сынишка, самоуверенный паренек, жравший яблоки и что-то мычавший, ввел меня в сознание репортера, вымаливающего «воспоминания» для заметки и зарабатывающего на этом двадцать пять рублей по современному курсу. Тьфу, какая гадость!

4 сентября. Бездельничал. Читал «Карамазовых». Ну, и вздыхал. За обедом со скульптором Ингалом говорил о собачьих породах. Я рассказал о своем Раде, доге, бывшем у меня лет десять — двенадцать тому назад.

Вечером пришла Екатерина Павловна, говорила о том, что у нее **нет денег** и она не может делать запасы и способна купить только бутылку вина. Затем зашел разговор о Громовых. Жена Громова получает в месяц 10—20 тысяч рублей, а уезжая, забрала у Екатерины Павловны всю посуду, так что старуха Пешкова осталась без посуды. Сейчас у них в семействе спор и волнения: кому ехать в Москву — ей или Надежде Алексеевне. Ясно, что Екатерине Павловне хочется поехать, хочется узнать — везти детей учиться в Москву или нет.

Жена генерала Петрова, наверно, ужасно обиделась, что я к ней не подошел и не поздоровался в столовке. Но, как вспомню этого нахального балбеса, жравшего передо мной яблоки, так муторно.

5 сентября. <...> Был у комиссара Анисимова. Тот смотрит растерянно. Уговорились ехать на охоту, но позвонил — оказывается, ночью его куда-то вызвали. Обещал заехать обязательно, утром рано, часов в пять. Едва ли заедет, уснет от усталости, т. к. работу, говорит, окончит в три часа.

Все собираются в Москву. Книжный продавец, его жена, Екатерина Павловна, Жанна Финн — «с правого бока снят и до левого достанет».

6 сентября. Рано утром, в пять часов, поехали. Когда ждали у подъезда дома, в котором живет комиссар, к машине подошел закурить человек в белом. Свертывая папироску, пьяным голосом он стал рассказывать — вчера получил 350 рублей, выпили, пошли к какой-то женщине, «жене военного»... <Нрзб.> Ухо у него рассечено, карман вырезан.

В машине комиссар, часто повторяя слова «как правило», рассказал о шпионе, которому немцы дали три тысячи рублей и направили в Ташкент, где и должен он встречать авиадесант; о девушке с Украины, которая прошла трехмесячные курсы шпионажа; о заградительных отрядах, а затем об убийстве: на окраине жила семья, двое взрослых и двое детей, пяти-шести лет, вечером соседи их видели, а утром встают, двери, ставни заперты и в девять часов, и в десять тоже. Подождали одиннадцать и позвали милицию. Оказалось — горло у обоих детей перерезано, а муж и жена — висят. Двери заперты изнутри. Собака ничего не обнаружила. На столе рукой жены написанная записка: «Детей прошу отдать на воспитание, лучше всего одиноким». Причины не открыты. Комиссар сказал, подумав:

— Сейчас много убийств.из-за ревности.

Приехали в лагерь, поели супа. Затем к речке. Поймали на удочку десяток. Я ходил по следу. Ничего.

Выехали по склону на Ангрен. Пошли через камыши. Закинули бредень. Рыба мелкая. Киномеханик, молодой и ловкий, стал ловить рыбу руками. И мы туда же. Вернулись. Я ходил по камышам — всего выстрелил десять раз, но мимо: ружье ужасно плохое. Сварили прелестнейшую уху, соснули и поехали ниже по Ангрену. Перешли. Я — опять в камыши, а они удили. Поднял трех фазанов, но выстрелить не успел.

Вернулись в лагерь. Командир подарил мне фазана.

Город. Я подарил комиссару трубку, он удивился, что она из Парижа.

7 сентября. С наркомом местной промышленности осмотрели три предприятия: завод Ильича, мехзавод и цех штамповки. Крайне интересный. Удивляешься чуду жизни, тому, что люди изворачиваются в таких необыкновенных обстоятельствах, о которых следует написать очень подробно. На заводах стариков очень мало и молодые люди в редкость — мальчишки и девчонки. Главное: а) борьба за материал; б) и затем, чтобы не портили этот материал; в) за пищу, так как местной промышленности не дают не только материалов из Центра, но и пищи, так как рабочие живут на 600 граммов хлеба.

Лейтенант, помешанный на том, что никто не идет защищать Родину, убил какого-то узбекского поэта, соседа по дому. Подробности еще не знаю.

8 сентября. Похороны убитого узбекского поэта. <Нрзб.>. С. Городецкий пишет на кумаче тушью, палочкой и говорит:

— У меня обычно это хорошо выходит, но тут материал плохой.

Жена его пришла в белом бальном платье и огромной черной шляпе с полями.

Рассказ Радыша о Чимгане. В санатории САВО от котлеток отрезают, няне и воспитательнице, то же самое и от бутербродов с маслом, так что няни воруют у детей триста грамм масла ежедневно, также воруют и хлеб. <Нрзб.>

Кто-то сказал в Союзе — «Я не столь боюсь немцев в Москве, сколько Союза», т. е. не буквально так, но приблизительно, и это понятно — неразбериха у писателей чудовищная. То орем о мастерстве, таланте, а то вдруг, как, например, сегодня в «Литературе и искусстве», доказываются, что никакого таланта и не нужно, а важна идея. На совещании так и говорили и ставили в пример «Антон Горемыку» Григоровича. Люди, очевидно, не понимают жизни, идей. Идеи, как и все прочее, живут, т. е. они бывают молоды, свежи, зреют, а затем и старятся. Много ли

нужно, чтобы молодость была обаятельной и прельстительной? От зрелости уже требуешь больше, а старость — боже мой, как мы требовательны к старости! И чтоб мудрая она была, и чтоб бодря, и чтоб учительствовала бесперерывно. Так вот, наши идеи состарились. Не из-за боязни перед Америкой мы говорим о России, о солдате, даже, как ныне Сурков, о Родине, о славянах, почти умалчивая о социализме и коммунизме. Что же нужно, чтобы идеи ожили? Омоложение! Оно возможно при том условии, если будут найдены новые формы, новые слова, при которых эти состарившиеся идеи заиграют. Почти можно быть уверенным, что в результате войны где-то в одной из стран, а может быть, и в двух вспыхнет советская республика. И также можно быть уверенным, что она заговорит иными словами, чем мы сейчас, чем мы раньше. Следовательно, поклонению серенькому и обыденному, чему — сам стыдись! — кланяется сейчас Фадеев, — и вредно, и напрасно. На это можно возразить, что вы, Всеволод Вячеславович, тоже отстаивали **среднего** писателя. Да, отстаивал, но вместе с поклонением гению. И разница между Фадеевым и мною та, что у Фадеева не хватает пороку на поклонение гению, ибо он смертельно боится всякой гениальности, — сам себя чувствует таковым! — и хочет служить обедню без епископа. Служить можно, но без епископа церкви не будет. Не будет и литературы без гения, или, вернее, без надежды на гения, ибо что такое гений? Гений — будущее. Чему и поклоняемся.

9 сентября. Вечером принесли продавать нам масло. Килограмм — четыреста пятьдесят рублей. А днем я купил в книжном магазинчике энциклопедию «Просвещение» за двести рублей, т. е. ровно за фунт масла.

10 сентября. Официальное сообщение о наших потерях за май — август: 42 дивизии! Это значит, по скромному подсчету, миллион.

Вчера Луговской рассказывал о капитане Лейкине. Пьяная стена народу в шашлычной. Перед капитаном, что в казачьей одежде, с чубиком, четыре бутылки водки, нераскупоренные, в ряд.

<...> Пляшут с недвижимыми, идольскими лицами два инвалида — безногие, безрукие. Капитан начинает бранить тыл, разврат, крупные деньги и сам выбрасывает из сумки деньги за **двадцать пять** шашлыков. Затем брань с «пехотинцами», бегство на базар за помощью. «Пехотинцы» ругают кавалеристов... Инвалиды пляшут перед пехотинцами. Армянин брюхом ложится на виноград, покрывающий грязный стол и сумку с деньгами, оставленную капитаном Лейкиным...

Когда он рассказывал, я думал о людской привычке: привыкнув убивать, вернувшись, как жить мирно? Ведь после прошлой войны продолжалась война классовая, где подобные капитаны лейкины могли проявить себя, а ведь теперь-то классовой войны не будет. Ну, допустим, часть их уйдет в бандиты, а другая — **бóльшая?**..

Обед в столовке. Разговоры о Кавказе, разбомбленных городах, о том, что до революции все крупные фирмы — перечисляют их — принадлежали немцам, так что Штраух спросил уныло:

— А может быть, их, немцев, четыреста пятьдесят миллионов, а не китайцев.

Кто-то сказал:

— Нет. Больные животные безобидны и, в сущности, не смешны.

Читал «1001 ночь».

11 сентября. <...> Кончаловский устроил званый обед и сказал:

— У меня в «Буграх» стояла кавалерия, и это очень хорошо: конское говно — самое лучшее удобрение.

В дневном сообщении говорится, что немцы захватили несколько улиц Новороссийска. На лицах всюду полное равнодушие. Женщины-общественницы, собравшись у Тамары, говорили о кражах обедов (тех, которые остаются от не пришедших в столовую детей), о том, что какой-то Катинной дали шесть пончиков, а детям выдали по одному, что пединститут имени Герцена, эвакуированный сначала в Пятигорск, а затем проезжающий в Челябинск, ничего не достал для своего пропитания у наркома торговли Сибирцева, у которого нет совершенно риса, и сладкого, и вообще ничего нет. По просьбе Екатерины Павловны Пешковой герценовцам выдали чаю и бочку повидла. Екатерина Павловна сказала:

— С Кавказа никто не уходит, кроме некоторых коммунистов и некоторой части интеллигенции. Говорят: «Все равно помирать — в эвакуации или у немцев. Лучше уж дома».

Жена Вирты обещала дать мне на время ружье мужа, которое валяется у каких-то знакомых.

12 сентября. Сообщение об оставлении Новороссийска.

13 сентября. В семь часов у летчиков, в парке Максима Горького. Затем у Надежды Алексеевны. Телеграмма от «Нового мира» с предложением изменений в романе. Написал статью для «Труда». Предложение с кинофабрики — написать сценарий «Хлеб», причем у них даже и сюжет есть.

14 сентября. По-видимому, немцы осуществляют второй тур осеннего наступления: атаки на юго-западе Сталинграда, бои возле Моздока и молчание — что делается южнее Новороссийска.

Ходил с Крайновым в военный комиссариат. По дороге Крайнов рассказывал, что работников комиссариата приходится часто смещать — «иначе хищения большие», и привел пример, как один за то, чтоб остаться, заплатил 60 тысяч рублей.

Был у Яшена, разговаривали вежливо с Халимой Насыровой. Прощался с Зелинским, который уезжает завтра, а Надежда Алексеевна летит сегодня ночью.

Кстати, о полетах. Крайнов высказал предположение, что немецкие аэроцистерны, может быть, заброшены в пустыне, окружающей Ташкент. Самолеты снизятся, зарядятся и прилетят в Ташкент. А здесь заборы глиняные, дома тоже — все и посыпется. Затем самолеты снизятся опять в пустыне, зарядятся и улетят. Зенитной защиты в городе нет. Вчера на вечере С. Городецкий спросил меня, отведя в сторону:

— Что случилось? Почему все улетают?

— Как все?

— Но ведь вы же летите?

— Собираюсь.

— Так в че-ем-м же-е де-ело?!..

Сегодня, между прочим, отправил в Москву, в Союз, просьбу, чтобы меня вызвали.

Б. Лавренев — источник неточный, правда, — сказал, что в дни, когда Черчилль приезжал в Москву, сопровождавший его генерал сделал доклад нашим генералам. «Ваша пресса ввела нас в заблуждение, — будто бы сказал он, — мы думали, что весной начнется ваше удачное наступление по всему фронту. Но весной оказалось, что ваши войска небоеспособны, и их разбили вассальные дивизии немцев. Немцы же держат против вас 150 дивизий и 100 на Западном фронте. В этих условиях мы не можем рисковать нашими силами, и мы должны превосходить немцев втрое, т. е. иметь 750 дивизий». Это что же, англичане должны иметь армию, скромно считая, семь с половиной миллионов?

Заходил вечером Шестопал. Он насобирает какого-то барахла и пешком с приятелем идет менять в Брич-Муллу. Дал ему рюкзак и очень сожалел, что не мог пойти с ним.

Купил книг на восемьдесят четыре рубля.

Читал «Янки при дворе короля Артура». Дон Кихот, перелицованный по-американски. Вместо Санчо Пансы какие-то болтливые девчонки. Плохо. Марк Твен не понял, что американец — янки должен бы так же ошибаться и казаться глупым, как и Дон Кихот. Ибо все стремления и гуманистов времен Дон Кихота, и демократов времен Марка Твена — как и наши — глупы и смешны. Мечом, как точно выяснилось, человека не переделаешь. Да и переделаешь ли его вообще? Да и нужно ли переделывать? Не нужно ничего навязывать человеку — так поступало истинное христианство, и высшее проявление человеческого духа: буддизм.

17 сентября. Вчера до поздней ночи говорили с В. Гусевым о Москве, откуда он только что приехал.

Бои на окраинах Сталинграда. Волга?!

Гусев: во-первых, речь Гитлера: «Нам нужны хлеб, уголь и нефть. Это в России мы уже получили: хлеб и уголь — и на днях получим нефть. На этом летнюю кампанию мы заканчиваем и оставшееся пространство России пусть берет кто хочет». Исходя, видимо, из этих слов, московские писатели — в частности, Фадеев и Катаев — пьют без просыпу: пространство для производства водки-то им хватит. Катаев пьет так, что даже Фадеев должен был ему посоветовать уехать на время: «А то за тобой уже посматривают». С похмелья разбился Я. Купала и т. д.

2) исходя из того, что «национальный элемент нами не учитывался», Поликарпов призвал Гусева и велел ему произвести «славянизацию писателей», т. е. выгнать евреев. Что Гусев и сделал. А началось это будто бы с того, что Щербаков призвал Фадеева, показал «Литературу и искусство» и сказал:

— Что за фамилии? Где великий русский народ?

После этого Фадеев «разбронировал» всех евреев из «Литературки».

3) Казаки на Дону и Кубани нас не предали. Предали «какие-то осетины». При приезде Черчилля договорились будто бы о вводе английских войск на Кавказ. У меня в «Бронепоезде» дама-беженка восклицает с упоением:

— Ах, как хорошо! Канадские войска самые спокойные!

О Россия!

Писал статью по рассказу полковника Леомеля — «На рубеже Москвы». Опять звонили из киностудии, обещали прийти поговорить, но, конечно, надуют. С волнением жду окончания своей статьи, чтобы хлопотать о поездке на геологоразведку.

Были кинематографисты. Полные идейных и формальных обносков. По соображениям, мне сейчас не известным, предлагали по их сюжету, по их собранным материалам написать сценарий о «Хлебе» на фоне Сыр-Дарьи. В качестве консультанта — в возмещение потерянного сюжета — Спешнев. Начальник сценарного отдела предложил своего отца, Швейцера, как киноспециалиста. Я рассказал ему, чтоб обменяться сюжетами, о генерале Галицком и о мечте, — и, так как у меня опять нет денег, а за «Пархоменко» не знаю, получу ли, а моего **собственного** сюжета они все равно не примут, я согласился.

18 сентября. Немцы ворвались в Сталинград, но были выбиты.

Окончил «Рассказ полковника Леомеля». Сдал.

Шел из радиокомитета с В. Гусевым. Его несколько коробит нервное состояние Ташкента. Я — спокоен, и поэтому мне говорить легче. На людей исключительных не действуют материальные обстоятельства, а на Гусева спокойствие пришло потому, что он сыт и с деньгами. Я же получил письмо от Юговых и Анны Павловны¹, те и другие, как по намекам можно понять, голодают. Я думаю, что у них состояние не более спокойное, чем у Ташкента с его бандитизмом, грабежами, с которыми, кстати сказать, думают бороться штрафом, как это видно по сегодняшнему постановлению ташкентского горисполкома.

Теперь надо налаживать поездку в горы. Городские обязанности свои я закончил.

Завтра-послезавтра напишу «макет» сценария. Если удастся, подпишу договор — и в путь. Трудно объяснить все это, но ничто не манит меня, как горы. Да и то сказать — от литературы мне ждать нечего, от политики — конечно, для меня только — тоже, от жизни вообще — только смерть. А там, в горах, я разговариваю с вечностью — правда, очень скромным языком, но все же говорю, а ведь тут-то у меня кляп во рту, в литературе, например.

Редакторы меня кромсают неслыханно! Сужу по «Халиме»! Я для них тот камень, из которого вырезают поделки. А, плевать!

*Публикация, подготовка текста,
примечания Елены ПАПКОВОЙ-ИВАНОВОЙ.*

¹ Иванова-Веснина Анна Павловна — первая жена Вс. Иванова, писательница. Их дочь Мария Всеволодовна умерла в 1974 году, от нее осталась дочь Елена. Семья писателя Алексея Югова (1902 — 1979) в 1942 году жила в квартире Вс. Иванова в Москве.

Интеллигенция: превратности свободы

Обсуждение темы интеллигенции ведётся в нашей стране не первый раз. Обратим внимание, что пик дискуссий вокруг этой проблемы почти всегда приходится на период кризисного состояния общества. И почти всегда в этом обсуждении можно обнаружить попытки осмыслить опыт прожитых лет и поиск выбора пути дальнейшего развития. Это невольно ставило и ставит проблему интеллигенции во главу угла. Две русских революции — 1905 и 1917 годов, включая Октябрьский переворот,— породили в сознании современников и потомков серьезные размышления об их смысле и значении для судьбы российской государственности и гражданственности. В знаменитом сборнике «Вехи» (1909) проблема интеллигенции рассматривалась и обсуждалась в контексте оценок и суждений о духовных ориентациях первой революции. Веховцы признали интеллигенцию «руководящим духовным двигателем» русской революции, определили ее как «идейно-политическую силу», и именно в этом качестве интеллигенция получила в России приоритеты при изучении своих социальных признаков, нравственных качеств и особенностей социально-политической позиции. Оценки авторов «Вех» во многом предопределили и утвердили противоречивое отношение к интеллигенции. Образ интеллигента складывался не благодаря изучению и установлению значимости субъективных качеств образованности, обоснованию множественности и независимости явлений духовной сущности человека, но в зависимости от субъективного отношения образованных людей к существующей власти и определения их политической позиции на арене общественной борьбы. Это вызывало и вызывает до сих пор возражения, несогласие, острые дебаты. А прожитое нами спустя годы после выхода «Вех» социальное время только добавляет горечи к продолжающимся спорам.

Вместе с тем постановка проблем интеллигенции, предпринятая авторами «Вех», открывала возможности для нового прочтения этой сложной и запутанной темы. Во всяком случае, стоило бы прислушаться к замечанию П. Б. Струве, который обратил внимание на существенную деталь, так и оставшуюся без должного внимания. В статье «Интеллигенция и революция» он отметил, что «слово «интеллигенция» может употребляться в различных смыслах, а история этого слова в русской обиходной и литературной речи могла бы составить предмет интересного специального этюда» («Вехи», сс. 133—134). Повторяю, на это замечание никто не обратил внимания, споры продолжались в прежнем русле; и до сих пор, обсуждая проблему интеллигенции, мы не руководствуемся ясным и отчетливым понятием об интеллигенции. Наше сознание скорее апеллирует к расплывчатым образам различных «интеллигенций»: мы говорим о дореволюционной интеллигенции, об оппозиционной советской, каждый раз подразумевая различные феномены. Уже одно это придает проблеме многозначный характер.

Не существует и более или менее общего представления об интеллигенции и среди самой интеллигенции. Социологи усматривают в ней более или менее однородный слой образованных людей, профессионально занятых умственным трудом. Философское сознание склонно к рефлексии творческого опыта интеллигенции в сфере культуры. Писатели создают образы интеллигентов, в которых наглядно выражены их личный путь и жизненные искания, а историк обозначает ту роль, которую сыграла интеллигенция в разрушении основ государства Российского. Каждый из них будет по-своему прав, и тем не менее каждое рассуждение только интуитивно предполагает, однако не определяет природы интеллигенции.

Самое трудноуловимое и тем не менее очевидное наблюдение скрытой природы интеллигенции подскажет, например, следующая ситуация. Если — не дай Бог — кому-либо из нас придется обратиться со своими проблемами к профессиональным советам психолога, то в конце беседы так или иначе, но возникнет стандартный набор успокоительных фраз: «Не волнуйтесь. Ничего страшного. Вы слишком интеллигентны. (Иначе — ранимы, восприимчивы и т. п.) В наше время так нельзя!» И это неявное противопоставление интеллигентно существующего мира человека и неинтеллигентно выраженного бытия вещей, предметов и отношений объективного мира ясно указывает на то, что проблема интеллигенции на самом деле не является проблемой только социального слоя или только проблемой личности, а так или иначе выходит за границы нашей субъективности.

Это особенно четко прослеживается в кризисе социальной идентичности интеллигенции, который проявляется уже в том, что эти условные социолог, психолог, историк и философ в соответствующей ситуации откажутся быть интеллигентами, — каждый из них будет подчеркивать свою профессиональную принадлежность и определенность и утверждать, что за ее пределами он только частное лицо, но никак не представитель этого слоя. Как тут не вспомнить известное восклицание А. И. Панченко: «Не хочу быть интеллигентом!» — прозвучавшее в конце 80-х годов и ставшее сигналом утраты интеллигенцией своей социальной идентичности. Восклицание было достаточно внятнм, предлагало возможность какого-то нового поворота в обсуждении проблемы, однако этого не случилось и оно зависло в привычном для нас равнодушии.

Все это создает сложную ситуацию парадокса: получается, что природа интеллигенции есть нечто ускользающее от нашего понимания, и вместе с тем сама интеллигенция с очевидностью присутствует — хотя бы как некоторая сумма человеческих усилий в выражении и воплощении ценностей, идеалов, стремлений, как результат нашей собственной духовной деятельности. Результат, который — увы! — иногда противоречит самим идеалам и не оправдывает первоначальных намерений.

Парадоксальность такой ситуации осложняется еще и тем, что для нас сам термин «интеллигенция» имеет особый смысл, открывающийся в ретроспективе российской истории. Развивая историсофские контексты обсуждения этой проблемы, мы смело можем говорить об исторической российской интеллигенции. И если в семидесятые годы XIX века термином «интеллигенция» была названа относительно небольшая социальная группа, занимавшая в сословном целом дореволюционного общества место маргинального социального образования, то уже девяностые годы прошлого века и последующие за ними события XX века вполне можно назвать «интеллигентским этапом» российской истории.

«Триумф и трагедия» российской интеллигенции практически целиком были связаны с подготовкой и осуществлением революций и последующим за ними периодом советской истории. Не видеть и не понимать этого нельзя. Характер и тематика развернувшейся в нашем обществе полемики вокруг двух наследий — дореволюционной и советской России — свидетельствуют, что именно проблемы интеллигенции оказываются камнем преткновения в выборе вектора дальнейшего развития и водоразделом в отношении к ценностям и идеалам этих двух эпох — одной исторической России.

И как бы ни были противоположны оценки деятельности интеллигенции в истории, рано или поздно, вольно или невольно, однако основания для взаимопонимания придется искать не вне интеллигенции, но внутри нее самой. А это значит, что необходимо отказаться от расхожих и часто произвольных толкований смысла этого термина и поставить вопрос о подлинной природе интеллигенции, о формах ее проявления вне и независимо от социальной номинации, осуществившейся в России благодаря этому термину.

Сложность задачи обусловлена тем, что для ее решения потребуется не просто реконструкция исторических моментов, связанных с возникновением феномена интеллигенции. История интеллигенции, сколь бы детальной она ни была, сама по себе для достижения намеченной нами цели может мало что дать, если не обратиться к поиску логических оснований, благодаря которым эта номинация оказала столь мощное воздействие на менталитет и самосознание нации. И если мы не обратимся к анализу самого имени интеллигенции, мы неизбежно будем апеллировать к образу интеллигенции, который окажется внятн только размышлениям о событиях исторического прошлого, а реальные действия интеллиген-

ции так и останутся неуловимы для нашего настоящего. Это, естественно, оставит место для исторических ошибок и их роковых последствий, преодолеть которые бывает трудно, а подчас и невозможно.

Существуют также и сугубо прагматические основания для уточнения содержания термина «интеллигенция» и определения его места в структуре наших представлений о социальной реальности. Эти основания обозначены потребностью в расширении и углублении практики социологических исследований, которые могли бы адекватно отразить происходящие изменения социально-экономического бытия нашего общества, сформировать его реальный, а не искаженный образ. Причем целый ряд наблюдений за публикациями в прессе и отдельными высказываниями позволяет прийти к выводу, что переживает кризис сама социологическая интерпретация термина «интеллигенция». Общепринятое социологическое представление об интеллигенции как о более или менее однородном слое образованных людей (с высшим образованием или ученой степенью, занимающихся умственным трудом) перестает удовлетворять и самих социологов. Социологические исследования неизменно оказываются уже тех социальных значений и культурных норм, в которых находят свое выражение бытие и сознание интеллигенции. А исследования последних лет регистрируют объективную и устойчивую тенденцию к размыванию социальных границ интеллигенции в структуре постсоветского общества.

Все это, вместе взятое, заставляет обратиться уже не только к социологическим, но и к философским и культурологическим способам определения интеллигенции.

В связи с этим нельзя обойти молчанием то, что и самосознание интеллигенции, и отношение к ней во многом были предопределены существованием и развитием в российском обществе двух идейных движений — славянофильства и западничества. У этих двух течений был один интеллектуальный источник — традиция немецкой классической философии. Именно в контексте взаимодействия этой традиции с менталитетом русского общества прошлого века можно оценить основные моменты формирования характера русской образованности. И именно это взаимодействие во многом оказалось живым нервом нашей исторической интеллигенции, предопределив ее неразличимое единство с образованностью Западной Европы и одновременно обособление от ее культуры и истории, которое она стремилась и продолжает стремиться преодолеть, реформируя социальный и культурный образ России. Соответственно понимание замыслов и идей этой традиции, осознанный выбор отношения к ее наследию оказывались или осознанным началом, или логическим концом отношения русских образованных людей прошлого века к собственной культуре и истории. И мы не можем сказать, что это понимание всегда было ясным, отчетливым и внятным уму и чувству наших соотечественников. Об этом свидетельствует как раз пример восприятия и усвоения российским менталитетом представлений об интеллигенции как о персонифицированной в социальном слое сущности. Тем более учитывая исторический опыт, который пришлось пережить уже в двадцатом веке, мы не можем этого сказать о себе. Очевидно одно: исторически сложилось так, что термин «интеллигенция» — один из наиболее емких и богатых терминов немецкой философской традиции — получил в русской культуре совершенно иной статус, который закрепился и расширился в советский период нашей истории. Неудовлетворенность «прочтением» его смысла испытывали и в прошлом веке, но трагический и противоречивый опыт советских преобразований предельно заострил саму проблему интеллигенции и поставил ее как проблему границ и пределов свободы русской культуры в ее отношениях с культурой западноевропейской. Советский период нашей истории поставил проблему интеллигенции уже не социологически, а культурологически — это очевидный факт, и он настоятельно требует своего осмысления.

Сейчас признается неправомерность употребления термина «интеллигенция» в социологическом контексте. Постепенно изменяется и практика его использования. С одной стороны, журналисты все больше и больше предпочитают употреблять его в жанре исторической публицистики, а в научных, актуальных политических статьях активно практикуется термин «элита», который во многом более точно передает сложившиеся реалии современного общества. Конечно, это связано с изменением взглядов на принципы дифференциации постсоветского общества, но не менее

важную роль сыграло и то, что в течение советского периода в культурном сознании исподволь формировалось и присутствовало сразу несколько образов интеллигенции, например, «настоящая интеллигенция» и «псевдоинтеллигенция». Соответственно утверждение одного из них в качестве нормативного образца делало возможным плавное и довольно безболезненно изменить социокультурные акценты в понимании термина «интеллигенция», заменив его на более приемлемый во многих отношениях термин «элита». Конечно, это отчасти снимает общую неудовлетворенность прежним словоупотреблением, но одновременно и прикрывает остроту рассматриваемой проблемы. С другой стороны, происходит медленный процесс расширения смысла и содержания термина «интеллигенция». Сошлюсь, например, на мнение В. Г. Хороса, который предположил, что «интеллигенция — это не столько отграниченный, анкетно удостоверяемый слой населения, сколько особая социокультурная среда» (В. Г. Хорос. Интеллигенты всех слоев. «Литературная газета», 23 ноября 1988 г.). И это не единственный пример.

Последнее, с нашей точки зрения, оправдывает стремление поставить и расширить круг вопросов как исторического, так и философско-культурного плана, которые возникают на фоне изменений, происходящих с интеллигенцией.

Обратимся к истории.

Редукция понятия «интеллигенция» к термину, который стал использоваться в России для обозначения нового социального слоя, была осуществлена П. Д. Боборыкиным в одном из его романов, написанных на фоне пореформенной (после 1861 г.) жизни российского общества. Напомню, что термином «интеллигенция» в романе была обозначена группа людей, олицетворяющих прогрессивные идеалы общественного развития и достоинство человека, существующее вне и независимо от принадлежности к определенному сословию или чиновному рангу. В этих людях автор усмотрел сознание своих убеждений и идей, сознание обретенной свободы, стремление расширить ее, закрепить связанные с ней ценности, нормы поведения и образ жизни. Подчиняясь законам литературного жанра, Петр Дмитриевич фактически представил образную метафору умственной жизни в России. В интеллигенции, таким образом, свобода человеческой воли и совести оказалась непосредственно связанной с жизнью ума и творчества. После этого термин «интеллигенция» стал своеобразным знаковым принтипом, который, в сущности, мог бы собрать разрозненные части целого и выразить реальные пути и формы развития интеллектуальной культуры России. Такой задачи, однако, прямо никто не ставил, и в признании особого статуса интеллигенции фактически выразилось стремление отдельных социальных групп — иногда случайных и маргинальных — обрести социальную и культурную нишу, найти для себя приемлемые пути «вхождения во власть», пути накопления и реализации человеческого потенциала. Постепенно интеллигенция становится значимым элементом социальной структуры, и именно благодаря тому, что сам термин оказался удачным для своего времени средством персонификации интеллектуального фактора в развитии российского общества. До этого момента литературная и критическая мысль создавала образы «лишних людей» (В. Г. Белинский), «разумных эгоистов» (Н. Г. Чернышевский), «мыслящих реалистов» (Д. И. Писарев), в которых выражались фрагменты интеллектуальных стремлений и утверждений молодых русских людей, но еще отсутствовало представление о возможности найти их общий знаменатель. Термин «интеллигенция» оказался в этих условиях максимально точным и восполнил пустующую клеточку социального организма. История журнальной и литературной полемики вокруг этого, характерного именно для России, словоупотребления представляет специальный интерес.

Журналисты и публицисты, включенные в полемические споры, весьма не критично отнеслись к выяснению и обсуждению содержательных аспектов термина «интеллигенция». Никто из них не называл, а возможно, и не знал философского источника, где термин «интеллигенция» имел принципиально иной статус — статус философского понятия, объем и содержание которого позволяли автору описывать субстанциональные формы человеческого духа.

Вероятно, П. Д. Боборыкин заимствовал термин «интеллигенция» при чтении на немецком языке «Основ общего наукоучения» И. Г. Фихте. Доступность этого текста для П. Д. Боборыкина — чего, видимо, нельзя сказать о других — вне сомнения: как известно, знаменитый романист был одним из богатейших и образованных людей России, имел широкие интеллектуальные и деловые связи в Западной Европе, владел всеми европейскими языками. Образование получил в Дерпте, где учился на физико-математическом и медицинском факультетах. Возможно, он посещал и занятия на гуманитарных отделениях, где слушал курс истории философии. В лю-

бом случае он не мог не знать основных понятий немецкой философии. Однако восприятие их оказалось более чем своеобразным. Вероятно, естественно-научные интересы Боборыкина, решительно и твердо принятое им позитивистское мировоззрение с презрительным отношением к «метафизике» — о чем неоднократно писал он сам — позволили ему не считаться с концептуальными положениями системы Фихте и отбросить в сторону собственно философское содержание понятия «интеллигенция», с особой тонкостью разработанное в системе наукоучения. Сейчас трудно сказать, что именно заставило его редуцировать философское содержание понятия «интеллигенция» к известному нам термину. Возможно, что причиной этого был наблюдаемый разрыв в темпах роста интеллектуального развития Европы и России и он попытался найти адекватную условиям российского общества форму выражения интеллектуальной деятельности. Сама эта редукция оказалась настолько эффективной, что термин «интеллигенция» в России обрел самостоятельное значение и породил свою мифологию, а ко времени перевода философских работ И. Г. Фихте на русский язык (1916 г.) в примечаниях к тексту пришлось специально оговаривать его подлинный смысл. И только сейчас становится очевидным, насколько неудовлетворительной оказалась сама интерпретация термина «интеллигенция» *par excellence* в социологическом плане без ориентации на его «философское измерение» и без соответствующей сверки его возможностей быть соотношенным с реалиями и ситуациями развития российской истории, политики, науки, культуры. Исторически сформированный в России образ интеллигенции оказался лишь бледной копией того, что подразумевалось объемом и содержанием понятия.

Перевод на русский язык основных философских работ Фихте в принципе открывал возможность нового понимания природы интеллигенции, а развернутое сопоставление двух традиций употребления этого термина — российской и западноевропейской — могло бы стать исходной точкой в прояснении многих аспектов взаимодействия двух культур. Исследователи, однако, предпочли не акцентировать этого разночтения. К тому же уже шла первая мировая война...

Между тем вопрос о природе интеллигенции касался наиболее существенного аспекта человеческого бытия — проблемы свободы, поставленной не в метафизическом ключе, но с точки зрения диалектического анализа и обоснования возможных условий практического действия. Фихте акцентирует понятие «интеллигенция», делая его одним из центральных принципов своей философской системы, наряду с понятием о «Я» и «не-Я». В исходной трактовке Фихте «способность определять себя безусловно, без принуждения и побуждения к действию вообще» есть необходимое условие всякого действия человеческого духа, корень его субстанциональности. Сам по себе человеческий дух, определенный своими необходимыми действиями, еще не есть интеллигенция, но он может ею стать при определении своей свободы, ее пределов и границ.

При этом под свободой человеческого духа понимается внятный для всякого христианина постулат о свободе как сущности человеческого рода, отличающей его от всех остальных родов, населяющих Землю. Важно понять эту исходную предпосылку рассуждений об интеллигенции. Фихте исходит из очевидного: христианин мыслит и полагает свободу как предельное состояние человеческого бытия, отнять которое в принципе невозможно. Именно эту очевидность и подвергает он философскому анализу. В связи с этим мы имеем право говорить о том, что Фихте сам факт явления христианства осознал как явление свободы, а потому его анализ интеллигенции — это попытка рациональными средствами философии и науки исследовать область веры.

Интеллигенция — это определенная осознанным пределом свободы форма действий человеческого духа, духовная сущность. Человеческий дух обретает форму интеллигенции в рамках сознания способа своего действия и обретает ее постепенно, после долгих поисков, апробируя различные степени выраженности свободы своих действий. «Человеческий дух делает различные попытки; через слепое хождение вокруг да около он приходит к рассвету и уже затем переходит отсюда к светлому дню. Его ведут первоначально смутные чувства; и мы до сих пор не имели бы никакого ясного понятия и были бы все глыбой земли, оторванной от почвы, если бы не начали смутно чувствовать то, что мы только после ясно узнали» (И. Г. Фихте. О понятии наукоучения). В интеллигенции субстанциональность человеческого духа находит свою определенную актуальную форму, свободно выражающую через специфические, духовные по своей природе силы, — философствующую силу суждения, силу воображения, веру, сомнение. Иными словами, интеллигенция есть

не что иное, как уже выраженное — через определенное и тем самым ограниченное разумом действие свободы — бытие осознающего себя субъекта.

Поскольку полнота свободы в западноевропейской традиции определялась и выявлялась благодаря развитию знания, постольку Фихте конкретизировал представления о теоретическом сознании субъекта как одной из основных форм интеллигенции. Фундаментальный проект Фихте был направлен, следовательно, на обоснование свободомыслия, на опробование возможностей человека действовать в материале своих поисков и исследований не произвольно, но согласно предварительно осознанному пределам и границам своей свободы. Его проект устанавливает деятельность философа и ученого как максимально целесообразную и нормальную с точки зрения потребности общества в определениях свободы. Именно такая деятельность позволяет представить и выявить предметные структуры в их свободе, задать нормы и правила их свободного взаимодействия между собой. Другими словами, овладение личной и социальной свободой происходит благодаря различной степени интеллигентно выраженного бытия вещей и предметов окружающего нас мира. Правила и схемы свободы принципиальны для интеллигенции. Одним из первых для европейской культуры правил свободы стало осознание суверенности веры и знания.

Здесь не место и не время вдаваться в развитие данной темы, принципиально важной и самостоятельной для понимания характера взаимодействия западноевропейской и русской христианских традиций. Следует, однако, заметить, что именно в ее контексте, в разработках положительных смыслов интеллигенции следует искать ответы на историсофские вопросы и споры, ведущиеся вокруг феномена исторической российской интеллигенции.

Тотальное наращивание социальных измерений интеллигенции происходит в русской публицистике XIX века. Постепенно интеллигенция становится если не субъектом, то активным фактором российской истории и политики и устойчивой социальной группой. Оценивая этот факт, один из первых российских социальных мыслителей, А. Д. Пазухин, прямо указывал, что «одновременен с постепенным разрушением сословий народилось и стало быстро разрастаться бессословное общество, получившее название интеллигенции. Под этим именем обыкновенно разумеют культурный слой, который, возвышаясь над народом уровнем умственного развития, является представителем интересов, выразителем и истолкователем чувств и желаний народа» (А. Д. Пазухин. Современное состояние России и сословный вопрос). В этом определении интеллигенция оказалась понята только как коллективный субъект культурной жизни, что позволило ей действовать согласно произвольным началам своих представлений о благе народа. Долгие коллизии взаимоотношений интеллигенции и народа, проявившиеся в практике народничества, оставались неясными и воспроизводились в обостренной форме, накапливая отрицательный потенциал неразрешенных противоречий. Но они могли бы быть прояснены, если бы термин «интеллигенция» был понят, воспринят по-иному, если бы учитывалось развитие свободных и естественных социальных связей, если бы было признано родство разума и народной жизни с ее религиозной традицией, предприимчивостью, способами ведения хозяйства. Признание этого родства, развитие его социокультурных форм, возможно, обнаружили бы иную генеалогию русской интеллигенции, в которой нашлось бы место и для государственного консерватизма, и для особых задач русской философии, и для смысла русского предпринимательства. Корни этой генеалогии, возможно, крылись в особом понимании и особом чувстве свободы, которое было свойственно русской национальной жизни и которое осталось не осознанным в революционном пылу, в том времени, когда складывалось интеллектуальное и идеологическое обоснование революции как единственного «дела-действия» исторической интеллигенции. Во многом это было связано именно с неувверенностью метафизических координат термина «интеллигенция», с очевидной вульгаризацией его смысла.

Вместе с тем ситуация, связанная с ломкой устоявшейся в течение длительного исторического периода социальной организации российского общества, была весьма напряженной. Интеллигенция, ее роль и жизненное место, ее задачи и цели оказались в центре внимания российской общественности. Однако понимание смысла и качества новых социальных связей, открывающихся благодаря возникновению новой социальной общности, было далеко не однозначным. Практически никто не сумел точно выразить и обозначить действительную сферу, в которой можно было бы найти конкретное социальное значение и культурные нормы деятельности интеллигенции. Некоторые открыто заявляли о своем неприятии интеллигенции и резко снижали ее значение для развития социальной и культурной жизни общества. Другая часть, наоборот, видела в интеллигенции особую по своим качествам социаль-

ную группу, призванную к особой «исторической миссии», обладающую «социальным и нравственным предназначением» служения народу. Вокруг этих крайних точек зрения и происходило становление самосознания интеллигенции, которое не могло не отразить в себе навязанной извне двойственности, противоречивости. Это, конечно, не означало отсутствия трезвых оценок роли интеллигенции в российском обществе. Такие точки зрения высказывались и преследовали цель указать на неоднородность интеллигенции и неоднозначность ее взаимоотношений с народом. Об этом писал А. Д. Пазухин. Он специально подчеркивал, что «так как народ не есть только механическое сочетание единиц, а совокупность живых органических союзов, бытовых групп, исторических сословий, то и культурный слой не есть элемент однородный, способный представлять интересы всей массы народа; он может быть представителем лишь известных общественных союзов. Такой культурный слой обыкновенно увеличивается по мере развития потребности в труде умственным и представляет отрадное явление, ибо указывает на подъем цивилизации» (А. Д. Пазухин. Современное состояние России и сословный вопрос, сс. 39—40). Пазухин понимает интеллигенцию как социальную группу и очерчивает только одну сферу, в которой могли бы реализоваться положительные начала интеллигенции, не связанные с проблемами тотального социального самоутверждения. Именно и только умственный труд, распространение свободных профессий — без четкого обозначения их этических компонентов — оказались сферой, в которой стало принципиально осуществимо развитие новых социальных связей, реализующих достигнутую в ходе реформы отношений собственности личную независимость и свободу. Это чрезвычайно сузило смысловое поле представлений интеллигенции о самой себе, из явного многое сделало тайным и в принципе допустило возможность социальной мифологии вокруг ее положения в обществе.

Особенность интеллигенции среди других социальных групп в конечном итоге выразилась в преувеличенном значении и осознании своей социальной исключительности и призванности к революционному действию. Именно последнее и стало своеобразным «убежищем свободы» для образованного русского человека, именно этим можно объяснить тягу русских состоятельных и образованных людей финансировать революцию. И здесь также сказались непроясненность природы интеллигенции, невнятность ее действительного смысла и содержания, что позволило играть на своем авторитете и причастности к знанию и науке.

Можно предположить, что мы практически изжили «интеллигентский этап» в истории России, а это значит, что объективно историческая интеллигенция исчерпала себя в качестве социальной страты и политической силы, одновременно исчерпав (если не распылив) и тот человеческий, нравственный потенциал, которым она располагала в прошлом.

Трудно представить себе общество, которое не было бы заинтересовано в развитии своих собственных способов осознания и представления образов свободы в реальной жизни. А это значит, что нам еще только предстоит многое преодолеть в ошибочности прежней интерпретации, понять интеллигенцию как потенциал и форму развития человеческого духа и приложить это понимание к моделям социального и культурного развития.

Учитывая и уясняя для себя подлинную природу интеллигенции, мы получаем возможность понимания и истолкования опыта исторического и культурного бытия России как опыта свободы, своеобразия которого, строго говоря, является достоянием глубины и свидетельством мощи христианской традиции. Упреки в исконном «русском рабстве» должны быть отвергнуты указанием прежде всего на то, что всякий народ, ищущий свое призвание не только в созерцании самого себя, но и в практической жизни, должен проходить этапы зависимости своей воли с целью ее закалки и воспитания. На это указывал еще Н. Я. Данилевский, излагая свое видение становления различных форм государственной и политической жизни в свете разработанной им теории культурно-исторических типов. «Эта зависимость,— писал Данилевский,— приучающая подчинять свою личную волю какой-либо другой воле (хотя бы и несправедливой), для того чтобы личная воля всегда могла и умела подчиняться той воле, которая стремится к общему благу, имеет своим назначением возведение народа от племенной воли к состоянию гражданской свободы» (Н. Я. Данилевский. Россия и Европа. М., 1991, с. 233). Другой вопрос, что борьба народов за обретение политической и гражданской свобод оплачивается не только кровью, но часто и утратой права на естественную среду обитания. Позволю здесь еще раз сослаться на Данилевского, который специально подчеркивал, что именно право на землю — причем не юридически выраженное через право частной собственности, а

через осознание своего права на общее землевладение — является средоточием и точкой отсчета практического решения проблемы политической и гражданской свободы. «Европейские народы прошли через горнило феодальной зависимости и не утратили в нем ни своего нравственного достоинства, ни сознания своих прав; но в течение своего тяжелого развития они утратили одно из необходимых условий, при котором только гражданская свобода может и должна заменить племенную волю: утратили самую почву свободы — землю, на которой живут. Эту утрату стараются заменить всевозможными паллиативами: придумали даже нелепое (нелепое с точки зрения библейского предания.— **И. Н.**) право на труд, который неизвестно чем бы оплачивался,— чтобы не назвать страшного слова права на землю, которое, впрочем, также было уже громко произносимо. Ежели и это требование должно быть удовлетворено, если и этот след завоевания должен быть изглажен, то все основы общественности должны подвергнуться такому потрясению, перед которым все прежние теряют свое значение,— потрясению, которое едва ли может пережить сама цивилизация, сама культура, имеющая подвергнуться такой отчаянной операции,— а подвергнуться ей должна она неминуемо» (Н. Я. Данилевский. Россия и Европа. М., 1991, сс. 237—238). Трагичный опыт политической истории, пережитый человечеством в XX столетии, показывает, насколько прав был русский мыслитель.

Характер протекания видимых и невидимых течений политической жизни после победы Советского Союза во второй мировой войне и последующие события, вплоть до наших дней,— все говорит о том, что сейчас речь идет о сложных переплетениях путей христианской цивилизации Востока и Запада, а следовательно, и о существовании христианской культуры в целом. И вопрос об исторической русской интеллигенции имеет к решению этой проблемы самое непосредственное отношение. По моему глубокому убеждению, новое понимание природы интеллигенции даст шанс вывести обсуждение судеб христианской культуры из русла противостояния западноевропейской и русской традиции в русло их пусть противоречивого, но все же взаимодействия. При этом необходимо поднять целый ряд до сих пор не разрешенных ни усилиями мысли, ни ходом самой истории вопросов, имеющих не только культурологический и философско-исторический, но и богословский характер. И речь прежде всего идет о полемике, возникшей еще в XIX веке вокруг публицистики Ф. И. Тютчева, крупнейшего русского дипломата и поэта, продолженной А. С. Хомяковым. Эта полемика касалась общественно-политических последствий церковных разногласий Востока и Запада и в конечном итоге восходила к обсуждению вопроса о природе Церкви, о критическом отношении русских мыслителей к латинскому учению о «Церкви учащей» (клир) и «Церкви поучаемой» (миряне). Последнее напрямую связано с обсуждаемой нами проблемой подлинной природы интеллигенции. Неверно истолкованное представление интеллигенции о самой себе как о «социальной группе, имеющей особое нравственное и историческое предназначение», заставило ее встать в интеллектуальную оппозицию к христианским традициям народной жизни и в конечном итоге понять свое призвание как своеобразное «учительство» народа, что особенно наглядно и выпукло проявилось в практике народничества. Здесь уместно привести оценки А. С. Хомякова, данные им не народничеству, но тому феномену европейского культурного развития, которое первоначально обозначилось в рациональных обоснованиях суверенности веры и знания, а затем — уже опосредованно, через этапы развития европейского общества,— нашло свое выражение в особенностях организации церковной жизни Западной Европы, получив свое социокультурное выражение в указанном выше раздвоении Церкви на церковников и мирян. Результатом этого раздвоения стали особый авторитет и статус логически обоснованного поучения словом, исходящим от церковников к мирянам.

Именно этот феномен оказался предметом разногласий между восточными и западными формами исповедания христианской религии. Православная Церковь отнюдь не отрицает поучения, но и не сводит его к логически выверенному, а потому непогрешимому слову. И это принципиально важный момент. Настолько важный, что именно по этому поводу было принято специальное постановление собора всего восточного клира. Определения Хомякова защищают именно православное понимание поучения: «Всякое слово, внушенное чувством истинно христианской любви, живой веры или надежды, есть поучение; всякое дело, запечатленное Духом Божиим, есть урок; всякая христианская жизнь есть образец и пример. Мученик, умирающий за истину, судья, судящий в правду (не ради людей, а ради самого Бога), пахарь в скромном труде живут и умирают для поучения братьев; а встретится в том нужда — Дух Божий вложит в их уста слова мудрости, каких не найдет ученый и богослов». И далее заключает: «Поучает не одно слово, но целая жизнь» (А. С. Хомя-

ков. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. Работы по богословию. М., 1994, с. 49). Другими словами, православное вероисповедание признает средством поучения для человека и общества не логически выверенное рассуждение на заданную тему, а духовный и чувственный опыт, определения смыслов которого — художественные, практические или интеллектуальные — способны выразить в себе основы человеческой жизни.

Хомяков пишет свои замечания о природе Церкви задолго до возникновения интеллигенции как социальной группы. И пишет их на французском языке. Его блестящее знание понятий и терминов немецкой классической философии не может вызывать сомнения. И — обратим на это особое внимание — для того, чтобы полнее выразить смысл своих определений на столь важную тему, он использует французское различие *la raison* и *l'intelligence* (разума и интеллигенции). Не может быть сомнений в том, что Хомяков знал и владел смыслом этого термина, но также очевидно, что он не мог допустить его использования в том смысле, в котором он утвердился в русском языке позднее. Славянофилы, и особенно сам А. С. Хомяков, настаивали на термине «соборность», который более точно выражал природу социальности, сложившуюся на русской почве, но не нашел своего адекватного выражения в практике организационных и экономических взаимодействий.

Тема эта была настолько важна, что переводчик с французского богословских сочинений Хомякова расширяет и уточняет смысл его определений: «Христианство преподается как наука под названием богословия; но это не более как ветвь учительства в его целостности. Кто отсекает ее, иными словами, кто отрывает учительство (в тесном смысле преподавания и толкования) от других его видов, тот горько заблуждается; кто обращает учительство в чью-либо исключительную привилегию, впадает в безумие; кто приурочивает учительство к какой-либо должности, предполагая, что с нею неразлучно связан Божественный дар учения, тот впадает в ересь: ибо тем самым создает новое, небывалое таинство — таинство рационализма, или логического знания» (А. С. Хомяков. Сочинения, т. 2. Работы по богословию. М., 1994, с. 363).

Эти определения, обращенные к современникам Хомякова, взывали к настоятельной необходимости пересмотреть значимость и статус учительства, понять его более широко — как духовное наставничество в христианской жизни и правилах жизни светской. Кроме того, эти определения призваны были обратить внимание на то, что духовное наставничество, когда учитель и ученик духовно обогащают друг друга, суть социальный институт, по каналам которого могла бы транслироваться культура ума и чувства, присущая традиции православной ветви христианства. Именно внутри этого института могли бы сформироваться такие формы и структуры творческой деятельности, которые позволили бы естественным путем организовать «культурный фонд» идей и замыслов русских мыслителей, публицистов, писателей, художников.

Возможно, вышеизложенное в какой-то мере поможет разубедить тех наших исследователей, которые уверены в абсолютно злонамеренной и коварной роли исторической российской интеллигенции в социально-политическом развитии России. Соглашаться с ними недопустимо, и прежде всего потому, что недопустимо абсолютизировать зло. Интеллигенция в ее совокупной ипостаси индивидуальных и личных жизней здесь совершенно ни при чем. Но, безусловно, искаженное самосознание интеллигенции способствовало исторической объективации зла в форме сложных завязок и развязок в развитии народнической, а затем и марксистской идеологии. Не концептуальные положения марксизма, а именно их перевод в искусственный язык идеологии, осуществленный рациональными средствами, оказал разрушительное воздействие на менталитет российского общества, создал основания для глубоких и сначала межсословных разрывов, а затем и для разрывов в органическом теле самого общества. Сорвать эту маску неопределенности и лукавства с образа интеллигенции можно в том случае, если интеллектуальными средствами преодолеть идеологизированный смысл этого термина, привившийся на российской почве и с особенной силой проявившийся в репрессиях, когда жизнь, человеческое достоинство и честь оказывались под идеологическим судом. При этом исторический феномен массовых репрессий, которые символизировались и во многом рационально оправдывались апелляцией к образу «революционной справедливости», следует понять как одну из форм репрессивной практики осуществления социокультурного реформирования общества. Подобное наблюдалось в другое историческое время и в других обществах.

Можно сказать, что загадка и тайна противоречивого взаимодействия западноевропейской и русской культуры выражена в творчестве А. С. Пушкина. Малень-

кие трагедии «Пир во время чумы», «Скупой рыцарь», «Каменный гость» и особенно «Моцарт и Сальери» содержат своеобразный культурный код, по-своему интерпретирующий эти противоречия. Фактически Пушкин дает нам символическое пространство, в котором расположены смысловые точки единства, знаки разногласий западноевропейской и русской христианских традиций.

Глубокая противоположность характера творчества Моцарта и Сальери коренится именно в области раздвоенности человеческого интеллекта и одновременно последовательности человеческой воли. И яд оказывается актуально действующим и решающим доводом, средством в делах слепого рассудка и упорной воли. Жизнь Моцарта — в версии Пушкина — оказалась заложницей не просто зависти Сальери, но глубокой, рационально выверенной убежденности в отсутствии права Моцарта на дальнейшее творчество.

Сальери покушается не только и не столько на физическое существование Моцарта, но на его существование в духовном, творческом измерении. А это уже совсем другой поворот в теме свободы человеческой деятельности, непосредственным образом касающийся проблемы интеллигенции.

Суть трагедии Пушкина заключается не только в перипетиях отношений Моцарта и Сальери. Скорее можно предположить, что эти отношения — художественно выраженный шифр раздумий самого Пушкина о судьбе христианства как жизненной и творческой основе развития западноевропейской и русской культур. Он предвосхищает проблему духовного, творческого наследия как проблему развития актуальных форм христианской культуры в ее целом. Мы не видим смерти Моцарта и не знаем ответа на вопрос Сальери. А это значит, что трагедия взаимоотношений Моцарта и Сальери перерастает рамки искусства и становится трагедией самой христианской культуры.

В глубоко последовательном отношении Сальери к Моцарту Пушкин как бы угадывает пафос рационального оправдания убийства соображениями пользы, ибо именно они, следуя текету, оправдывают пресечение физической и творческой жизни Моцарта. Казалось бы, на этом можно поставить точку, принимая абсолютность заповеди «не убий». Но обратим внимание, что финал трагедии вопреки жанру, который предполагает узнавание, звучит у Пушкина принципиально вопросительно. В чем же дело? Какое содержание скрыто в вопросительном восклицании Сальери?

Осмелюсь высказать предположение — и это принципиально важно в связи с рассматриваемой здесь темой интеллигенции, — что Пушкин мучительно пытается распознать трагедию Моцарта и Сальери и найти для нее подлинно христианское истолкование. Как представляется, Пушкин глухо угадывает, что их трагедия — это трагедия избранничества, ибо гений и злодейство — две вещи несовместные не перед лицом искусства и творчества, а перед реальностью христианской веры и любви.

Вопрос Сальери («...ужель он прав, / И я не гений? Гений и злодейство / Две вещи несовместные. / Неправда: А Бонаротти? или это сказка / Тупой, бессмысленной толпы — и не был / убийцею создатель Ватикана?»), в котором глухо слышатся и ноты сомнений самого Пушкина, означает лишь то, что ответ может быть найден в глубинах истории и культуры, которые совокупно хранят личный опыт каждого когда-либо жившего человека и творятся человеком, наделенным не только свободой, но и нравственным чувством, принципиально несводимым к хаотичной совокупности данных физических органов чувств. А это значит, что свобода воли может и должна быть подчинена нравственному чувству, которое вменено человечеству и человеку не случайно, а с одной лишь целью — отточить его способность к совершенствованию и организации своих физических органов чувств. Именно такой ответ дала русская философия на все вопросы, заданные в традиции немецкой классической философии. И наша вина, что эти ответы до сих пор не отражены в практике российских социальных и экономических преобразований. Мы ведем себя как герои маленьких трагедий Пушкина, совершенно игнорируя при этом художественное, интеллектуальное и нравственное наследие великого поэта. Неужели оно так и останется невнятным для нашего творческого воображения, как останутся невнятными темы и сюжеты, развитые русскими философами, экономистами, социологами?

Пушкин глубоко прочувствовал и выразил в своем творчестве «борозды и межи», пролегающие между западноевропейской и русской традициями христианской культуры. Конечно, и его мучили сомнения. Но он стремился поставить им предел, ограничить их чувством и разумом, найти корень творческой проблемы и волею принята на себя труд решить ее в своих творениях. И разве такая позиция не адекватна тому, что выразил И. Г. Фихте в постановке проблемы интеллигенции? На-

помню: в трактовке Фихте интеллигенция не есть социальная группа или образованный слой, но суть уже определенная осознанным пределом свободы форма действий человеческого духа, духовная сущность. Обобществление этой духовной сущности жестко фиксированными социальными критериями недопустимо, ибо речь принципиально идет не о самой свободе, но о выраженности ее пределов, норм в действиях людей. Если такое обобществление происходит, в теле общества возникает клетка, которая содержит в себе ядро тотальности. А оно может обрасти идеологией тоталитаризма.

Предложенный подход к пониманию термина «интеллигенция» в корне меняет образ социальной структуры нашего общества, повышает требования к выбору терминов при обозначении новых социальных общностей, возникающих в процессе его реформирования. Я не хочу сказать, что необходимо немедленно отказаться от употребления термина «интеллигенция» в прежнем значении. Но необходимо отказаться от принципа идеологического обеспечения и оправдания действий интеллигенции в социальной истории. И по мере возможностей осознать глубокие методологические возможности понятия «интеллигенция», которое в философском, социологическом, экономическом и культурологическом аспектах, безусловно, поможет подлинному, действительному реформированию нашего общества, принятию грамотных решений в сфере экономической и социальной жизни.



Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург

Едрово

Недалеко от Едрова проходит граница Тверской и Новгородской областей. Но проезжающие могут ее не заметить. Все те же старые деревянные дома, такие же ветхие заборы, так же стоят на обочине дороги местные жители в надежде продать лесную ягоду.

Едрово. Первое село, которое нас встречает на новгородской земле.

Может быть, и здесь, как в Хотилове, трасса тоже упиралась бы в храм, но строители новой дороги, ведомые строителями большого светлого пути, просто снесли церковь Святой Екатерины. Было это в 1950 году, и с тех пор дороге здесь уже ничто не мешает. Глава едровской сельской администрации Олег Алексеевич рассказывал, как еще подростком забрался в эту церковь, «аж под самый купол», и в ужасе отпрянул, когда неожиданно увидел перед собою апостолов, глядящих прямо ему в глаза и написанных так, словно были они живые. Впечатление это не проходит у него по сей день.

Была в Едрове еще одна церковь — Преображения Господня. В ней долгое время размещался местный дом культуры: смотрели кино, пели песни, крутили танцы, слушали лекции о культуре и атеизме... Но это внушительное и красивое здание, выделявшееся среди прочих едровских построек, в 1994-м, под самый Новый год, сгорело. Теперь оно представляет собой заброшенное и полуразвалившееся сооружение, стоящее в пятидесяти шагах слева от трассы. (Не забыли еще старика в хотиловском сгоревшем храме?)

Влекомый трехцветным флагом, развевающимся на крыше двухэтажного здания, я направился в местную администрацию и через несколько минут был в небольшом кабинете уже упомянутого Олега Алексеевича. Весь едровский аппарат, состоящий из семи женщин, размещается в одной комнате перед кабинетом Олега Алексеевича и готов в любой момент ответить на все вопросы своего шефа. Сам глава администрации, небольшого роста и уже немолодой человек, родился и всю свою жизнь прожил в Едрове. Мой визит оказался для него неожиданным и скорее всего до конца неясным.

Я попросил главу администрации рассказать об истории Едрова, чтобы дополнить несколько обыденную картину местного бытописания. Для этого Олег Алексеевич отправил меня в местную библиотеку, где, по его словам, имеется исчерпывающий материал. Сам Олег Алексеевич тут же позвонил библиотекарю и отдал распоряжение подготовить все, что есть по истории Едрова. Потом он все же решил сопроводить меня в библиотеку.

Миновав многочисленные ямы и ухабы, мы подъехали к современному зданию, в одном из окон которого я заметил тренировавшихся штангистов. В другой половине здания находилась библиотека. На столе уже были аккуратно разложены тетрадки и альбомы, рассказывающие об истории Едрова. Познакомившись с библиотекарем Светланой Владимировной, я принялся эти материалы просматривать, одновременно расспрашивая ее о местной жизни. Больше читая, чем слушая, я тем

не менее улавливал, о чем говорит Светлана Владимировна. А говорила она о том, что в глухой провинции жить хоть и тяжело, тоскливо, но все-таки это не Москва с ее сумасшедшей жизнью, которая к тому же еще и опасна, потому что постоянно стреляют, убивают и калечат. А большой город беспокоит ее потому, что у нее растут две дочери, одной из которых десять лет, а другой — тринадцать. И вот эта, вторая, совершенно безумная, потому что хочет в Москву и не хочет быть никем иным, а только фотомodelью...

— Как фотомodelью?— спросил я, отодвигая в сторону исторические материалы.

— Очень просто. Она уже давно мечтает стать известной, богато жить, ездить по разным странам, иметь свой собственный дом обязательно с бассейном и прислугой. Сейчас такие фильмы показывают, в которых богатство, роскошь, прислуга... А у нас после работы нужно и в магазин успеть, и ужин приготовить. Они же хотят прийти домой, а там все убрано, приготовлено. Мы в выходные дни вместо того чтобы отдыхать, моем, готовим, топим баню, стираем, гладим... А она так жить не хочет. У нас, например, нет дома, а она мечтает о своем и часто просит: «Папа, давай свой дом построим!» У нас здесь, в Едрове, строят, конечно, дома, но небольшие, деревянные. А ей нужен обязательно большой, каменный или кирпичный. Она мечтает жить красиво, на широкую ногу, ездить в другие страны. Мы даже не знаем: в кого она такая? Тут стал к нам журнал «Маруся» приходиться, и там объявлен конкурс «Девушка с обложки»: надо отправить свою фотографию, а они определяют победителя и опубликуют на обложке. И вот девочка говорит: «Мама, давай отправим туда фотографии. Вдруг опубликуют и предложат сниматься?»

Было бы интересно поговорить с будущей знаменитостью. Светлана Владимировна вызвалась пойти за ней.

— Вот такая у нас здесь молодежь,— сказал присутствовавший здесь же Олег Алексеевич.— Ничего, постарше станет — образумится.— Он простился со мной: пошел что-то проверять в этой части села.

Вернулась Светлана Владимировна со своей старшей дочерью Наташей.

Это была худенькая, стройная девочка-блондинка, с длинными волосами, голубыми глазами. Одета она была в синюю куртку, под которой красная водолазка, и в узкие брюки. Держалась скованно, неотрывно смотрела на меня и изредка на свою маму, ища поддержки.

Я был представлен Наташе как некий столичный человек, который хочет написать статью или даже книгу. Сам я очень вежливо попросил ответить лишь на несколько моих невинных вопросов.

На помощь мне пришла Светлана Владимировна.

— Наташа, расскажи о себе. Ты же дома не стесняешься.

— Хочу научиться кататься на роликовых коньках... Я даже не знаю, чего я хочу... Я много чего хочу,— вынужденно сказала Наташа под нашим совместным натиском.

— Например?— настаивал я.

— Когда вырасту, хочу уехать в какой-нибудь большой город. В Америку или в Москву.

— А здесь не нравится?

— Нет,— ответила Наташа.

— Почему?

— Скучно. В школе неинтересно. Учусь я вроде хорошо. Четверки, пятерки... Больше всего нравится немецкий.

Выяснилось: танцевать не очень любит, музыку предпочитает современную, читает в основном фантастику, по телевизору смотрит сериал для подростков.

— Сейчас только так,— заговорила Светлана Владимировна.— А младшая дочь, ей десять лет, все время говорит: «Мама, кем мне стать? Если я буду учителем, то ведь они так мало получают». Понимаете, во что все упирается? Мы здесь все очень мало зарабатываем и, прямо скажем, небогато живем. Поэтому и мечтают о фотомodelях. Они, мол, ездят по разным странам, видят мир, людей, жизнь, а у нас тут куда не ездит. Мы в этом году впервые ездили семьей в Крым. Так у нас тут все чуть с ума не сошли: «Как это они ездили в Крым?!» Мы, наверное, единственные со всей деревни, кто туда ездил. Вот откуда у детей такие сладкие мечты. Она требует, чтобы мы жили хорошо и красиво, а мы живем как все. Мы всю жизнь здесь, в Едрове. И я родилась здесь, и муж, и Наташа, но она у нас будто с Марса. С утра встает, и все у нее «не так». Она просто всех нас достала. Ей и сейчас трудно. Все нервничает, переживает из-за всего. За уроки, за то, что происходит вокруг.

— Трудно тебе? — спрашиваю я Наташу.

— Да, — едва слышно отвечает девочка.

Наташина мама всю жизнь работает библиотекарем, а это значит, что никогда у нее не было и не будет денег: кто знает, есть ли у нас менее оплачиваемая профессия, чем сельский библиотекарь? Ее папа — отвоевавший в Афганистане, перенесший две сложные операции, больной человек, наслушавшись холеных кремлевских болтунов, пытался заниматься фермерством, хотел достойно жить и трудиться, разводить коров, «чтобы сдавать молоко государству». А ныне он безработный. Тринадцатилетняя девочка, мечтающая стать фотомоделлю, живет в барачном доме, где нет ни ванны, ни горячей воды, нет туалета и прочих элементарных удобств, живет в селе, в котором нет театра, освещенных улиц и шумных бульваров, нет пусть недоступных, но красивых магазинов, нет ничего, кроме предопределенности и предсказуемости.

И эта худенькая девочка, беловолосая и голубоглазая, поднимает свое маленькое восстание против векового, тысячелетнего смирения и покорства: перед обстоятельствами, предопределенностью, перед нашей дикой неменяемостью. Девочка эта не хочет жить так, как жили ее родители и родители родителей и как испокон живут миллионы ее сограждан: «...в зле да шёпоту, под иконами в чёр-р-ной копоти». Не хочет!

В нашей стране месяцами не выплачивают зарплату. Постоянно задерживают пенсии. Одновременно государство требует от людей быть к себе лояльными. Где такое еще есть? Где примеры из обозримой мировой истории? Где, в какой стране мира могли так оставить стариков, вынесших на своих плечах само наше существование? Где и какое еще государство, послав на несправедную войну своих молодых, вступающих в жизнь, граждан, изуродовало их и оставило на произвол судьбы. Дети какой страны подвергались массивным бомбовым ударам своего же государства?

Вот против чего восстает этот ребенок. Вот как не хочет жить Наташа. И не в ее ли лице наша измученная Россия, наша страна, обретает свой действительный, а не абстрактный образ? И потому мне эта светловолосая тринадцатилетняя девочка из Едрова ближе и дороже всех фотомоделей мира, вместе взятых.

Будем же с нею, Наташей, и с такими, как она, с ее надеждой и мечтой о большем и красивом доме со светлыми комнатами и верандами, с бассейном и обязательно с садом. Не в Америке, а у нас, в России.

Проехавший Едрово видит слева от дороги озеро, обрамленное лесами и вытянутое, словно Байкал, только гораздо меньше. Озеро это, как и село, называется Едрово. Кто знает, не попросил ли Александр Сергеевич ямщика остановиться здесь, чтобы насладиться красотой? И Александр Николаевич Радищев, ехавший навстречу из Петербурга, тоже мог остановить кибитку в этом месте. Где-то здесь — ровно половина пути! Совместить бы время, и, быть может, они бы у этого озера встретились.

Радищев любовался озером прежде, чем увидел здесь деревенскую девушку Анюту, вскружившую ему голову.

«Едушу мне из Едрова, Анюта из мысли моей не выходила. Невинная ее откровенность мне нравилась безмерно...

...Анюта, Анюта, ты мне голову скружила! Для чего я тебя не узнал лет 15 тому назад. Твоя откровенная невинность, любово-страстному дерзновению неприступная, научила бы меня ходить на стезях целомудрия...

...— Анюта, я с тобой не могу расстаться, хотя уже вижу двадцатый столб от тебя».

Валдай

Уже был вечер, когда я подъезжал к Валдаю. Любой, кто хотя бы раз ездил по трассе, согласится, что природа этих мест чудесная и ехать за рулем — одно удовольствие. Дорога здесь прямая, как стрела. Но вместе с тем она повторяет волнообразный ландшафт, и поэтому видны участки трассы на многие километры, а лесистые возвышенности создают эффект театральных боковых кулис, но только подвешенных горизонтально. Когда светит солнце и стелется легкая дымка, то кружится голова от открывающегося простора: перед тобой не один, а множество горизонтов.

Всего этого, однако, не видно в темноте, а удовольствие от вождения автомобиля сменяется на чувство прямо противоположное: надо внимательно глядеть в оба, потому что участок трассы перед Валдаем очень опасный. Дороги наши никак не рассчитаны на то, чтобы по ним ездили ночью, и один из самых очевидных недостатков тот, что совсем не видно разделительной полосы и такой же полосы, отмечающей край дороги. Отсюда — риск съехать на полной скорости в кювет или выехать на встречную полосу и столкнуться с идущими навстречу автомобилями, которые к тому же постоянно спяют. Поэтому ездой в ночное время лучше пренебречь, благо на пути есть где остановиться и переночевать, и без всякой опаски за автомобиль. При гостиницах в Торжке, Валдае и Новгороде есть специальные гаражи.

Миновав дорожные опасности, я свернул с трассы направо, проехал железнодорожный переезд и вскоре оказался в старинном русском городке Валдай, очертания которого определить в вечернее время было невозможно. Поэтому знакомство с городом я решил перенести на утро, а вечер посвятить отдыху в гостиничном номере. Кстати, свободные номера здесь есть всегда, с холодной и горячей водой, ванной или душем, телевизором отечественного производства и, если это вам необходимо, с телефоном. Стоимость такого номера обычно не превышает двадцати — двадцати пяти долларов, причем пользование гаражом входит в эту стоимость. Так, во всяком случае, обстоят дела в Валдае. Кроме этого, в гостинице есть буфет, и если вы не слишком привередливы, то он вас вполне устроит.

Вообще на пути из Москвы в Санкт-Петербург попадается множество различных кафе, закусочных и трактиров. Но из тех, в которых побывал я, могу смело поручиться лишь за кафе турбазы «Спутник» недалеко от Твери и особенно за кафетомель «Коломно», в двадцати километрах от Вышневолочка. А. С. Пушкину в Торжке нравились жареные котлеты, а в кафе «Коломно» тамошние повара готовят на совесть все, в особенности жареную печень. Надеюсь, что подобные рекомендации для путешествующих вовсе не лишние.

Валдай — небольшой городок, расположенный в самой высокой части знаменитой Валдайской возвышенности, на берегу большого озера, тоже Валдайского. На одном из островов этого озера находится Иверский монастырь, основанный еще патриархом Никоном в XVII веке. Энциклопедии наши сообщают, что когда-то Валдай был селом Богородицким, принадлежащим этому монастырю, и лишь с середины XVIII века он становится городом Новгородской губернии. Поскольку город стоял на важнейшем тракте, то основным промыслом здесь были ямская гоньба, извоз, содержание постояльцев. Всем известны знаменитые валдайские ямщицкие колокольчики, чей звон раздавался на всех дорогах России и который был воспет во многих художественных произведениях и народном творчестве.

Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой...

Литье колоколов и колокольчиков здесь начато в конце XVIII века на колоколотейном заводе братьев Усачевых. Славилась также художественная строчка и кренделя — те самые «баранки», которые упоминает Радищев. А вот насчет местных фривольных девиц и бань энциклопедии молчат. Видимо, и без этого про валдайских девок все было известно.

В наше время этот городок, население которого составляет не более двадцати тысяч, ничем особым не отличается. За последние годы он упоминался лишь в связи с курьезным (скорее мифическим) полетом президента России с целью, как утверждалось в прессе, осмотреть окрестности Валдая для организации своего возможного отдыха.

Итак, заполнив две анкеты «печатным почерком» — таковы требования местных властей к администрации гостиницы — и получив ключи, я переступил порог своего номера. Вместе со мною в открывшуюся дверь вошел небольшой таракан. Вошел в отличие от меня очень уверенно, что немудрено: шел он все-таки к себе домой, в то время как я здесь лишь на одну ночь.

Приняв с дороги горячий душ, за наличие которого можно простить присутствие в номере даже волков, я направился в буфет, описывать который нет никакой надобности, потому что всякому известно, что такое эти буфеты, с алюминиевыми ложками и вилками, гранеными стаканами, с клеенками и солонками на столах, шумными буфетчицами и такими же шумными мужицкими компаниями, весело пьющими горькую. В тот вечер в меню были сосиски с гречневой кашей, которые

я молча проглотил. Знаете, есть что-то притягательное в этих гостиничных провинциальных буфетах, в этих простецких придорожных столовых. Какая-то мирная вневременная и неменяющаяся обстановка: вот не спеша ходит, протирая столы тряпкой, здоровенная тетка; вот рядом такая же здоровая буфетчица, облокотившаяся на прилавок; а вот и люди сидят, такие же с виду здоровые, накальвают на вилки котлеты или сосиски, макают их в горчицу или солонку и едят. И пока жуют — никого не трогают, ничего дурного не вытворяют, а лишь смотрят в одну точку и о чем-то думают. О чем? Наверное, о котлете и думают.

Мы затрагиваем эти, быть может, не очень яркие моменты нашего путешествия лишь для того, чтобы не вызвать у наших читателей слишком романтизированного о нем представления: да, уважаемые, не обойтись нам и без гостиниц с тараканами, и без котлет с буфетчицами, и без всего прочего, что составляет неотъемлемую часть всякой затянувшейся поездки.

Возвратившись к себе в номер, я решил позвонить домой и сообщить, что со мною все в порядке, что я жив и здоров. Для этой простой процедуры, однако, требуется приобрести у портье специальный талончик и уже после этого заказать разговор. Портье оказалась молодая женщина лет тридцати, у которой, в соответствии с нашими целями и задачами, было бы недурно выведать, действительно ли «...всякого проезжающего наглые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любовстрасти...». Поэтому я прихватил с собою книжечку Радищева и, когда несложная процедура с приобретением талончика подошла к концу, спросил у портье, назовем ее Верой, как она относится к следующим невинным размышлениям Александра Николаевича о ее родном городе:

«Бани бывали и ныне бывают местом любовных торжествований. Путешественник, условясь о пребывании своем с услужливою старушкою или парнем, становится на двор, где намерен приносить жертву всеобожжаемой Ладе. Настала ночь. Баня для него уже готова. Путешественник раздевается, идет в баню, где его встречает или хозяйка, если молода, или ее дочь, или свойственницы ее, или соседки. Отирают его утомленные члены; омывают его грязь. Сие производят совлекши с себя одежды, возжигают в нем любовстрастный огонь, и он препровождает тут ночь, теряя деньги, здравие и драгоценное на путешествие время. Бывало, сказывают, что оплошного и отягченного любовными подвигами и вином путешественника сии любовстрастные чудовища предавали смерти, дабы воспользоваться его именем. Не ведаю, правда ли сие, но то правда, что наглость валдайских девок сократилась. И хотя они не откажутся и ныне удовлетворить желаньям путешественника, — посмотрел я осуждающе на Веру, заканчивая цитату, — но прежней наглости в них не видно».

— Так как же все-таки на Валдае обстоят дела с этим самым? Прав или не прав был Александр Николаевич? — спросил я.

— Что, валдайских баранок и девок захотелось? — спросила громко Вера, и я понял, что Радищева она читала внимательно, а на подобный вопрос уже не раз отвечала. — У нас-то наглости поубавилось, а вот у вас...

— Не надо. Я это зачитал с чисто исследовательской целью...

— А у вас, у мужиков, единственная цель — одна. На всех.

— Неправда, Вера, — сказал очень строго я, честно глядя в ее лукавые глаза. — Просто, зная, что именно Радищев написал о Валдае, я хочу этот вопрос здесь, так сказать, поднять. Мне и стоящим за моей спиной читателям очень важно знать, насколько это действительно так, и если вы поможете с этим разобраться, то мне больше ничего от вас не надо, а читатели будут вас с благодарностью вспоминать.

И далее я стал рассказывать Вере о том, что за время своей поездки по радищевско-пушкинскому маршруту я убеждался и не раз, что вся жизнь маленьких городов, сел и деревень полностью зависит от женщин, что практически все, с кем мне пришлось разговаривать, — женщины, которые вот в такое трудное время, видимо, из чисто инстинктивных соображений спасения нации вынуждены выходить на первые роли. Я вспомнил и Городню, и Медное, и Выдропужск, и Вышний Волочек...

— Вот в этой связи, — сказал я, — мне и интересен Валдай. А если не вам, то я и кому-нибудь другому задал бы этот вопрос.

— Не «другому», а «другой», — бесцеремонно поправила меня Вера. — Завтра с утра будет моя сменщица Ирина, ее и спросите.

— Завтра с утра я буду уже отсюда далеко, — почти пожаловался я Вере на свою зависимость от суровых обстоятельств. — Надо еще во многие места заехать... Меня уже ждут в Яжелбицах.

После этого Вера стала более серьезной и согласилась отвечать на мои вопросы. Видимо, знание мною недалеких отсюда Яжелбиц вызвало ко мне некоторое доверие.

— Женщины цепляются за жизнь в основном потому, что у них есть дети, — стала говорить Вера. — Мужчине что? Пришел домой, лег на диван — и все. Есть дома хлеб или нет — его не волнует. Ребенок если и попросит еду, то у матери. В гостинице нашей все женщины практически живут одни, без мужей. И вообще на Валдае и, наверное, везде жить легче одной. Потому что у женщин и зарплата повыше, и профессия стабильная, и положение более определенное. Женщины более надежны в работе: меньше скачут, больше работают. Мужчины же сейчас работают главным образом «на подхвате». У нас они в основном шофера в авторемонтном предприятии. Так там денег уже давно не платят. И на других предприятиях то же самое. Поэтому все в нашей жизни — на плечах женщины. Детям ты не объяснишь, что не выдали зарплату. Им надо есть, одеваться... Ребенок идет в школу — завтрак нужен? Нужен. И обед нужен, и ужин. Мать на все пойдет, чтобы дитя сохранить. Но только ради ребенка. А не ради мужика... У нас огороды, дачи — все на женщинах. Мужика интересует только бутылка.

— Но не все же такие, — стал возражать я, имея в виду себя.

— Может, и не все, но вот идешь по улице, и чтобы глаз на ком-то остановился, на кого-то оглянуться, обратить внимание — такого нет. Все они, если честно сказать, грязные, неопрятные... Вот женщина идет на работу, она и одеться старается по красивее, и за прической следит, и старается понравиться, хотя, может, делает это из последних сил. А мужикам на свой внешний вид наплевать. Было бы что выпить. Так что мы все здесь радуемся, что живем одни, без таких вот «подарков». Хотя для детей, конечно, это утрата.

— Но скажите, Вера, если откровенно, без мужчины все равно плохо. Ведь есть еще и какие-то чисто физиологические потребности, — робко сказал я, подводя тему вплотную к Радищеву, и выключил диктофон, чтобы не смущать собеседницу.

— Можете не выключать, — без смущения сказала Вера. — Кто это вам сказал, что я обхожусь без мужчины? Вот я работаю в гостинице, и, если мне для жизни нужен мужчина, я пойду и себе его найду. Мужчины как? Они приходят, вот как вы, заводят разговор, хотя бы и про Радищева, потом зовут в номер, потом шампанское... Все это одинаково и заранее известно. Но вам кажется, что это вы нас «снимаете», а на самом деле «снимаем» мы. Я выбираю, а не наоборот. Я могу и поговорить, вот как с вами, и выпить шампанского, а потом ведь решаю я: идти в постель или нет. Если мне мужчина не нравится, то никакими шампанскими меня к нему не заманишь. Я ведь не девочка. Но для меня что важно? Вот я приду к такому мужчине на день, на час или на два, и мне никто не скажет, что я сука или что-то в этом роде, как мужики в семьях своих жен кроют последними словами. Меня и покормят, и приголубят, и скажут, какая я хорошая и красивая. Пусть на два часа, пусть даже это и не искренне, но зато потом этими воспоминаниями я буду жить месяц или два. Надо будет — я еще кого-нибудь найду. Вот вы со мной говорите о литературе, об истории, а значит, считаете меня достойной такого разговора. А с женой вы говорите на такие темы?

— Нечасто, — соврал я.

— Ну вот, а со мной говорите. Ваша цель, конечно, запудрить мне мозги, но это не важно. Важно, что вы со мной о серьезном говорите и мне интересно. У меня есть знакомый мужчина, с которым я встречаюсь. Редко, конечно, потому что у него семья. Но я с ним встречусь и дальше живу спокойно, никто мне нервы не треплет по ночам. Я пришла с работы, ложусь и отдыхаю спокойно.

— А замуж за такого хорошего вы бы вышли? — спросил я.

— У меня была возможность выйти замуж, и не одна. У меня квартира прекрасная, обставлена, все сделано красиво, кстати, тоже мужчиной. Но жить с ним я не согласилась. Не хочу принести несчастье человеку, которого все равно не люблю. Обманывать никого не хочу. Поэтому мне легче жить одной.

— А чем вообще здесь люди живут?

— Раньше были здесь кинотеатры и люди ходили в кино. Теперь все смотрят «видики». В кино ходить смысла нет. Дом культуры у нас был, но сгорел...

— Когда? — быстро среагировал я на близкую нашему путешествию «пожарную» тему.

— Под самый Новый год, на 1995-й, — ответила Вера.

— Вот это да!

— Не ясно, то ли его взорвали, то ли сам сгорел, завтра пойдите посмотрите. Так вот, есть здесь театр, но я, к своему стыду, еще ни разу не была, хотя всегда собираюсь. Дискотека есть для ребятишек. И все... Раньше было хоть что-то. Ребята молодые, в основном все пьют.

— А девушки чем занимаются? Проституцией? — вернулся я к изначальной радищевской теме.

— Им деться некуда,— стала объяснять Вера.— У мамки денег нет. Батька пьет. А одеться красиво хочется. И вот сейчас пойдите посмотрите, они у нас на «пьяной» площади у ларьков стоят. Спасибо, что молодая и красивая, подъедет машина, пригласят покататься, дадут денег на косметику или еще на что-нибудь — и все. А кроме того, им это сегодня даже нравится. У них свой круг общения, общие интересы, опять же занятость, романтика. Дома-то помрешь от скуки.

— Вы их оправдываете?

— Я их не осуждаю. Но это вы, мужчины, до такого довели, что такие девочки вынуждены продавать себя, чтобы нормально жить. А покупатели кто? Опять мужики. Поэтому не надо никого обвинять в продаже тела, совести или еще чего. Уж как вы ее продаете, так никто нигде не продает. Я на политиков, на всех этих журналистов смотреть не могу. Вот они продают свою душу, свою совесть на глазах у всех — и ничего. А больше им продавать нечего. Тела их никому не нужны. Зато о морали много говорите. А проститутка продает только тело. Душу свою она бережет. Это вы, мужчины, покупая ее тело, душу ей отдаете: ведь любите и поговорить «по душам», и даже поплакаться. А что в христианстве дороже: душа или тело? Мария Магдалина была, между прочим, проституткой, а Воскресение Христа первой признала, раньше вас, мужиков.

— Она все-таки была раскаявшейся! — продемонстрировал я знание и этого вопроса.

— Так и эти бы раскаялись, если бы им встретился Христос. А так вместо него кто? Перед кем каяться-то? — сказала Вера и дала понять, что ей надо заниматься уборкой помещения.

— Иди,— сказала она мне, перейдя на «ты». — Я к тем, с кем на такие темы говорю, в постель не иду.

...Имеет сельская свобода
Свои счастливые права,
Как и надменная Москва.

Молча посидев рядом с Верой для приличия еще минуту, я вышел и через некоторое время уже звонил домой, сообщая, что со мной все в полном порядке. И вы, дорогие читатели, можете это подтвердить.

Яжелбицы

В ноябре 1826 года, вернувшись в Михайловское, А. С. Пушкин пишет письмо в Москву, своему другу: «Мой милый Соболевский — я снова в моей избе. Восемь дней был в дороге, сломал два колеса и приехал на перекладных...» Далее Александр Сергеевич дает другу «инструкцию», без упоминания о которой уже ни одно путешествие по трассе Москва — Петербург немыслимо: «...Во-первых, запасись вином, ибо порядочного нигде не найдешь. Потом

(На голос: «Жил да был петух индейский»)

У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пармазоном макарони
Да яичницу сvari.

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай (именно котлет)
И отправься налегке.

Как до Яжелбиц дотащит
Колымагу мужичок,
То-то друг мой растарачит
Сладострастный свой глазок!

Поднесут тебе форели!
Тотчас их варить вели,
Как увидишь: посинели,
Влей в уху стакан шабли.

Чтоб уха была по сердцу,
Можно будет в кипяток
Положить немного перцу,
Луку маленький кусок...

Яжелбицы — первая станция после Валдая.— В Валдае спроси, есть ли свежие сельди? если же нет,

У податливых крестьянок
(Чем и славится Валдай)
К чаю накупи баранок
И скорее поезжай.

На каждой станции советую из коляски выбрасывать пустую бутылку; таким образом ты будешь иметь от скуки какое-нибудь занятие».

Веселые советы давал Александр Сергеевич своим друзьям. Не оттого ли любили они его до беспамятства? Что касается нас, то с податливостью «валдайских крестьянок» мы уже, кажется, познакомились, а что до вина... На трассе столько постов ГАИ, что и трезвому проехать непросто.

У Яжелбиц история богатая. Тут много чего свершилось, начиная с самого названия. Вроде бы ехал по этой дороге во главе новгородского войска князь Александр Ярославич Невский. Ехал на битву с другим русским князем, здесь уже не помнят каким. И вроде бы он, едучи на своем коне, постоянно молчал, а если что и говорил, то такое, что и летописцы предпочитали не записывать, дабы не портить репутацию благоверному. Видимо, настроение у князя было препаршивое. И было от чего: ни про уху, ни про баранки, ни тем более про податливых крестьянок Александр Ярославич не знал, а такого простоватого дружка, какой был у Соболевского, у него не было. Он ехал и молчал, а добравшись до этих мест, вдруг остановился и громко, так, чтобы и летописцы услышали, произнес:

«Я желаю биться!»

Сказал он это громко, но очень быстро, так что паузы между словами почти стерлись: сначала валдайским эхом, а затем и народной молвой, коей свойственны упрощения. В итоге получилось: «Яжелбицы! Яжелбицы! Яжелбицы!...»

Кстати, эта самая народная молва утверждает, что, проехав чуть дальше в сторону Валдая (откуда мы как раз сейчас едем), Александр будто бы взшел на гору, остановился и вновь в раздумье замолчал, стал как бы нем. Отсюда пошло и название горы и деревни — Немчинова гора*. А еще через некоторое время князь (пойми его) вообще передумал биться и чуть дальше, в соседней деревне, заключил мир. Деревня с тех пор носит название Миронегги. Так внутренние противоречия легендарного князя отразились в противоречивых названиях близлежащих деревень.

Конечно, это легенды, и насколько они отражают действительность, никто не знает. Возможно, что в их основе лежат более древние события, о которых и Александр Невский знал, как о «преданьях старины глубокой». Ведь известно, что на месте села существовали древние поселения и даже сохранились захоронения того времени — курганы, которые наши предки насыпали над могилами погибших воинов и вождей. И один из таких курганов, причем не раскопанный, находится прямо перед окнами сельской администрации, напоминая нынешним яжелбицким начальникам о преемственности власти и заодно о ее брэнности.

Примерно пять веков назад на территории Яжелбиц происходили значительные события, решавшие судьбу Новгородской феодальной республики. Само село особой роли не играло, но волей обстоятельств и благодаря своему расположению стало их свидетелем. Вот как описывает это С. М. Соловьев:

«...И вот, управившись с князем можайским и татарами, Василий в 1456 году выступил в поход против Новгорода за его неисправление. В Волоке собрались к нему все князья и воеводы со множеством войска; из Новгорода также явился туда посадник с челобитьем, чтоб великий князь пожаловал — на Новгород не шел и гнев свой отложил. Но Василий не принял челобитья и продолжал поход, отправивши наперед на Русу двоих воевод, князя Ивана Васильевича Оболенского-Стригу и

* Проезжая через Немчинову гору, я так и не понял, живут ли здесь люди: обветшалые серые дома пусты, окна и двери забиты фанерой, заколочены доской. Все заброшено, пустынно, вокруг никого, все молчит, как когда-то молчал здесь Александр.

Федора Басенка, а сам остановился в Яжелбицах». (Сочинения. В 18 кн. Кн. II, т. 3—4. История России с древнейших времен, с. 414.)

Посланные великим князем Василием Васильевичем воеводы одержали победу, и в Яжелбицах был заключен договор, который фактически положил конец независимости Новгородской республики. В этом договоре, в частности, обуславливалось: «1) вечевым грамотам не быть; 2) печати быть князей великих». (То есть московских.)

А еще через пятнадцать лет в этом же селе Иван III узнает об исходе решающей битвы между Москвой и Новгородом, произошедшей у реки Шелони 14 июля 1471 года. В Яжелбицах великий князь принимал новгородских послов с челобитными.

В XV веке была установлена почтовая связь — ямская гоньба. Были созданы станции — ямы, в том числе и ям Яжелбицкий, который стал играть важную роль после основания Петром Первым новой столицы Российского государства. Яжелбицы оказались на пути между двумя крупнейшими центрами империи. В царствование Екатерины Второй, неоднократно следовавшей через село, здесь были построены гостиницы и почтовый двор.

В 1790 году в осеннюю холодную погоду через Яжелбицы в «гнушной нагольной шубе», взятой у какого-то солдата, под «крепчайшею стражею» был провезен Александр Николаевич Радищев, направленный по этапу в десятилетнюю ссылку. За то самое свое «Путешествие», которое и нас спустя два века подвигло на присутствие в этом селе. Впрочем, ссыльного Александра Николаевича провезли по всей дороге: от Петербурга до Москвы и дальше, почти до самого Байкала, до Илимска — всего 6788 верст. О чем думал он, подневольный «путешественник», проезжая близкие сердцу города, села и деревни: Чудово, Подберезье, Едрово, Хотилово, Вышний Волочек, Медное, Городню?.. Вспомнил ли Аниоту? Увидал ли девицкий хоровод? Услыхал ли пение слепого старика? Каким он был в этом своем не книжном, а реальном и трагичном «путешествии»?

Сам же Радищев нам и ответил:

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу,
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страхе
В острог Илимский еду.

А пока мы в Яжелбицах. Вольные. И нам, кажется, ничего не грозит.

Современные Яжелбицы, как и все остальные деревни и села, находящиеся на пути из Москвы в Петербург, разделены трассой. Старая часть села, где до сих пор стоят развалины старинных екатерининских построек, находится слева внизу, а современная, с несколькими хрущевками, типовым домом культуры, зданием сельской администрации и магазином — справа, повыше. В этой части села жители выглядят вполне по-городскому. На остановке я увидел не привычную толпу, а спокойную очередь, поджидавшую автобус.

Почти все вышеизложенные исторические справки я переписал из обычной школьной тетрадки, где аккуратным ученическим почерком добросовестно изложена история Яжелбиц: от древних курганов до наших дней. А самую драгоценную тетрадку мне подарила Татьяна Васильевна — местный библиотекарь. С нею, а также с директором дома культуры Николаем Александровичем я и провел свою первую беседу в Яжелбицах.

Из этого разговора я узнал, что основным и едва ли не единственным крупным производством в современной истории Яжелбиц являлась птицефабрика. Это значит, что почти все жители делились на еще не работавших на птицефабрике (по молодости), работающих на ней в настоящее время и на уже отработавших и ушедших на пенсию. Примечательно, что приезжали и благополучно работали здесь люди из разных республик и городов Советского Союза. Поэтому сформировался этакий полугородской житель. Отсюда соответствующий культурный уровень Яжелбиц, штрих которого — очередь на автобусной остановке.

Все это мы упоминаем в прошедшем времени, потому что сейчас работа этого крупного и некогда рентабельного производства — сотни тысяч птиц, в службе шестьсот работников — сведена практически к нулю. Это связывают с политикой правительства, которое отечественным курам предпочло пресловутые «ножки Буша».

Был здесь, помимо птицефабрики, еще и птицевхоз, участь которого такая же, но он вроде бы живет за счет крупного рогатого скота. Впрочем, и он сокращается день ото дня.

В итоге в селе началась безработица и люди вынуждены перебиваться случайными заработками, то есть заниматься тем же, чем занимаются сейчас многие в нашей стране. Отличает Яжелбицы то, что пенсионеры, а их в селе большинство, получая пенсии, находятся, как здесь считают, в положении более стабильном и выгодном, чем поколение среднее, существование которого вообще ничем не обеспечено.

Что касается перспектив, то они, судя по рассказам жителей, нерадужны. Народ окончательно обнищает. Развалятся уже совсем предприятия, безработица будет повсеместная. Купить технику и заняться земледелием вряд ли кто сможет: не по карману, да и не умеет этим серьезно никто заниматься. Словом, село ждут серьезные потрясения. Мне рассказали историю деревни Киты, которая находилась неподалеку. Во время коллективизации жители этой деревни вроде не захотели вступить в колхоз, дружно сожгли свои дома и разошлись кто куда. Осталось лишь урочище с разрушенными фундаментами от изб. Даже откуда название морское взялось — Киты, — никто не знает.

Естественно, что на таком фоне жизнь местная уныла и скучна. Ее вряд ли могут скрасить заезжие гастролеры, дающие иногда концерты в доме культуры. Может, поэтому здесь с особой любовью относятся к местному вокально-инструментальному ансамблю.

Душа и вокалист этого ансамбля — учительница музыки из средней школы Елена Викторовна. Ансамбль так и называют «Элен и ребята», в честь известного французского телесериала. Этот ансамбль, репетировавший и выступавший на подмостках местного ДК, видимо, продвинулся настолько далеко, что о нем заговорили в районе, и кто знает, что его ожидало дальше, если бы ансамбль, и главным образом его солистку, не заметил сам глава администрации района, который побывал на концерте ансамбля, и не на одном. Оценив форму и внимательно вслушавшись в содержание, он решил предложить Елене Викторовне... нет, не свое начальниче сердце и даже не новый комплект аппаратуры для ансамбля, он предложил ей... стать главой администрации Яжелбиц.

Своя рука владыка. И вот уже валдайский глава сам приехал в Яжелбицы, пригласил на встречу с собой учительницу и уже не предлагал, не уговаривал, а просто сказал громко, как некогда князь Александр: «Я желаю...»

До Елены быстро дошел истинный смысл сказанного. Она заартачилась, заупрямилась, мол, хочу остаться простой женщиной и певицей, а кроме того, нет опыта хозяйственной деятельности, к тому же — дети, школа. Всеу даже были упомянуты Бетховен с Моцартом и еще, кажется, Брукнер.

Но все тщетно. Валдайский администратор, нахмутив брови, сказал: «А кто вам, Елена, мешает остаться женщиной? Посмотрите, сколько женщин вокруг этим занимаются!» (т. е. работают главами сельских администраций). «Мы, Елена, — наверное, говорил глава, — принадлежим к той категории людей, которые не останавливаются на достигнутом. Нам всякий раз становится тесно в уже освоенном пространстве. Нам нужны новые формы для самореализации. У вас энергия бьет ключом, хочет вырваться наружу, а возможности у ансамбля узкие — все-таки не Роллинг Стоунз, и вы уже не можете реализовать себя лишь песнями и игрой на аккордеоне. Вам, Елена Викторовна, — убеждал администратор, — нужна власть. Сначала небольшая, в масштабе села, а потом... потом... Посмотрим, демократия ведь всем открывает дорогу».

Такая тирада не оставила бы равнодушным кого угодно, тем более трепетную душу сельской учительницы музыки, и потому она в конце концов сдалась, как сдалось здесь когда-то великому князю московскому побежденное им новгородское войско. С тех пор в Яжелбицах новый глава администрации — Елена Викторовна, и, когда мы встретились, ее правлению шла уже четвертая неделя.

— Я закончила Ленинградский институт культуры, — начала свой рассказ Елена, — и проработала учителем музыки в местной школе одиннадцать лет. Но так получилось, что после Моцарта и Бетховена, после всего высокого, красивого и духовного я оказалась на самом дне нашей жизни и теперь занимаюсь ремонтом колодцев, канализации, котельной, дровами, мусором и тому подобным. Душа моя по-

ка эту работу не воспринимает. Но, поскольку я уже здесь оказалась, придется привыкать. Мои занятия в ансамбле — это радостная отдушина. Ребята восприняли мое назначение как трагедию. Они, да и я сама, считаем, что женщина должна быть прежде всего женщиной, а не административным монстром.

— И вы действительно не боитесь, что вас испортит кресло? — спросил я.

— Постараюсь, чтобы не испортило. У меня даже нет кресла. Видите, простой стул. А кабинет? Здесь даже мне одной трудно повернуться. Хотя я уже работаю четвертую неделю и чувствую, как меня засасывает. Семьи у меня пока нет, я одинокий человек...

— О! Тогда вам проще работать. Но еще проще превратиться в того самого монстра. А что касается кресла, кабинета и прочей чепухи... Особенный кабинет вступающему на первую ступень иерархии не нужен. Хочется живой работы с людьми и, как говорится, «решать проблемы». Но чем успешнее вы их будете решать, тем больше надежд возбудите в людях, тем чаще к вам станут обращаться и тем настойчивее будут просьбы. Вы одна, а народу в Яжелбицах вон сколько. Значит, должны быть условия для приема, ведь это работа сугубо индивидуальная. Толпу не примешь. Значит, нужен более-менее просторный кабинет и нужна приемная. Она необходима начальнику так же, как и фойе театру. Прием надо организовать так, чтобы соблюдалась очередь, чтобы не возобладала сила и наглость. В театре есть билетер, а у начальника должен быть секретарь и, кстати, дополнительный телефон и кресло. Сидеть целый день на жестком врачи не рекомендуют. Ведь не от хорошей жизни эти самые кресла у начальников появились. А отношение людей к вам изменилось? — спросил я Елену Викторовну.

— Естественно. Я почувствовала совсем другие взгляды. Знаете, еще что? Глава администрации района — мужчина достаточно молодой, и потому, когда вдруг назначают на должность молодую женщину, то это не может не вызывать всякие слухи и домыслы. Дескать, это неспроста. Кроме того, мне пытаются доказать, что руководитель обязательно должен быть резким, сильным, наглым, должен быть бойцом, только тогда можно чего-то добиться на этой работе. А я по натуре не боец.

Вообще Елена считает, что женщина и власть несовместимы, поэтому политической она особо не интересуется.

— Если смотреть телевизор и читать газеты, то жить не захочется на этом белом свете. А так живешь потихонечку в своем мире... В деревне нашей стреляют еще редко. Чтобы убирать бумажки на улице, ремонтировать канализацию и водопровод, интересоваться политикой вовсе не обязательно.

Самое главное в ее работе, считает Елена, — общаться с людьми, объединять их вокруг себя, зажигать. Люди сейчас в таком тяжелом состоянии: работы нет, зарплаты нет, сплошные бытовые проблемы. Однако, по словам Елены, у многих возродились надежды в связи с ее назначением.

— Но вы представляете, — говорю я Елене Викторовне, — что нет ничего горше, чем неоправданные надежды?

— Поэтому мы стараемся не обещать ничего такого, чего выполнить не сможем. Мы пока лишь фиксируем, чего люди хотят. Я сама из этого села, и мои родители тоже отсюда, поэтому мы всех знаем, и кто из себя что представляет — тоже.

— Елена Викторовна, а вас не смущает, что вы учились другому ремеслу, очень далекому от того, чем занимаетесь сейчас? Вы же знаете, что непрофессионализм есть наш самый большой бич. Вас не мучит этот вопрос? — Мне было интересно, что она ответит на это.

— Вопрос у меня к себе много. Действительно, чтобы здесь работать, надо многое знать, и я была бы рада, если бы меня отправили куда-нибудь на учебу. Пока я сама ковыряюсь в каких-то законах, кодексах, но времени на это не хватает... (Здесь наш разговор прервал звонок.) Как только меня назначили на эту должность, один человек сказал: «Уж лучше бы вы пели. Потому что есть категории «шутов» и «королей». До сих пор, — говорил он, — вы были в роли «шута», развлекали и веселили людей. Теперь перешли в категорию «королей», и вам предстоит решать проблемы, над которыми вы до сих пор так или иначе смеялись. А это несовместимые вещи». До этого никаких сомнений не было. Я считала, что буду заниматься песнями, и от этого авторитет руководителя не пострадает. Но эти слова меня озадачили, и я стала советоваться с людьми: что делать?.. (Еще один звонок прервал наш разговор.) Людей это пока не смущает.

— Но, представьте, если у вас не будут идти дела, а вы им будете в это время петь?

— Мы настроены на то, чтобы работа у нас получалась.

Здесь я вынужден был остановиться и сменить тему, потому что невольно взял на себя функцию судьи и моралиста, что недопустимо в данном случае и некрасиво вообще.

— Вернемся к музыке. Как с нею обстоят сейчас дела? — перевел я разговор в удобное для Елены Викторовны русло, и она с радостью в него устремилась.

— Раньше я музыку в основном слушала в школе, на уроках. Ходила всегда эмоционально заряженная. Я работала по программе Кабалеvского, и предмет назывался не «пением», а «уроком музыки». И мне такая программа очень нравится. Главное, эмоционально подготовить учеников. Эта программа основана на чувствах, через нее красной нитью проходят слова Сухомлинского: «Музыкальное воспитание — это не воспитание музыканта, а воспитание человека». Этого принципа я и придерживаюсь. Пусть плохо споют, но, главное, пусть они услышат музыку. Там, конечно, очень слабая материально-техническая база: магнитофон — ровесник революции, и нет денег, чтобы купить современную аппаратуру для компакт-дисков...

— Однако теперь как глава администрации вы сможете оказать поддержку музыкальному развитию детей, помочь новому учителю музыки.

— Не считите за отсутствие скромности, — продолжала Елена, — но у меня работа получалась. Был контакт с детьми, взаимопонимание. И до меня были учителя, но подолгу не задерживались. Это очень трудно: тридцать учеников орут, скачут. Первый год особенно. Но потом стало получаться, и я проработала целых одиннадцать лет. Дети расстроены и говорят мне: «Мы подождем, пока вас выгонят, тогда вернетесь обратно».

Вдруг Елена стала очень грустной, немного помолчала и сказала:

— Знаете, какая сейчас в школе проблема? Там нет учителя музыки. Некому помогать...

Здесь вновь раздался телефонный звонок, и Елена Викторовна, простившись со мной, погрузилась в административно-хозяйственную работу.

Оставим Яжелбицы вместе с заданными здесь вопросами. Да и ответы стоит ли брать с собою? Они у нас вечные, ходящие по кругу: от крохотных Яжелбиц до Москвы.

Кто желает с ними биться?

Крестцы

Два мужика затрапезного вида на въезде в Крестцы продавали прялку. От самой Москвы не видел я товара более оригинального и неожиданного. Кто сейчас знает, что такое прялка? Кто вообще ее видел? Разве что в краеведческом музее, и то не во всяком.

Прялке, стоявшей на обочине дороги, по словам торговцев, было не меньше семидесяти лет. Но выглядела она как новая. После того как, поощряемый одобрительными репликами крестецких мужиков, я несколько минут с восторгом крутил колесо, стало ясно, что без этой прялки я уже жить не смогу. Встал вопрос о цене.

— Пятьдесят долларов, — сказал один.

— Триста пятьдесят тысяч рублей, — назвал цену другой.

— Есть, между прочим, разница, долларов этак в двадцать, — сказал я и спросил, многие ли приценивались.

— Некоторые останавливаются. Подходят, покрутят и едут дальше, — ответили мужики.

Я заметил, что они синие от холода и притом совершенно трезвые. Поэтому предложил им двести пятьдесят тысяч и ни рубля больше. Мужики стали совещаться.

— Да ты чего? Меня ведь жинка прибьет за двести пятьдесят, — сказал тот, который оценил прялку в пятьдесят долларов. — Дай хоть триста.

— Нет, — говорю. — За триста прибьют меня. И так не знаю, как эта штука впишется в интерьер. Двести пятьдесят — и все, — сказал я, давая понять, что собираюсь уходить.

После этого другой мужик, у которого, видимо, все в порядке с логикой, сказал первому:

— Если не продашь прялку и не принесешь домой денег, тоже ведь прибьет.

— Верно, — ответил первый и, махнув рукой, согласился. Так старинная прялка оказалась на заднем сиденье моей машины и кочевала дальше вместе со мной.

Пользуясь случайным знакомством, я спросил у мужиков, нет ли чего у них в Крестцах интересного.

— У нас в Крестцах все интересное, — ответил один.

— Откуда здесь может быть интересное? — сказал другой. — Это в Москве интересное, в Питере...

— Может, какие-то события произошли или истории? — уточнил я вопрос. — Может, люди есть необычные? С кем посоветуете встретиться?

— С кем встретиться? А с кем здесь встречаться? Тут и встречаться-то не с кем, — ответил второй мужик.

В это время первый, обращаясь ко второму, смеясь говорит:

— А может, ему (то есть мне) с твоей докторшей встретиться?

После этого между мужиками произошла шутливая перепалка, с подначками и намеками, суть которой я не понял и потому изложить ее на бумаге не берусь. Я понял только, что один из этих мужиков, видимо, какое-то время работал в больнице, и его оттуда выперла главный врач — вот эта самая «докторша». Причем выперла с каким-то шумом, и это вызвало у второго мужика смех до слез. Короче, я понял, что других «интересных» людей в Крестцах на моем пути пока не предвидится, и поэтому спросил, как найти эту «докторшу».

— А ты езжай в центр, тебе каждый покажет поликлинику. А там спроси Марину Андреевну, — объяснили мужики, один из которых продолжал со страшным кашлем и слезами на глазах смеяться.

Поблагодарив, я направился в Крестцы.

Вот каким было мое первое знакомство со старинным селением, расположенным на берегах реки Холовы и стоящим на перекрестке древних дорог. От этого пересечения, кстати, и название и символ на гербе: на зеленом фоне — две скрепляющиеся дороги.

Поневоле уделяя в нашем путешествии много внимания женщинам, мы отметили, что сейчас именно они взвалили на себя все трудности жизни, не задумываясь, стоит это делать или нет. Мужчинам в этом священнодействии отводится роль третьестепенная, если вообще отводится. Говорят, что сила женщины в ее слабости. Чушь полная, придуманная холеными столичными ловеласами для охмурения соблазненных ими дур. Сила женщины — в ее ловкости, находчивости, выносливости, наконец, в ее... силе. И кто хотя бы раз встречался с главным врачом крестецкой районной поликлиники, подтвердит неоспоримую правильность этой формулы.

Марина Андреевна вобрала в себя все, что только может соединить человек, умножила это примерно на сто, а полученный результат продолжает увеличивать. Ее энергии может позавидовать футбольная команда высшей лиги, а уверенности — легион тореадоров. «Нет такого — не могу, есть — не хочу!» — вот девиз Марины Андреевны, и не только девиз. Это еще и приговор всем, кто находится рядом и не поспевает за нею. А кто рядом? Рядом с Мариной Андреевной ее главная опора — те же крестецкие работающие женщины: врачи, медсестры, лаборанты, технички да еще немощные мужикашки — недееспособный элемент, почти недоразумение, который единственное, что может, — стоять «на подхвате». «Ну, хоть шерсти клок», — со вздохом говорит про них Марина Андреевна.

«Вор должен сидеть в тюрьме!» — утверждал майор Жеглов. «Врач не должен позволять людям болеть!» — так считает Марина Андреевна. Пять лет назад с этим доводом согласился вновь назначенный районный начальник, приглашая ее стать главным врачом. С тех пор главврач и глава администрации работают вместе. Прежде всего они построили новую поликлинику. От начала до конца. Кто знает, что такое построить в наше время поликлинику в таком вот поселке? Культура ответственного строительства такова, что в героях (или жертвах) не тот, кто строит, а кому строят. Надо уметь выбивать, просить, улаживать, покупать, угрожать, блефовать и, конечно же, каждый день, час и даже минуту за всем (и всеми) следить. Словом, надо пройти все круги ада, чтобы наконец строительство, хотя бы в какой-то своей части, завершилось. А потом надо набирать штат, готовить квалифицированных сотрудников, формировать команду, программу здравоохранения в районе и одновременно, учитывая, кто строил, надо все самостоятельно достраивать — устранять неполадки, поддерживать работоспособность и так без конца... Мне рассказывали, что Марина Андреевна первое время нерадивых работников — пьяниц,

прогульчиков и дебоширов — просто лупила. (Теперь поняли, почему один из мужиков до слез смеялся над другим?)

Главный районный врач должен уметь в наше время очень многое, если не все. Марина Андреевна добилась того, что у поликлиники хороший автомобильный парк, автономные электростанция и газовая котельная. Поликлиника оснащена переносной и стационарной установками УЗИ, японским фиброгастроскопом. Сейчас идет полным ходом строительство еще чего-то значительного, потому что вокруг копают экскаваторы, гудят трактора, а сама Марина Андреевна за всем этим следит непрестанно, без всякой для сачков надежды, что она когда-нибудь устанет.

Главному врачу сорок три года, она черноглазая, черноволосая, с короткой мальчишеской стрижкой, высокая и крупная, голос ее громкий, речь скорая и отчетливая. По всему видно, что Марина Андреевна не привыкла не только к возражениям, но и к диалогу, который из-за страшной ее занятости ей просто ни к чему. Ее движения быстры, команды сотрудникам ясны и конкретны, словно диагноз, походка скорая и уверенная, и, когда в конце нашей беседы Марина Андреевна показывала мне свое хозяйство, я едва успевал за нею. Так когда-то сонное окружение не поспевало за Петром Первым.

Речь сама собою заходит об особой роли женщин. Естественно, что на едва заданный вопрос у Марины Андреевны уже давно есть ответ.

— Ну почему только женщины? Есть еще все-таки один, два, три мужчины. Наш глава администрации, например. Хотя заниматься хозяйственной работой должны, конечно, женщины. Вот у меня заместитель. Хороший человек, прекрасный семьянин, и все в нем хорошо, кроме одного — он мужчина. У него и понимание всех задач — чисто мужское. «Зачем,— говорит он,— нужно окультуривать поликлинику? Пусть такая, какая есть, и будет. Зачем нужна дополнительная лампочка? Зачем,— говорит,— нашим роженицам в родильном отделении нужны ночные рубашки в цветочек?» Он закупил какие-то синие робы и рад, что выполнил задание. А как и кого в такой робе будут рожать — это его, мужика, уже не волнует. Понимаете? Женщина должна сейчас все возглавлять. Не только в больнице. А в подчинении у нее должны быть мужики, которые привезут трубы, поднимут тяжести, выкопают канаву и так далее. А почему это вы обеспокоены такой тенденцией?

— Да просто это факт для меня неожиданный,— ответил я.

— Это хороший факт. Если в правительстве будет больше женщин, там будет меньше треп и больше дел. Женщина — хранительница очага. В каждой семье она руководит хозяйством. Ходит на полусогнутых, встает к корыту, плите, кастрюле, готовит, убирает, моет. Она знает, что надо сделать сегодня, что завтра, а что послезавтра... Понимаете? И вот это домашнее отношение она привносит в свою работу. Есть, конечно, и среди женщин дряни. У всех есть свои уроды, и среди мужчин, и среди, так сказать, животного мира.

Далее я высказал Марине Андреевне обеспокоенность тем, что представляют из себя мужчины, которых я встретил по пути. Они представляют из себя или бесформенную размазю, или подаются в бандиты. И в этом случае неизвестно, что хуже...

— Не знаю, что такое сейчас бандит. Я видела этих бандитов, и один представитель мафии произвел на меня отличное впечатление. Он чистейший, на него приятно посмотреть, на нем золотая цепь с палец толщиной, белейшая рубашка, ботинки красивейшие. Был прием, налили по пять граммов коньяка, так он не выпил даже капли.

— А вас не смутило происхождение денег, на которые куплены эти наряды? — спросил я.

— Меня смущают больше дела нашего правительства, бездеятельность парламента и разборки по телевизору. Один треп,— сурово заметила Марина Андреевна.

Я попросил Марину Андреевну рассказать о Крестцах.

— Я увидела Крестцы тринадцать лет назад, и они произвели на меня ужасное впечатление. Грязь, расхристанная больница, ужасно! И вот с приходом нового главы Крестцы начали возрождаться. Район зазвучал среди остальных двадцати. Пенсии — Крестцы на первом месте по срокам выплаты, больница — одна из лучших в области, коммунальное хозяйство — второе после Новгорода. А был ведь совсем разрушенный поселок. Конечно, и у нас есть недовольные. У нас, русского народа, есть такая черта: сколько ни делай хорошего, сколько ни давай — все равно будет плохо и мало. Понимаете?

— У нас есть и другая крайность, — заметил я. — Сколько ни отнимай у нас, сколько ни делай нам худого, хоть убивай, — все равно будем терпеть, и даже ропота от нас не услышишь.

— Я была в Америке, в штате Колорадо, — продолжила тему Марина Андреевна. — Почему-то их не надо уговаривать приходить на работу вовремя, не надо убеждать хорошо работать. Понимаете? А я наших без конца долбаю за то, что они пусть на пять минут, но обязательно опоздают. На полчаса, но обязательно раньше уйдут. Понимаете? Вот из таких мелочей и складывается наше неблагополучие. Отсюда и элементы командно-административной системы в моем управлении.

— То есть они будут приходить вовремя и добросовестно работать, лишь когда будет Сталин или нечто в этом роде? — поймал я Марину Андреевну.

— Ну, зачем Сталин? Вода камень точит. Потихонечку, полегонечку... Мои все ждут, пока я успокоюсь, смирюсь, пока мне надоест и я на все плюну. Нет, говорю им, ошибаетесь. Я, наоборот, становлюсь еще злее и упрямее. — Марина Андреевна при этих словах лукаво заулыбалась.

Я рассказал о проблеме, на которую обратил внимание офицер в клинском военкомате: остановка предприятий привела к тому, что молодежь считает бессмысленным заниматься обретением профессии, которая все равно не приносит дохода, и занимается примитивной добычей денег. Это может привести к тому, что через пятнадцать — двадцать лет, когда сегодняшние двадцатилетние станут старше, наше общество будет просто диким. Я спросил, что думает по этому поводу главный врач.

— Пройдет еще много лет, пока нашему народу не нужна будет палка. Все равно здесь нужен царь, генсек, президент — неважно, как он называется. Обязательно в этом, грубо говоря, стаде должен быть вожак, которого они слушаются, за которым идут и который думает, как эту паству накормить. Что сделать, чтобы заводы работали? Чтобы люди достойным ремеслом занимались и хорошо за это получали? Вы говорите: стоят заводы. А кто руководит этими заводами? Люди, которые никаких проблем никогда не решали и сейчас не знают, как их решать. Их всех надо менять.

— Да на кого менять? И, главное, кто будет менять? — спрашиваю я.

— У нас сто пятьдесят миллионов народу. Неужели нельзя найти человека, который бы работал? Да я не поверю! У нас в больнице были пьяницы... Я их всех по-выкидывала и сказала: «Одна останусь, но из шестнадцати тысяч жителей Крестцов найду одного толкового водителя». У нас есть профтехучилище. Там испокон веков готовят шоферов, электриков, трактористов, бульдозеристов, которые уже здесь никому не нужны. Понимаете? Так вот, если они, как бараны, уперлись, то должен же кто-нибудь их направить в другое место, чтобы дать им возможность получить нужную специальность. Поэтому наш глава заключил договор с новгородским университетом, и у нас будет колледж. Там будут готовить не шоферов и электриков, а печников и плиточников, потому что у нас в Крестцах девяносто восемь процентов печного отопления. Кроме этого, в университете уже второй год готовят тех, кто нужен городу: юристов, экономистов, менеджеров. Понимаете? Нам профессионалы очень нужны. Вот у нас бригада из Львова восстановила церковь за четыре месяца! А наше РСУ стоит и будет стоять, потому что я сказала: «В радиусе пятидесяти километров не будет никого из этой конторы». Они нам запороли поликлинику. За что бы ни взяли эти мужики, они все через пень-колоду делают. Скажите, кто им не дает хорошо работать? Кто мешает держать марку? Им выбили и деньги на достройку, и материалы, а что они сделали? Ничего! Крыша течет, канализация течет. Я после них уже наполовину перестроила поликлинику сама, из ничего. Вот так наши мужики работают.

Далее я попросил Марину Андреевну рассказать о себе.

— А что мне о себе рассказывать?

Родилась Марина Андреевна в Киргизии, в городе Джелалабаде, и уже с детства мечтала стать врачом. Тогда же у нее проявились командирские качества. Она единственная дочь у родителей и сейчас живет вдвоем со своей мамой Линой Федоровной. В Крестцах она уже тринадцать лет, а попала сюда после того, как закончила мединститут и интернатуру. До своего назначения Марина Андреевна работала хирургом.

— Моя работа — это моя жизнь. Я хочу, чтобы наша больница была лучшей. Так меня мама воспитала. Я работаю по двадцать пять часов в сутки и хочу, чтобы и остальные так работали. Многие меня за это не любят. У нас профессия такая —

мы живем для людей. Ведь с того света не возвращаются. Каждая наша недоработка — это смерть больного. Может, это звучит громко, но такая моя позиция. И я буду, пока жива, тянуть эту лямку. В корпусе, в бывшем путевом дворце Екатерины, у нас операционная, и я хочу настелить там мраморный пол. Купила мрамор. И вот приходит ко мне проверяющая и пишет в рекламации — «необоснованные траты». Понимаете? Кто определяет? Финансист, который ни бе ни ме ни кукареку в этом вопросе, или главный врач, который считает, что в операционной должен быть мраморный пол? Надо запастись продуктами для больных — и я поехала в Новгород, на оптовый рынок, купила шесть мешков крупы, три мешка сахара, бочку подсолнечного масла — все! У меня вопрос на несколько месяцев решен. А у нас это называется «нарушением финансовой дисциплины».

— Марина Андреевна, а какой народ в Крестцах? Какие они к вам приходят лечиться?

— Народ неплохой, трудолюбивый. Но они все какие-то запущенные, больные, многие растерянные. Зато почти у всех иждивенческая жилка: «Должны!», «Обязаны!», «Льготы!» А как это все им обеспечить, как это все добывается, какие имеются для этого финансовые основания — это никого не волнует. «Дай!» — и все.

Я решил все же постараться вывести Марину Андреевну из административно-го состояния.

— Представьте, что вам попался в жизни сильный мужчина, который бы стал для вас защитником, авторитетом, который оказался бы сильнее вас...

— Трудно представить. Думаю, на моем пути такого не будет.

— Но все-таки. Что было бы в этом случае?

— Думаю, что я бы его быстро задавила. А может, была бы отличнейшая пара. Он такой волевой, умный... (Я едва уловил на лице Марины Андреевны очертания романтической озорной девушки, но она тут же пришла в себя.) Я не считаю, что мужчина должен быть красивый. Мне все равно, какой он ростом. Хоть метр пятьдесят. Но такое представление пришло с годами. Мужчина должен быть умным, мудрым и непьющим. Для меня пьющий человек — это не человек.

— А вас не мучит то, что у вас нет нормальной семьи, детей?

— Нет, не мучит. Такая моя судьба. Меня оберегает моя бабушка — так я свою маму зову. Мы вместе и живем. Это мой главный авторитет. Я без нее даже не покуаю себе ничего. Только посоветовавшись с нею. Она у меня мудрая.

Здесь я хочу предостеречь от выводов, будто главный крестецкий врач, кроме своей работы, больше ничего не знает и ничем не интересуется. Да, среда наша вытравит утонченность из кого угодно. Но Марина Андреевна прекрасно разбирается в серьезной музыке, в литературе, хорошо знает архитектуру (например, сразу же назвала имя архитектора, спроектировавшего хотиловский храм). Она очень любит Пушкина и поддерживает отношения со многими известными пушкиноведами. Как-то она заказала многочасовую экскурсию по пушкинским местам, посадила сотрудников в автобус и таким «добровольно-принудительным» способом попыталась приучить свой коллектив к высокому. Все были сначала недовольны, а после благодарили Марину Андреевну. Может, так и надо? Кто знает?

— Что нужно делать, чтобы возродилась страна?

— Работать надо! Не в примитивном понимании, не только руками, но и головой. Вот у нас никогда нет денег, а я все равно строю, строю, строю... На зарплату денег не дали — я пошла в банк, взяла ссуду. Знаю, что дадут по балде за это, но все равно так делаю и еще раз сделаю. Вот я открываю аптечный киоск. Денег нет? Возьму ссуду, закуплю товар и буду продавать без сумасшедших накруток. Пусть люди покупают лекарства и не болеют, потому что, когда они к нам попадают в разваленном виде, — это гораздо большие затраты для нас. Вот резко вниз пошла рождаемость. Собрались, стали думать: как защитить беременную женщину, чтобы она своего ребенка родила и вырастила? Придумали. У нас беременные из сел на прием ездят бесплатно. Им бесплатно выдают соки, продуктовые наборы, молоко, медикаменты. Примерно раз в месяц. Помимо этого, вступающие в брак за первого ребенка получают миллион рублей. И даже это дало результат. У нас в 1995 году родилось 166 детей, а в этом — только за полгода столько же. Понимаете?

Наш разговор сопровождал постоянный треск телефона и факса и прерывался визитами сотрудников, во время которых Марина Андреевна отдавала самые разные распоряжения, советы и рекомендации. За это время она подписала множество разных документов, просмотрела массу бумаг и финансовых отчетов.

Закончив нашу беседу, она повела меня осматривать поликлинику. Мы прошли по всем этажам и спустились в подвал, где только что завершена подготовка к открытию аптеки. Я увидел, что сотрудники любят своего начальника, несмотря на ее суровость и строгость, чувствуют себя защищенными и уверенными рядом с нею. Что же может быть сегодня ценнее?

— Из сырого и неприспособленного подвала мы оборудовали аптеку, с лабораториями, хранилищами, складами, привлекли профессионалов, создали несколько рабочих мест, будем торговать лекарствами. А все почему? Потому что надо уметь работать! Пока народ не начнет работать, ничего не будет. Ни Ельцин, ни Явлинский, ни царь, ни Бог — никто здесь ничего не сделает и не сдвинет.

— А если не начнет?

— Значит, будут тянуть лямку такие люди, которые это стадо все за собой тащат. Так всегда и было. Найдутся еще такие марины андреевны, еще такой глава, как у нас, еще кто-нибудь — и будем тащить это все. Понимаете? Вода камень точит.

Понимаю, Марина Андреевна, но как быть с другой нашей мудростью: «Под лежащий камень вода не течет»?

Можно что угодно думать о главном враче крестецкой поликлиники, о ее методах и принципах, словах и выражениях, можно иронизировать и радоваться, что она врач, а не прокурор. Главное — она делает добро. Лечит людей в небольшом районе. Более того, организует это лечение, а значит, организует жизнь. Ее модель сформирована не передовой управленческой технологией, не ориентацией на сиюминутную выгоду, а естественной средой: жителями поселка и близлежащих сел и всем тем окружающим миром, который именуется Россией. Кто может поставить ей это в упрек? Кто имеет право сказать: «Так нельзя, надо иначе»?

Иной раз остановишься, посмотришь по сторонам: на чем все держится? И слышишь такие же удивленные вопросы со всех сторон: на чем держится? За счет чего? Уже все, кажется, промотали...

И впрямь поразительно! Что бы у нас ни происходило, сколько бы ни уничтожали нас, ни завоевывали, ни грабили, сколько бы мы сами ни разворовывали, какие бы опыты над собой ни ставили, в какую бы ложь себя ни загоняли и на какого бы черта ни молились — все держится матушка-Россия. Не спеша, нехотя, со скрипом, но все крутится, крутится, крутится наше огромное, неподъемное колесо: годами, десятилетиями, веками... И неясно, то ли это наши марины андреевны, словно одержимые белки, вращают его, то ли сам Господь Бог нами забавляется, как малое дитя прялкой на обочине большой дороги?

Зайцево

Ничем не выделяется Зайцево среди десятков других сел и деревень, стоящих на трассе. Серые, старые избы, некоторые из них заколочены. Безлюдно. Лишь стоят на обочине дороги мужчина и женщина. Он — в короткой коричневой куртке и военных пятнистых брюках, она — в драповом клетчатом пальто. Перед ними два больших ведра. Одно с картошкой, другое с клюквой. Могут целый день простоять, прежде чем купит кто-нибудь из проезжающих. А могут и не купить. В скольких селениях мы уже видели людей на обочине? Не пикник привел их сюда, а нужда.

Оглянитесь на пройденный нами путь: оставленные на произвол судьбы сотрудники научного института ловят рыбу в реке и сутками стоят на дороге, чтобы ее продать; церковнослужители на пожертвования прихожан открывают школу, собирают и учат там беспризорных детей; старики, собравшись с силами и скромными средствами, выкапывают в селе колодец; директор школы, чтобы обеспечить обедом учеников, посылает их к местным фермерам подрабатывать; у Вышнего Волочка сотни людей с хрустальными изделиями, выданными вместо зарплаты, выходят на трассу в надежде эту «зарплату» еще и продать; глава сельской администрации, чтобы исправить водопровод, покупает бутылку водки и нанимает слесаря; пенсионерка, получающая скудную пенсию, берет на попечение несчастную и заблудшую семью; люди из десятков сел и деревень идут в лес, собирают ягоды, грибы, продают их на дороге, а на эти деньги живут... И так далее, без конца.

Спрашивается: при чем тут государство, власть, правительство? Какое все они имеют к этому отношению? Какова роль наших кремлевских начальников во всей этой жизни, точнее, в этой ежедневной борьбе за возможность жить?

Но вот умирает от простуды ребенок, родители которого не смогли купить ему на зиму теплую одежду; погибают под колесами жители сел и деревень, потому что нет в населенных пунктах, через которые проходит скоростная трасса, ни светофора, ни пешеходного мостика, ни тоннеля; умирает молодая женщина, потому что из-за задержки зарплаты у нее не хватило денег на лекарства; вот двух подростков-братьев сажают в тюрьму за кражу медного кабеля, а их мать на грани самоубийства; вот академик пускает себе пулю в висок из-за невозможности продолжать жить, унижаясь... И так далее, без конца.

Надо ли спрашивать: «При чем тут государство, власть, правительство?»

Наше государство не имеет никакого отношения ко всему, что относится к жизни. Жизнь в стране проходит сама собой, без него. И напротив, государство имеет прямое отношение ко всему, что относится к смерти. Почти всякая смерть — производное деятельности этого государства и этой власти.

Вот о чем я думал, глядя со стороны на одинокую пару зайцевских торговцев, безнадежно стоявшую на обочине дороги.

Единственное, на чем останавливается глаз, пока проезжаешь через эту деревню, — отремонтированное здание с четырьмя колоннами справа от дороги. Обходя его, я вышел к деревенской библиотеке, расположенной здесь же, в старом деревянном доме. Удивило, что она есть и исправно работает. Вот только свет в этот день в библиотеке почему-то отключили. Поскольку погода была пасмурной, в избе оказалось совсем темно. Посетителей, кроме меня, не было.

Библиотекарь Надежда Михайловна проводила меня в читальную комнату, где я, осмотревшись, попросил рассказать историю Зайцева. Однако вместо рассказа Надежда Михайловна положила передо мной обычную школьную тетрадку. Вроде той, какую мне подарили в Яжелбицах. Сама же, извинившись, отлучилась по каким-то делам. Я остался один в темной библиотеке с тетрадкой, в которой от руки записана история Зайцева. Вот ее изложение.

Согласно зайцевской летописи, люди в этих краях живут испокон веков. Поселения здесь существовали еще тысячу лет назад и даже ранее. Центр древнего погоста находился в шести верстах к юго-западу от Зайцева, у речки Ниши. Здесь проходила древняя Яжелбицкая дорога на Москву. Есть сведения, что Иван III, следуя в Новгород в 1477 году, останавливался у церкви Святого Николы в Тухолях. Церковь эта не сохранилась, но спустя два века там была построена деревянная Никольская церковь, считающаяся шедевром деревянного зодчества. В XVIII веке в Зайцево перенесли большой храм из Усть-Волмы.

В 1495 году Зайцево составляли пять тягловых дворов. Эти пять хозяйств сеяли ржи одиннадцать коробов — где-то пудов двести; косили сена восемь колен — от полутора до двух тысяч пудов; имели пашни четыре ржи — это до сорока гектаров. Платили в то же время помещикам шесть денег — где-то миллион рублей в пересчете на конец 1996 года, если вообще такие сравнения возможны; да плюс к тому из выращенного хлеба отдавали пятую часть; да еще отдавали ключнику — слуге в помещичьем доме, в ведении которого находились продовольственные запасы и ключи от мест их хранения, — «три большие головы сыра, да три горсти льну». (Что такое «горсть», я пока не выяснил.)

Год от года Тухольский погост богател, а Зайцево становилось его центром. На одной иностранной карте конца XVII — начала XVIII века у верховьев реки Ниши указан город Zaitshoff. Любопытно, что Зайцево, по мнению западного географа, входило в шестерку городов новгородской земли. Во всяком случае, Зайцево, по нашим понятиям, в то время было не деревней, а большим селом.

В 1844 году в Зайцево была открыта школа новгородской Палаты государственных имуществ. В том году в этой школе работали учитель и учительница, а обучались 32 мальчика и 17 девочек. Вообще в этой школе, как сообщается в летописи, начали свое образование 1863 человека. С Зайцевым связаны десятки учительских судеб. В 1881 году сюда приехала бестужевка Софья Ивановна Хрипач, дворянка, в строгом черном платье с белейшим воротником. И учила на совесть, и нрава была безупречного. Поэтому ее запомнили надолго.

В конце XVIII века Зайцево стало волостным центром, который имел 127 дворов и ровно столько же домов, в которых проживали 642 жителя. Здесь были церковь, школа, волостное правление, почтовая земская станция, квартира станового пристава, четыре мелких лавки, три трактира и одна винная лавка. В начале октября и в июле проводились торговые ярмарки.

У А. Н. Радищева деревня эта упоминается, как Зайцѳво, с ударением на предпоследнем слоге. Существует версия, что когда-то неподалеку была расположена усадьба помещика Зайцева. И поэтому на памяти старожилков деревня звучит уже как Зайцево. Если это так, то мы имеем любопытный факт, когда похожая на название села фамилия помещика невольно явилась причиной трансформации названия деревни. Живший здесь помещик попал в трудное положение: надо было либо менять фамилию на Зайцов, либо переименовывать деревню. Поскольку помещик в деревне был царь и бог, то вопрос скорее всего сам собой разрешился. Люди просто стали называть деревню по имени помещика.

Географически деревня эта расположена на границе валдайской возвышенности. Местность здесь очень красивая. Вокруг Зайцева в лесах много болот, богатых клюквой. Почвы здесь суглинистые, кислые. (Вот отчего были, оказывается, «хлебные» проблемы у Новгородской республики.)

До наших дней сохранились названия многих мест и урочищ, расположенных на территории Зайцева: Петунова Нива, Малышова и Панфилова Нивы, Калинин Амбар, Мощева Горушка — там, где сейчас располагается трактир «Любава».

В те далекие годы в деревне проживали более трехсот человек. В основном это были крестьяне, которые, заметим, в Зайцеве всегда были вольными. Занимались здесь хлебопашеством. Землю делили по едокам. В деревне было несколько лавок, которые держали купцы Окулов, Мороз, Рыжов и купчиха Бубнова. Рыжов, кроме этого, держал еще чайную лавку. Были кустари-ремесленники. Люди работали от зари до зари. Как сообщается в зайцевской летописи, «зарабатывали на хлеб потом и кровью».

Раньше Зайцево делилось на две части: от центра села в сторону Москвы деревня называлась Зайцево, а в сторону Петербурга — Новое Подметовье. На границе между частями села по обеим сторонам стояли четырехугольные столбы. Между ними были вставлены чугунные решетки с изображением двуглавых орлов. В середине этих орлов были начертаны две буквы «Н» и «П»: «Николай Первый». При Советской власти это все было демонтировано и уничтожено, включая и орлов, и царские вензеля, и самого Николая, только не Первого, а Второго (какой уж под руку попался).

Престольные русские православные праздники в Зайцеве были Покров и Антоний, а достопримечательностью являлась православная церковь Святого Николая Чудотворца и Воскресения Христова. По воспоминаниям стариков это была красивая и большая церковь с куполами и колоколами, звон которых разносился на многие версты и слышен был во всех окрестных деревнях. Церковь состояла из двух помещений — зимнего и летнего. Летняя церковь открывалась с Пасхи. Здесь сохранилась память о замечательном церковном хоре, которым руководили протоиереи Сергей и дьякон Николай. Протоиерей Сергей похоронен на зайцевском кладбище.

В 1937 году церковь закрыли. Были сняты купола, сброшены колокола. Церковь стала сначала кладовой, позднее — клубом. Там же находилась зайцевская библиотека. Сейчас в этом недавно отремонтированном здании — дом культуры. Именно на него я обратил внимание, когда только въехал в Зайцево.

В летописи сообщается, что строителям, переоборудовавшим бывшую церковь в дом культуры, никак не удавалось уничтожить лики святых, коими были расписаны стены. Сколько слоев краски ни наносили, лики эти все равно проступали и местами видны до сих пор. Существует легенда, по которой эта церковь должна была со временем провалиться под землю, а на ее месте будто бы должно образоваться озеро. Так что, проезжая через Зайцево, посмотрите направо: если однажды увидите водоем вместо здания с колоннами, значит, легенда претворилась.

Советская история Зайцева здесь еще на памяти живых свидетелей.

Первым председателем сельского Совета был товарищ Пельтцер, имя и отчество которого никто не помнит. Был он человеком строгим, и люди его попросту боялись. Первый колхоз образовался в 1932—1933 годах. Назывался он символично — «Перелом». Первым председателем колхоза был товарищ Муравин, впрочем, в летописи оговаривается, что это еще неточно. Зато точно известны имена первых зайцевских колхозников — это Андрей Петрович и Анна Петровна Полуэктовы. Анна Петровна вспоминает: «Муж мой был заядлым колхозником. Позднее стал бригадиром, а потом и председателем колхоза. Он погиб на финской войне, в последний ее день».

Не обошлось в Зайцеве и без вредительства. В летописи сообщается: «В середине тридцатых (в 1934 г.) в колхозе было много крепких и очень хороших лошадей. Сейчас уже трудно сказать, кто дал такое заключение, но только признали вдруг всех лошадей больными. Самых породистых и крепких расстреляли в лесу за деревней. А место, где расстреляны и зарыты лошади, называлось Конским кладбищем». Все ли сегодня поймут, что такое в то время деревня без лошадей?

В те годы в стране полным ходом шли репрессии. Докатились они и до Зайцева. «Были репрессированы Николай Львович Мосичев и Мефодий Петрович Мошцев. Мосичев был учителем в местной школе, в прошлом офицер русской армии, невысокого роста, черненький. Это был, по свидетельству местных жителей, очень хороший человек, но очень больной. Жил он в Зайцеве с женой и двумя детьми — дочерью Марусей и сыном Котиком. Все в деревне любили и жалели его. А Мошцев был кузнец». За что репрессировали учителя и кузнеца, летопись не сообщает, лишь упоминает, что «с тех пор никто больше ничего о них не слышал и не видел».

В 1934 году была создана художественно-строчевая артель. Имени председателя артели уже никто не помнит, но зато помнят, что и его репрессировали. А сама артель работала еще долго. Позднее в клубе была открыта библиотека и создан хор, который выступал и перед односельчанами, и в других деревнях. Зайцевский хор даже ездил на гастроли в районный центр — Крестцы, а руководил им, как сообщается в летописи, Анатолий Александрович Колотухин.

Первая школа в Зайцеве была приходской трехлетней. Учителем был Александр Иванович, фамилию которого не помнят. Обратите внимание: у первого советского начальника, которого боялись, односельчане запомнили лишь фамилию, забыв имя и отчество, а у учителя, которого уважали, как раз имя и отчество запомнили. При этом учителе была построена новая двухэтажная, большая и красивая школа, в которой до осени 1990 года училось не одно поколение жителей Зайцева. А осенью 1990 года по неизвестной для местных жителей причине «большая и красивая» школа сгорела.

1941 год. Война не обошла Зайцево, которое подвергалось частым бомбардировкам. Много домов было разрушено, да еще почти в каждый из них пришла похоронка. Вокруг в здешних лесах были наши войска. Недалеко отсюда был госпиталь. На зайцевском кладбище есть воинские братские захоронения.

Закончилась война. Люди отстроились. Жизнь в деревне продолжалась с новыми заботами. Колхоз «Перелом» был переименован в «Серп и молот», позднее он станет колхозом «Россия», а еще позже совхозом «Зайцевским». Первым директором этого совхоза был Сергей Иванович Никулин, заслуженный агроном страны.

После войны в Зайцеве стала работать школа-семилетка с интернатом для жителей окрестных деревень. Долгое время директором этой школы был Аркадий Александрович Стручков, а интернатом заведовала его жена — Александра Александровна. Зайцевская летопись упоминает, как в 1945—1946 годах в эту школу совсем маленькими девушками пришли по распределению Анна Сергеевна Егорова, Александра Ивановна Морозова, Вера Михайловна Зенина да так и остались здесь, в Зайцеве. Тогда же в бывшем доме священника заработал молокозавод, а в двухэтажном новом здании — участковая больница. Были здесь и своя пекарня, и два магазина да еще — чайная.

По данным на 1992 год, в Зайцеве проживал 461 житель. Вели они 185 хозяйств. То есть по сравнению с концом XVIII века хозяйств стало на 50 больше, а жителей — на 180 меньше. Коренных осталось всего несколько. Основу составляют люди приезжие.

Все эти материалы были собраны в 1992 году со слов старожилы деревни. А записала и обработала их старший библиотекарь Надежда Михайловна Калущая.

А вот что еще не записано в тетрадку и что Надежда Михайловна рассказала мне. Совхоза «Зайцевский» нет уже три года. Его реорганизовали как убыточный. На его базе возникли два товарищества — «Агро» и «Зайцевское». Последнее с трудом осваивало новые формы и в конце концов развалилось. «Агро» еще существует, хотя люди там подолгу не получают зарплату. Всем очень тяжело. Кроме этих «товариществ», организовались фермерские хозяйства: братьев Михайловых, Сергея Козина и Александра Васильева. У них вроде бы дела идут неплохо. Они и себя кормят, и других тоже. Но в основном в Зайцеве сегодня безработица. Люди stanовятся на биржу труда в Крестцах и ждут рабочих мест. Взамен сгоревшей школы здесь выстроена новая. На базе детского садика организован детский приют.

По словам Надежды Михайловны, кормит людей главным образом мох. В окрестных лесах обильно растет клюква, и люди до самого снега ходят на мох, собирают ее и на дороге продают. Вот этим собирательством и живут, и если бы не снег, то всю зиму бы собирали. Лес и дорога кормят, как в древние времена. Конечно, есть в Зайцеве и подсобные хозяйства. Кто-то держит корову. Фермеры местные год назад попробовали выращивать капусту и вроде бы урожаем собрали неплохой. Продажа шла бойко. В этом году уже частники, глядя на фермеров, высадили капусту. Продукции стало больше, а со сбытом — проблема. Перепроизводство. Дорога, хоть и длинная, но имеет свои покупательские пределы. Рынок!

Сама Надежда Михайловна — на редкость тихая, спокойная, негромкая. Ее движения несуетливые и неспешные. Такие больше слушают, чем говорят, а тревоги и переживания держат глубоко в себе и редко ими делятся. Всю жизнь прожила она в этих местах. В библиотеке уже двадцать три года и на другой работе себя не мыслит. Замужем. Двое сыновей, один из которых служит в армии, а другой учится в школе. Муж безработный, подрабатывает по случаю.

Спросил Надежду Михайловну: каково ей живется?

— Как всем,— отвечает.— С одной стороны, вроде бы лучше стало жить, вроде бы лучше... Но, с другой, сейчас так тяжело стало жить, так тяжело...

Старшего сына сначала в армию не брали из-за плохого зрения. Что ж, надо продолжать учебу, получать профессию. Нашли в Новгороде платную группу заочников — юристов-экономистов при строительном техникуме. Осталось найти деньги. А какие у библиотекаря деньги, даже если он и старший? Отец ведь без работы. Тем не менее семья решила: учеба — это будущее, как-нибудь вытянут, тем более что сын устроился в школу учителем физкультуры и какую-то зарплату получал. Всю осень семьей ходили в лес на мох, собирали клюкву, а затем на дороге продавали. Надежда Михайловна для этого даже взяла отпуск. Кроме того, продали домашнюю картошку, излишки. Наконец собрали нужную сумму на учебу. Думаете сколько? Миллион двести тысяч. Для кого-то пустяк, а здесь — будущее человека, целой семьи.

Проучился парень несколько месяцев и уже готовился к сдаче первых экзаменов, как вдруг повестка и... забрали в армию. Там ведь тоже служить некому. Так закончилась учеба, рассыпались надежды, пропали денежки, а парень с плохим зрением уже год таскает тачку с углем в армейской котельной. Один за троих. Потому что в армии недобор и каждые руки там на вес золота. Не для боеготовности, а чтобы хоть как-то инфраструктуру поддерживать. Пишет домой письма: «Мама, я все больше задумываюсь над тем, что буду делать, когда вернусь».

— Дай Бог,— говорит Надежда Михайловна,— чтобы вернулся живым и здоровым, а там уж как-нибудь...

Вот таким мы узнали Зайцево, или по-радищевски — Зайцёво. И про то узнали, что в летописи зайцевские не войдет никогда, потому что не запишет свои переживания Надежда Михайловна в тетрадку. Во-первых, потому что это дело личное, а во-вторых, даже для этой деревни они малы и незначительны.

Но представьте: не было бы Надежды Михайловны. Кто рассказал бы историю Зайцева? Кто бы вел летопись? В таких вот тетрадках записано то, чего, если потеряешь, не воспроизведешь.

Я где-то слышал, будто выдающиеся ученые из разных стран решили выяснить: какое открытие может считаться самым значительным в истории человечества? Великих открытий множество. И за каждым из них — титан. Галилей, Коперник, Ньютон, Эйнштейн... Наконец пришли к единому мнению: самым значительным открытием в истории человечества, от начала до сего дня, является изобретение письменности. Всего-то. А ведь даже неизвестно, кто изобрел.

Мы до того привыкли пользоваться этим чудом, что для нас письменность является чем-то само собою разумеющимся. Но что такое письменность? Если отстраниться совсем, то это какие-то странные крючки и палочки. Не более. А в действительности — особым способом закодированная информация, для передачи которой ничего лучшего пока не придумали. Вспомним Александра Сергеевича Пушкина:

Смеркалось: на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал...

Для инопланетянина это лишь странный орнамент или необъяснимый узор. Для нас же целый мир, сотканный из времени и пространства, нашей памяти и наших представлений. И нет такого уголка в целой Вселенной, нет такой точки во времени, куда бы мы не могли с вами зримо и немедленно перенестись, лишь глянув на какой-нибудь текст.

Если целостность и неразрывность человеческой истории стали возможны благодаря памяти, то сама память наша — это прежде всего письменность.

Представьте, что последний житель Зайцева, заколотив избу, по каким-то причинам покинет свою деревню. Мало ли в этих местах нежилых деревень и урочищ! Но, даже если останется только эта школьная тетрадка с рукописной зайцевской историей, деревню эту и через тысячу лет не забудут. И через тысячу лет люди смогут узнать о церковном хоре, об учителях, о праздниках и трагедиях, о бестужевке в белейшем воротничке, о других жителях, оставивших след в истории деревни. И, наоборот, если понаедут в Зайцево сотни и тысячи новых жителей культурных и образованных, настроят дома, откроют здесь предприятия и магазины, рестораны и гостиницы, выстроят новые храмы и дома культуры, а школьная тетрадка эта случайно затеряется, пропадет — не будет Зайцева.

Вот почему мы кланяемся сельским библиотекарям: и тем, кого встретили на своем пути, и тысячам другим по всей России, — и говорим, что нет сегодня более благородной миссии. Они сохраняют нашу память, и не только нашу, для тех, кто придет после.

Новгород

Если придется вам, дорогой читатель, подъезжать к Новгороду со стороны Москвы, то, проезжая по мосту через небольшую речку Волховец, постарайтесь не спешить. Успейте оглядеться по сторонам, потому что нигде больше природа не даст вам такой возможности насладиться красотой и величием древней Руси. Пологий бесконечный берег в безветренную погоду создает впечатление, что речка не течет, а лежит на равнине. Недалеко от дороги виден древний однокупольный храм — это Спас на Ковалевом поле. Где-то за ним находится еще более древний Спас на Нередице, еще дальше — столь же древний Юрьев монастырь и уже за ним — Ильмень-озеро. Там, у истока Волхова, и возник город, который многие века на Руси называли не только Великим, но еще и Господином.

Опустившийся туман выполняет роль волшебного раствора, который остановил и зафиксировал время в этом месте. Кажется, что сейчас появится русская дружина со своим князем. Какой была Святая Русь — такой она здесь и осталась. И это не театральная декорация, а настоящий и самый русский пейзаж из всех когда-либо мною виденных. Как долго сохранится это чудо?

Въехав в город, я сразу же направляюсь в новгородский Кремль. Его здесь называют по-старинному, почти ласково — Детинец. Оставляю местным пацанам под охрану свою машину, а один из них, без ноги, на костылях, предлагает ее еще и помыть. Я соглашаюсь, даю ему деньги и иду в Детинец. Там практически никого нет, кроме одинокого пожилого человека, стоящего у знаменитого памятника «Тысячелетие Руси». Этот памятник был изготовлен по проекту М. О. Микешина в 1862 году. В его скульптурных композициях отражены самые значительные этапы развития русской государственности, представлены выдающиеся деятели истории, науки, литературы и искусства за тысячелетнюю историю России. Существование этого памятника не особенно афишировали в советский период, потому что взгляд советской исторической науки на свою историю базировался на принципиально иных научных концепциях.

Одиноким человеком оказался частный экскурсовод, который подрабатывает лекциями об этом памятнике. В теплую погоду, конечно, это делать приятнее и выгоднее. Сейчас же, когда поздняя осень и дует холодный ветер, — сложнее. Туристов в Детинце мало, а те, что есть, торопятся обойти памятник и укрыться в каком-нибудь теплом месте.

Поскольку было прохладно, я попросил экскурсовода рассказать лишь о наиболее значительных событиях, отображенных в верхней, самой почетной и величественной, части памятника. Экскурсовод, сожалея, что речь пойдет не обо всем памятнике, тем не менее согласился на сокращенную лекцию. Бумага и перо не в со-

стоянии передать его голос, интонации, ударения и певучие голосовые протяжки. Для этого под каждым слогом пришлось бы рисовать еще и ноты.

Мы стали с южной стороны памятника, и мой экскурсовод почти зашел:

— Правильное название памятника: «Тысячеле-е-тие Ру-у-сского государст-ва». На самом верху, на самом важном и значительном месте, там, где высится крест, находится скульптурная группа под названием «Пра-во-сла-вие». Преклоненная женщина — видите, она стоит на коленях? — это вели-и-кий символ, это наша многострадальная и печальная матушка Россия. У креста стоит ангел Господен. Он благословляет матушку Россию, желает ей добра и счастья. Обратите внимание на крест. Такого больше нигде не увидите. Ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Париже, ни в Лондоне... Это крест из бронзы, это крест ажурный, работы академика Гартмана. Большой шар, на котором стоит эта скульптурная группа, называется «Де-е-ержава». Это символ царской власти в России, ее незыблемости и непоколебимости. А вокруг «Державы» расположены шесть скульптурных групп, которые отображают шесть наиболее ва-а-жных, наиболее судьбоно-о-сных событий в истории России за тысячу лет.

Экскурсовод сделал короткую паузу и продолжил:

— Первое событие. Вы видите, перед нами стоит больша-а-ая фигура в форме древнерусского воина со щитом в руке. Это событие называется «Нача-а-ло русского государства». Перед нами — первый русский князь, легендарный Рю-ю-рик. Его новгородцы пригласили, и он прибыл сюда со своей дружиной в 862 году. Он здесь начал княжить, править, руководить всеми племенами, жившими вокруг Новгорода, и таким образом зародилась еди-и-ная русская власть. Но Рюрик мечтал подчинить себе Киев, поэтому он стоит и смотрит пря-я-мо на Киев. А на щите у него знак: так писали в древней Руси, и это означает — 862 год. Согласно «норманнской» теории, он прибыл из Скандинавии, из племени Русь. Вот здесь, где мы стоим, в самом центре Новгорода Великого и зародилось еди-и-ное Русское государство.

Слева от Рюрика, — продолжал экскурсовод, — стоит больша-а-ая фигура с крестом в руках. Это второе важнейшее событие в истории Русского государства. Оно называется: «Нача-а-ло крещения Руси». Вот перед нами первый креститель Руси святой равноапостольный киевский князь Владимир Красное Солнышко, который в 988 году начал крещение Руси. Видите, женщина преподносит ему своего ребенка, и он одной рукой этого ребенка крестит, а другой дает указание мужику-язычнику уничтожать деревянных идолов. И тот неохо-о-тно ломает Перуна — бога грома. Видите! Это нача-а-ло крещения Руси. Веру христианскую Владимир заимствовал из Византии, поэтому он и сам смотрит, и крестом указывает в сторону Константинополя.

А справа от Рюрика, — экскурсовод указал рукой, — стоит еще одна больша-а-ая фигура, символизирующая третье важное событие в истории Российского государства — Кулико-о-вскую битву. Это 1380 год. А перед нами князь Дмитрий Донской. Стоит он на Куликовом поле и ногой своей Мамай-татарина прижал. Но татарин смотрит де-е-рзко, у него в руках оружие, за спиной колчан со стрелами... После Куликовской битвы еще сто лет Россия платила дань татарам, сто лет еще продолжалось татаро-монгольское иго, и это была только первая победа. Татаро-монголы двигались на Русь из Средней Азии, поэтому князь Дмитрий Донской смотрит в сторону Средней Азии. В левой руке он держит татарское знамя, которое называется бунчук, а в правой руке у него древнее русское оружие — шестопёр.

Экскурсовод взял паузу, мы с ним, сделав несколько шагов, встали у восточной стороны памятника.

— Четвертое событие называется: «Созда-а-ние централизованного Московского русского государства». Перед нами во весь рост стоит больша-а-ая фигура с «державой» в левой руке. Это великий князь московский Иван Третий, дедушка Ивана Грозного, который в пятнадцатом веке ликвидировал удельных князей и создал еди-и-ное и неделимое московское государство. Поэтому он стоит и смотрит пря-я-мо на Москву. И татарин здесь уже не дерзит, а покорно склонил голову к ногам Ивана Третьего, потому что в 1480 году кончилось на Руси татарское иго. Позади татарина лежит поверженный литовский воин: Иван Третий их наголову разбил. А впереди с обломанным мечом лежит немецкий ливонский рыцарь. Они пытались захватить Латвию и Эстонию, но Иван Третий их тоже сильно побил. А вот там, видите, позади князя, спиной к нам, как бы полулежит фигура? Эта обезличенная фигура — символ. Это не царь, не герой, а простой человек, который платит на-

логи и держит шар — «державу». Это основная фигура памятника. Можно сказать, что это и есть наш народ.

Мы встали у северной стороны памятника, и к нам присоединилась молодая пара. Им было интересно слушать моего экскурсовода, а он, вдохновленный увеличением аудитории, продолжал:

— Пятое событие, которое отражено на памятнике, называется: «Созда-а-ние Российской империи». И вот перед нами во весь свой исполинский рост стоит первый российский император Петр Первый. Это 1721 год. Позади, за спиной Петра, посланец Божий — ангел, который указывает Петру путь на Прибалтику, благословляет его «прорубить окно в Европу». Поэтому Петр Первый смотрит прямо на Петербург. Он создал вели-и-кую империю, вели-и-кую Россию, вели-и-кое государство, которое теперь разбили, раскололи и добивают остатки. Петр Первый двадцать лет воевал со шведами, и вы видите, как перед ним на коленях стоит шведский воин и прижимает к своей груди остатки разорванного шведского знамени. А вот будете в Петербурге, там в Петропавловской крепости поставили памятник Петру какого-то Шемякина. Это позор и издевательство! Вот здесь Петр, которого весь мир называет Великим, а там какой-то debil. И это у его, Петра, могилы!

Экскурсовод махнул рукой, как бы выражая досаду, и наша маленькая группа перешла и встала с западной стороны памятника.

— Шестое событие, которое отражено на памятнике, называется «Нача-а-ло царствования Романовых». Вот в центре стоит мальчик — это первый царь из рода Романовых, Михаил Федорович. Его избрали на престол 21 февраля 1613 года. Тогда, как и теперь, тоже было смутное время. И так же, как и сейчас, все захватили иностранцы. Москву — поляки, Новгород — шведы... Но тогда они нас завоевали, а теперь мы сами их упрашиваем: «Приезжайте, скупайте, мы все вам продадим». А тогда народ протестовал. И вот перед нами стоит больша-а-я фигура с саблей в руке. Это князь Дмитрий Михайлович Пожарский, который изгонял иноземцев из Москвы. Видите, как он с оружием в руках защищает молодого царя? А на коленях перед царем стоит Козьма Минин. Это торговец из Нижнего Новгорода, который там создавал ополчение. Он обращался к народу русскому: «Пойдемте-ка сразимся за матушку, за родную землю, за славный город Москву!» Они освободили Москву, и, видите, Козьма Минин вручает молодому царю шапку Мономаха и скипетр. Угроза государству шла, как и теперь, с Запада, поэтому молодой царь смотрит прямо на Запад. Вот такие здесь, на памятнике, отмечены са-а-мые значительные и важные события в истории России за тысячу лет — с 862-го по 1862 год. А внизу, во втором ряду памятника, отражены события тоже важные, но уступающие первым. Там и Александр Невский, и Иван Грозный...

Тут я прервал рассказчика вопросом, который возник в процессе его повествования. Я спросил, какое из событий последних ста лет, на его взгляд, могло бы дополнить самые великие события нашей истории и достойно быть отмеченным соответствующей скульптурной группой на этом памятнике?

Экскурсовод, немного смутившись от неожиданного вопроса, не нашел ничего лучшего, чтобы сказать:

— Заплатите сначала за проделанную работу пятнадцать тысяч.

Я заплатил ему двадцать, не имея разменных купюр, а поскольку сдачи у него не было, я предложил, чтобы его ответ и был «сдачей».

Надо сказать, что ответ его стоил гораздо большего. Ведь этот человек на протяжении многих лет живет именно с такой логикой и мировоззрением, и он-то может протянуть логическую нить на сотню лет и обозначить еще одно событие. Тем более что он то и дело вставляет в свой рассказ собственные мысли о настоящем. Можно сказать, что он сам спровоцировал мой вопрос. Вот почему я так настаивал на ответе и готов был заплатить еще столько же. Для меня его ответ значил больше, чем выводы научной конференции.

Экскурсовод настороженно спросил:

— А зачем это вам?

Я ответил, что мне это просто интересно, что все-таки прошло с момента создания памятника сто тридцать лет, а события за это время происходили бурные, и еще многое я ему пытался объяснить, после чего он, попросив отключить диктофон, начал говорить. Но говорил он уже совсем другим голосом — не певучим, не громким, а обыкновенным, бытовым. Я же, слушая его, уже не представлял этот голос иным, чем речитатив с певучими протяжками и неожиданными ударами. Сама тема не позволяла слышать по-другому.

— Седьмое значительное событие, — говорил экскурсовод, — которое должно быть отражено на этом величественном памятнике, называется: «Создание великой мировой ядерной сверхдержавы — СССР». И поставить в один ряд с самыми значительными и великими фигурами нашей истории надо большую-ую фигуру великого отца народов России — Иосифа Виссарионовича Сталина. В длинной шинели и сапогах. В одной руке он держал бы книгу — это произведения Владимира Ильича Ленина, а другую руку он положил бы себе на грудь, на сердце. А перед ним на коленях должны стоять поверженные немец и японец, которые несли народам мира фашизм и которых Сталин побил, не оставил от них камня на камне. Сталин создал великую сверхдержаву, от океана до океана, и с нею считались все страны и все политики.

— А куда бы смотрел Сталин? — спросил я.

— А смотрел бы он немного вниз, как и на своем надгробном памятнике на Красной площади. Там скульптор специально сделал его как бы провинившимся перед народом за необоснованные репрессии. Но было такое время. А вы думаете, что все те, что тут на памятнике, обходились без репрессий? После хаоса, разрухи, гражданской войны надо было наводить порядок. И сейчас тоже надо. В России другому нельзя. Вот перед вами вся ее история, и покажите, когда и кем здесь правилось иначе? Чуть отпустишь вожжи, как это сделал Горбачев, и начнется хаос, беспредел, развал. Великая держава держится на власти, на государях, на сильных, великих личностях.

Я поблагодарил своего экскурсовода и, прежде чем расстаться, попросил рассказать о себе.

— А зачем это вам? — вновь настороженно спросил он.

Я опять стал объяснять, что мне просто важно знать происхождение такого рассказчика, его, так сказать, социальную нишу.

Оказалось, что зовут его Петр Васильевич, что он бывший учитель истории и уже пять лет как на пенсии. Живет он всю свою жизнь в Новгороде, недалеко от Детинца, вдвоем с женой в однокомнатной квартире. Жена тоже на пенсии. Дети уже взрослые и проживают отдельно. Далее Петр Васильевич стал рассказывать о трудностях нынешней жизни, никудашности властей, преступности, нехватке денег, дороговизне, отсутствии перспектив для детей и обо всем прочем, с чем мы уже не раз сталкивались. Здесь слышался уже голос обычного пенсионера, отделенного от великой истории России и живущего, как и все остальные.

Я не видел его жизненного распорядка и быта, но, узнав кратко его биографию, образ мыслей, глядя, во что он одет и обут, предполагаю, что быт его немногим отличается от жизни миллионов таких же пенсионеров, занятых одним — выживанием. И если пенсионерка из Выдропужска содержит свой небольшой огорожок, а ее соотечественница из Зайцева ходит в лес за клюквой, то историк Петр Васильевич выходит к памятнику «Тысячелетие Руси» и экскурсиями зарабатывает себе на жизнь. А чем ему еще зарабатывать?

В отличие от других он может воздействовать на чувства своих клиентов-экскурсантов, рассказывать им про могущественную державу — Россию, открывать глаза на нынешнее ее плачевное состояние и тем самым ощущать себя хоть на какое-то время в гуще исторических событий, если не на самом памятнике, то рядом с ним. Его Россия — это держава, закованная в броню и доспехи, облаченная в панцирь и кольчугу, освященная крестом и ангелами, знаменами и хоругвями, диктующая всем остальным свою высшую волю и не допускающая слабости ни по отношению к себе, ни по отношению к другим. Но где эта Россия? Разве что только здесь, на этом памятнике. А в действительности — его Россия — это маленькая однокомнатная квартира в старом панельном доме — «хрущевке», в подвезд которого он боится войти из-за наглых подростков. Выйдет из Детинца, пройдет быстро к себе домой, пока светло, закроется там и будет весь вечер смотреть по телевизору новости. При этом он будет крыть власть на чем свет стоит, как он это делал десять, двадцать, тридцать лет назад.

Прощавшись с Петром Васильевичем, я направился к самому древнему и самому главному в Новгороде собору — Софийскому, расположенному здесь же, в Детинце. С отделением Украины, вместе с ее столицей и Софией Киевской, мы можем сказать, что это самый древний собор на всей Руси. В этом соборе находится и одна из самых древних икон — Знамение Божией Матери. Чего и кого только не видели на своем веку Софийский храм и его Чудотворная икона!

Возле собора никого не было, за исключением фотографа, который, несмотря на пасмурную погоду, делал снимки бронзовых ворот. Эти ворота с рельефами библейского содержания были столь красивы и необычны, что я поинтересовался:

сколь стары они? Фотограф ответил, что ими восхищался еще Александр Невский. Затем он, занятый установкой штатива для фотоаппарата и как бы не обращающий на меня внимания, неожиданно спросил:

— Чего это вы там записывали с этим стариком?

Он, оказывается, видел, как я ходил с диктофоном за экскурсоводом вокруг памятника.

Я ответил, что мне надо было узнать о памятнике и, кроме того, интересен сам взгляд этого человека, пенсионера, на историю России.

— Ну и как? — спросил фотограф.

И я рассказал, как задал последний вопрос экскурсоводу и что он на него ответил. Фотограф, не переставая работать с фотоаппаратом, разразился длинной тирадой:

— Вот это рабское устройство наших мозгов была и есть главная наша беда. И старые, и молодые — все одинаковые. И в городах, и в деревнях... У государства этого нет более сильного оружия и более устойчивого фундамента, чем вот эти так называемые «простые люди». Они самые яростные и одержимые носители всей этой государственной имперской идеи и великодержавного духа. Они сидят тихо в своем углу, где-нибудь в Урюпинске, за шкафом или за столом в каком-нибудь учреждении, получают мизерную зарплату, которую еще и не выплачивают по три месяца, ходят на полусогнутых, имеют одну пару брюк, рубашку и стоптанные башмаки и вечно брюзжат о плохой жизни, невостребованности, несправедливости... Но это до поры до времени. А ну, затронь при ком-нибудь из них наше государство! Скажи им про целостность и неделимость, например, что-нибудь про Курилы, что их надо бы отдать японцам. Знаете, что поднимется? Вылезет наружу такое! Выпрямится, расправит усы, поднимет голову, раздвинет брови, появятся откуда-то голос, дикция, и вы уже не узнаете человека.

Фотограф не на шутку разволновался, отставил в сторону фотоаппарат, закурил и продолжил:

— Был у нас тут такой. Никто даже и не предполагал, что внутри у человека таятся. Затронули вопрос о Курилах, и началось... Казалось бы, где Новгород, а где Курилы? Но нет. Он вылез из своего закутка и такое завернул, что все шарахались. Вот такой «тихоня» может до того раздуться, так разойтись, что станет и депутатом, и президентом, и чем угодно... Вот загадка! У государства этого вроде бы и омововцы, и тюрьмы, и спецслужбы, и атомная бомба, и вся пресса с телевидением, но нет, мало того, у него «на службе» еще и миллионы вот таких бесштаных «сратников». И они приплетут сюда кого угодно: и Пушкина, и Достоевского. Вспомнят, кто чего когда сказал, что написал. Они говорят: «Федор Михайлович что говорил про Константинополь? Что говорил про третий Рим?»

Кстати,— перешел фотограф с экскурсовода на памятник,— этот дед вам показывал лежащую фигуру за спиной Ивана Третьего? Наверное, нет?

— Почему же, как раз показал,— ответил я.— Сказал, что это символ нашего народа, который налогами содержит Державу-государство, и, между прочим, сказал, что это центральная фигура памятника...

— А вы не спросили: почему это «центральная фигура» к нам, к потомкам, обернулась спиной? Почему это она обезличенная? И вообще почему эта фигура не стоит, а лежит, раздавленная этой самой Державою? Вот это и есть наш народ — забитый, ограбленный, задавленный, а все равно считающий, что он тут фигура «центральная». Какие налоги? Во все времена забирали у людей все, что только могли, включая жизни. Посмотрите на эти фигуры — кто они? Все с палками, мечами, булавами, в доспехах, кольчугах, панцирях... Символ России — скромная женщина — стоит на коленях, опустив голову, а вокруг все грохочет и бряцают... Вот настоящий памятник России! — Фотограф, подойдя вплотную к храму, осторожно дотронулся до него ладонью.— Разве можно сравнить Святую Софию с тем черным железным клубком из тиранов? Да вы посмотрите внимательнее, он вообще не отсюда. Его надо отвезти куда-нибудь в Питер или в Москву. Там его место, а не рядом с этим храмом. Кстати, этот собор, его история — самая охраняемая тайна этого государства, самая большая его ненависть, и от этого храма самая большая для него угроза.

— Да,— согласился я,— памятник действительно как-то не очень вписывается... Но что это за тайна и что за угроза? — спросил я, недоумевая.

— А то, что больше всех бунтов и иноземных нашествий, больше эпидемий, переворотов и революций боялись государи московские правды о Новгородской республике — носительнице свободы, культуры, духа просвещения, трудолюбия и христианства. Все эти наши правители и вся их обслуга замалчивали и замалчива-

ют, что такое Новгородская республика, и знаете почему? Потому что всем этим служителям государства выгодно представлять Россию как консервативную, реакционную страну, в которой иных традиций, кроме деспотичных, никогда не было, а единственной роскошью для людей оставались лишь водка да лапти. Посмотрите на памятник. Он всех должен убедить, что иного управления нашим народом, кроме как тирания, — нет и быть не может. Все эти цари, генсеки, а теперь и президенты — по сути, восточные деспоты, настоящие ханы.

— Вы хотите сказать, что это заимствовано у Орды?

— Именно. Знаете, как эти князья боролись за то, чтобы получить у хана ярлык на княжение? Он ведь доставался тому, кто обещивал большую дань Орде и держал под ханской властью население Руси. А власть способны были удержать лишь самые беспринципные и безжалостные князья, сотрудничавшие с Ордой, заискивавшие перед ханом. Если кто поднимался против баскака — того князья, в основном московские, топили в крови. Историки стали называть это «исторической целесообразностью», дескать, выгодно для централизованного государства. С этой точки зрения и Иван Грозный был хорош, и все остальные. А через какое-то время Сталин будет перед историей в плюсе. А на самом деле? Вечевой строй в Новгородской республике был неугоден прежде всего Орде и этим самым князьям с ярлыком, для которых исчезновение вече способствовало их неограниченному произволу. Так что не «государственный интерес», как это пишут, а иго подготовило почву для самодержавной власти князей, царей, генсеков и вообще централизованной бюрократии. Иван Грозный считал себя восточным монархом. Кстати, на многих европейских картах вся российская территория так и называлась — «Татария».

— Почему вы говорите, что замалчивают Новгород? О Новгороде написано много...

— Не Новгородскую республику замалчивают, а правду о ней. Что писали? Что новгородское вече — это жалкий сброд, что это лишь орущая толпа, что только в драке решались все вопросы, а мирить их должен был призванный князь. Они высокомерно представляли Новгородскую республику как недоразумение на челе России, в то время как недоразумением скорее была Москва, заимствовавшая миропорядок у ордынского хана, у Монгольской и Византийской империи. Вече было и во Пскове, и в Ростове Великом, и в Переславле-Залесском, и во многих других древнерусских городах. Да, новгородская демократия существенно отличалась от современной Европы. От современной! Но для своего времени она была огромным достижением в развитии государственного устройства. «Судите всех равно, как боярина, так и житего, так и молодчего человека» — говорилось в Новгородской судной грамоте. Каково для «темной, забитой, лапотной» России? А знаете, что большинство людей новгородского были полноценными гражданами республики, а земцы здешние — это крестьяне, владевшие землей на правах собственника. А ведь мы еще и сейчас не граждане. Мне рассказывали ребята-американцы, что Джефферсон, когда писал Декларацию независимости, держал перед собой два базовых документа — Уставы Венецианской и Новгородской республик. А какое образование было у новгородцев! Здесь обнаружили массу берестяных грамот, написанных жителями города. Даже любовные записки находят. Вот здесь, в Софийском соборе, находилась ценнейшая и богатейшая библиотека, это была вообще едва ли не первая библиотека древней Руси. Знаете ли вы, что улицы в Новгороде с десятого века уже были вымощены деревом и достигали в ширину трех-четырёх, а то и шести метров. И когда такая мостовая снашивалась, то поверх ее тут же настилалась новая. Археологи наши установили, что на Холопьем улице, например, было двадцать пять настилов, относящихся к десятому—пятнадцатому векам. То есть в течение пятисот лет улица настилалась двадцать пять раз! Для сравнения — в Париже первые такие мостовые появились в двенадцатом веке, а в Лондоне лишь в пятнадцатом веке. В городе были чистота и порядок. Жилые дома в основном двухэтажные, и был деревянный водопровод, да такой, что когда его тут недавно раскопали, то из труб пошла вода! Аналогов этому водопроводу не было ни в Европе, ни в Византии. И, между прочим, здесь, в Новгороде, люди не ходили в лаптях. Вот что на памятнике надо было изобразить. Они все ходили в приличной одежде, в коже. И еще. Древняя Русь и Новгород не знали смертной казни, введенной у нас лишь «Джасак» Чингисхана... Хотите, кое-что покажу? — Фотограф жестом подозвал меня встать вплотную к собору.

Его голос стал неожиданно таинственным:

— Вот, вслушайтесь. — И он прислонился к стене, как бы к чему-то прислушиваясь.

Я, сгорая от любопытства, сделал то же самое.

— Что-нибудь слышно? — спросил он.

— А что там должно быть слышно? — в ответ спросил я и еще раз, уже изо всех сил, прислушался.

— Сейчас погода не та. Если в тихую погоду приложить ухо к Софии и прислушаться, то можно услышать эхо веча колокола. Мало кто об этом знает. Мне в детстве рассказал один старик. Я долгое время ничего не слышал, даже не верил.

— Ничего не слышу, — уже с досадой проговорил я, еще и еще припадая ухом к стене. Может, из-за шума ветра, а может, оттого, что и так уже был пресыщен информацией, но никакого звучания я не слышал. Не желая оставаться в долгу у фотографа, я достал из сумки книжку Радищева и прочел вслух несколько строк о Новгороде:

«...Известно по летописи, что Новгород имел народное правление. Хотя у них были князья, но мало имели власти. Вся сила правления заключалась в посадниках и тысяцких. Народ в собрании своем на вече был истинный государь. Область Новгородская простиралась на севере даже за Волгу. Сие вольное государство стояло в Ганзейском союзе. Старинная речь: кто может стать против Бога и великого Новгорода, — служить может доказательством его могущества. Торговля была причиною его возвышения. Внутренние несогласия и хищный сосед совершили его падение...»

— А вы знаете, — сказал фотограф, — что это место у Радищева и есть самое крамольное во всей книге?

— Чем же оно опаснее других? — спросил я.

— Нет ничего более опасного для всякой власти, чем признание того, что в истории управляемой ею страны есть иная традиция, чем та, которую эта власть представляет. Радищев лишь коснулся этой темы, но уже этого было достаточно, чтобы его признали опаснее Пугачева. И обратите внимание, коммунисты, которые всегда превозносили Радищева, о его главе «Новгород» тоже ничего не писали, старались обходить, не замечать... А вы что, эту книжку всегда с собой носите?

— Нет, случайно оказалась, — ответил я.

Фотограф был откровенно удивлен наличием у меня книжки Радищева и, перед тем как завершить наш разговор, решил меня сфотографировать. Так что где-то в Новгороде осталась моя фотография на фоне Святой Софии Новгородской и ее древних трофейных дверей работы магдебургских литейщиков XII века.

Мы расстались, а я решил обойти храм. Остановившись у восточной его стороны и оглядевшись — нет ли кого рядом, я подошел к стене и прижался ухом.

Вы не поверите, но я услышал глухой, протяжный, очень далекий, идущий откуда-то снизу гул. Невероятно, но это был звон веча колокола Новгородской республики, каким-то образом запечатленный стенами древнего собора. Мне захотелось кого-нибудь подозревать, я стал высматривать по сторонам, искать хоть кого-то, но вокруг не было ни души и не с кем было поделиться моим впечатлением. Я прислушивался еще и еще раз, и вновь отчетливо слышал далекий и печальный набат.

Над рекою, над пенистым Волховом,
 На широкой Вадимовой площади,
 Заунывно гудит-поет колокол.
 Для чего созывает он Новгород?
 Не меняют ли снова посадника?
 Не волнуется ль Чудь непокорная?
 Не вломились ли Шведы иль рыцари?
 Да не время ли крикнуть охотников
 Взять неволей иль волей с Югории
 Серебро и меха драгоценные?
 Не пришли ли товары ганзейские,
 Али снова послы сановитые
 От великаго князя московского
 За обильною данью приехали?
 Нет? Уныло гудит-поет колокол...
 Поет тризну свободе печальную;
 Поет песню с отчизной прощальную:
 «Ты прости, родимый Новгород!
 Не сзывать тебя на Вече мне,
 Не гудеть уж мне по-прежнему:
 Кто на Бога? Кто на Новгород?
 Вы простите, храмы Божии,
 Терема мои дубовые!

Я пою для вас в последний раз,
 Издаю для вас прощальный звон.
 Налети ты, буря грозная,
 Вырви ты язык чугунный мой,
 Ты разбей края им медные,
 Чтоб не петь в Москве далекой мне
 Про мое ли горе-горькое,
 Про мою ли участь слезную,
 Чтоб не тешить песнью грустною
 Мне царя Ивана в тереме...»

Потрясенный услышанным, я прошел мимо звонницы и вышел через восточные ворота на берег Волхова. Передо мною открылся вид на Торговую сторону, Ярослав дворище и Древний торг. По пешеходному мосту я вышел на середину реки. Что же это за легенда такая: «Господин Великий Новгород?» Действительно ли ты был, или это миф о светлом прошлом, придуманный вольнолюбивыми твоими потомками?

Нет, Великий Новгород не миф. Доказательство — море крови и реки слез, чтобы стереть саму память о нем, не мифическую — живую. Словно кость в горле, стояло в ушах московских владык неумолкаемое эхо вечевое колокола и еще не выветрившаяся память о республике, о свободном и вольном городе...

Сто лет прошло, как не стало веча. Взбешенный очередным наветом, двинулся в декабре 1569 года на Новгород Иван Грозный. Разгромил Клин, разорил Вертязин-Городню, опустошил Тверь, разграбил все селения, все города, стоящие на дороге, той самой, по которой мы с вами только что проехали. Иван сеял смерть и разруху, особенно не щадил церковных служителей, а церкви грабил. Потопил в крови Новгород. Его первое повеление после прибытия в Новгород: «Игуменов и монахов, которые стояли на правее (более пятисот человек!), бить палками до смерти и трупы развозить по монастырям для погребения». Все церкви и монастыри, включая Святую Софию, дружина царская разграбила.

Вот лишь небольшой отрывок из того, что сказано об этих днях в древней летописи:

«...Между тем Иоанн с сыном отправился из архиепископского дома к себе на Городище, где начался суд: к нему приводили новгородцев, содержащихся под стражею, и пытали, жгли их какою-то «составною мудростию огненною»; обвиненных привязывали к саням, волокли к Волховскому мосту и оттуда бросали в реку; жен и детей их бросали туда же с высокого места, связавши им руки и ноги, младенцев привязывали к матерям; чтоб никто не мог спастись, дети боярские и стрельцы ездили на маленьких лодках по Волхову с рогатинами, копьями, баграми, топорами и, кто всплывает наверх, того прихватывали баграми, кололи рогатинами и копьями и погружали в глубину; так делалось каждый день в продолжение пяти недель. По окончании суда и расправы Иоанн начал ездить около Новгорода по монастырям и там приказывал грабить кельи, служебные дома, жечь в житницах и на скирдах хлеб, бить скот; приехавши из монастырей, велел по всему Новгороду, по торговым рядам и улицам товары грабить, анбары, лавки рассекать и до основания рассыпать; потом начал ездить по посадам, велел грабить все дома, всех жителей без исключения, мужчин и женщин, дворы и хоромы ломать, окна и ворота высекать; в то же время вооруженные толпы отправлены были во все четыре стороны, в пятины, по станам и волостям, верст за 200 и за 250, с приказанием везде пустошить и грабить. Весь этот разгром продолжался шесть недель».

А на «прощание», перед тем как отправиться грабить дальше, знаете что сказал царь оставшимся в живых новгородцам? «Молите Господа Бога, пречистую Его Матерь и всех святых о нашем благочестивом царском державстве, о детях моих благоверных, царевичах Иване и Федоре, о всем нашем христоролюбивом воинстве...», а что до крови, то еще сказал: «...вы об этом теперь не скорбите, а живите в Новгороде благодарно...»*

И, знаете, молились, падали ниц, трепетали, жили «благодарно», и не только в Новгороде — по всей Руси. Что еще оставалось?

А впереди у России и его народа — палка Петра Первого, оплеухи Павла, розги Николая, архипелаг ГУЛАГ Сталина... И между ними смуты, войны, восстания, бунты, голод, разруха, пьянство, беспредел... А над всем этим бесконечным насили-

* Соловьев С. М. Сочинения, кн. III, тт. 5—6, с.с. 541—542.

ем такая же нескончаемая ложь: о забитом и темном народе, о его патологической консервативности и реакционности, о неспособности к труду, к порядку, к организованности, ложь о его изначальной невосприимчивости к свободе и природной рабочей любви к тирану. **Но ложь не в том, что это все не так, а в том, что только так и может быть. Ложь в том, что это неменяемо.**

Да, большой крови стоит вытравить память о свободе, но еще большей — вновь ее обрести. И когда уже совсем было неведомо, тогда прорывалось горе людское Разиным, Пугачевым, а потом и Лениным... Так формировался наш апокалипсический и пресловутый «русский характер», столь же непонятный чужестранцам, сколь и нелюбимый нами же.

Что можно было противопоставить абсолютному, бесчеловечному произволу сверху и дикому покорству в сочетании с безумной ненавистью — снизу? Смелость Радицева? Любовь Пушкина? Правду Достоевского? Совесть Сахарова?.. Это не ими ли отзывается печальное эхо вечного колокола?

«...если пшеничное зерно, пав на землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». (Ин. 12, 24). Эти слова Его начертаны и у гроба Достоевского.

Почему же у нас зерно гибнет и плода не приносит?

Что же, как не деспотическая власть, сделало эту Истину вовсе не истинной у нас? Она вместе с выпитой людской кровью иссушила еще и человеческую душу и этим омертвила почву, на которой могли бы произрастать, словно пшеничные зерна, лучшие качества, данные человеку Богом.

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» — и к нему в придачу — забытые Богом города и веси с не знающими Бога людьми.

Вот о чем я думал, стоя на мосту, над протекающим внизу древним Волховом.

Ты прости, мой брат названный,
буйный Волхов мой, прости!
Без меня ты праздную радость,
без меня ты и грусти.
Пролетело это время...
не вернуть его уж нам,
Как и радость, да и горе
мы делили пополам,
Как не раз печальный звон мой
ты волнами заглушал,
Как не раз и ты под гул мой,
буйный Волхов мой, плясал!
Помню я, как под ладьями Ярослава
ты шумел,
Как напутную молитву
я воинам твоим гудел!
Помню я, как Боголюбский
побежал от наших стен,
Как гремели мы с тобою:
смерть вам, Суздальцы, иль плен!
Помню я: ты на Ижору
Александра провожал;
Я моим хвалебным звоном
победителя встречал.
Я гремел бывало звучный —
собирались молодцы,
И дрожали за товары
иноземные купцы,
Немцы рижские бледнели,
и, заслышавши меня,
Погонял Литовец дикий
быстроногого коня.
А я город, а я вольный
звучным голосом зову
То на Немцев, то на Шведов,
то на Чудь, то на Литву!
Да, прошла пора святая:
наступило время бед!
Если б мог — я б растопился
в реки медных слез: да нет —
Я не ты, мой буйный Волхов!
я не плачу — я пою!

Променяет ли кто слезы и
на песню — на мою?
Слушай: нынче, старый друг мой,
по тебе я поплыву;
Царь Иван меня отвозит
во враждебную Москву.
Собери скорей все волны,
все волуны, все струи —
Разнеси в осколки, в щепки
ты московские ладьи,
А меня на дне песчаном
синих вод твоих сокрой
И звони в меня почаще
серебристою волной:
Может быть, из вод глубоких,
вдруг услыша голос мой,
И за вольность и за Вече
встанет город наш родной.

Над рекою, над пенистым Волховом,
На широкой Вадимовой площади,
Заунывно гудит-поет колокол.
Волхов плещет и бьется и пенится
О ладьи Москвитян острогрудья,
А на чистой лазури, в поднебесьи,
Главы храмов святых белокаменных
Золотистыми слезками светятся*.

Когда я, замерзший, возвратился из Детинца к своей автомашине, то обнаружил, что ее домывают совсем другие мальчишки. На мой вопрос «почему?» они наперебой стали объяснять, что вот тот безногий пацан-негодяй просто выждал, пока я скроюсь за углом, и тут же удрал вместе с деньгами. Он, говорят, всегда так делает: не надо было раньше времени платить ему. И вот они, чувствуя стыд, решили сами помыть мою машину, а уж дам я им денег или нет,— это, как говорится, на моей совести. Немного поворчав, я дал им десять тысяч рублей: все-таки я должен оценить их совесть порыв. Потом, когда я рассказал эту историю своим знакомым новгородцам, они мне сказали, что это у местных ребят такая тонкая технология. То есть они с меня таким оригинальным способом взяли деньги дважды за одну и ту же работу...

Хорошие ребята, учатся бизнесу у взрослых, жизнь по-новому переделывают. Самое время рассказать им про Новгородскую республику.

Послесловие

Неожиданные задержки в пути привели к тому, что все мои петербургские планы полетели прахом, в лучшем случае отложились на месяц. Так что на этот раз даже не было необходимости туда добираться. В связи со своими дорожными «открытиями» я не очень о том жалел и остался в Новгороде на несколько дней, с тем чтобы по горячим следам сделать первые заметки к этой книге.

Конечно, я не «доехал» в своем повествовании до конца. И Подберезье, Спаская Полисть, Чудово, Любань, Тосно и куда-то исчезнувшая София остались, к сожалению, без нашего внимания. Кто знает, может быть, мы к ним еще вернемся?

Но на прощание вот о чем. Я очень хотел увидеть книгу А. Н. Радищева, принадлежавшую А. С. Пушкину, ту самую книгу, которую герой пушкинского путешествия открыл для чтения в Черной Грязи. Мне было любопытно узнать, как эта книга выглядит. Я даже намеревался ее описать.

Почему-то у меня не было ни малейшего сомнения в том, что мне без особого труда удастся эту книгу лицезреть и даже держать в руках. Когда спустя месяц я все же побывал в Санкт-Петербурге, то первое, что сделал,— пришел на Мойку, 12 в дом-музей А. С. Пушкина. Поскольку Александр Сергеевич жил здесь и провел свои последние дни именно в этом своем доме, размышлял я, значит, все его книги здесь и остались, в его кабинете, и столь нужную мне книжку хранители дома-музея просто возьмут с полки и покажут.

* В 1857 году в Лондоне Герцен и Огарев опубликовали стихотворение «Вечевой колокол» в четвертой книжке «Голосов из России» без указания автора. Еще через год Герцен там же, в Лондоне, издал радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву» с собственным предисловием.

Моя безупречная логика была, однако, столь же наивной. Удивлению сотрудников музея не было предела: надо же, нашелся в наше время человек, полагавший, что принадлежащие Пушкину книги могут до сих пор находиться в его кабинете, а не в специальных государственных хранилищах! Я же удивлялся обратному: как это, книжки, принадлежавшие Пушкину, мог кто-то взять и вынести из его дома?

Я был любезно отослан в институт литературы, называемый еще Пушкинским домом, который находится на набережной Макарова и в котором, как мне сказали, находятся все пушкинские книги и рукописи. Я бросился туда, чтобы успеть к закрытию, тем более была пятница, надвигались выходные, а ждать до понедельника я не мог.

Нарушая правила дорожного движения, я примчался в этот самый институт и добрался до приемной какого-то начальника. Приняв секретаршу за ответственного работника, я стал ей объяснять, сколь необходимо увидеть мне радищевскую книгу, принадлежавшую Александру Сергеевичу. Я говорил, что согласен посмотреть эту книгу в руках специалиста, пусть даже через стекло. Однако непониманию моей странной просьбы, кажется, не было предела. Тем не менее секретарша соединила меня по телефону с каким-то ответственным лицом, видимо, заведующим отделом пушкинских рукописей. Во всяком случае, именно он решал дать мне возможность посмотреть на эту книгу или не давать.

— А зачем она вам? — спросил голос.

Я, как мог, стал объяснять: мол, Пушкин, Радищев, путешествие, книга очень нужна для моей работы, для возможной будущей книги и так далее.

— А «отношение» у вас есть? Документ от организации? Или письмо от учреждения в наш институт? — спросил опять голос.

— Нет у меня никакого «отношения», я просто хочу посмотреть на книгу, потому что сам пишу нечто такое же, — объяснял я.

— Ну вы-то сами где служите, где работаете? — пытались выяснить мой социальный статус, видимо, для того, чтобы по нему определиться со степенью доверия ко мне.

— Да нигде я не служу. Я сам по себе. Хочу написать про путешествие Радищева и Пушкина — и все...

— А вы знаете, — говорил ласково голос, принимая меня за сумасшедшего, — сколь ценна эта книга? Там ведь пометки Пушкина... Если каждому встречному ее вот так давать...

— А скажите, — спросил я, — когда в последний раз ее кто-нибудь у вас спрашивал, будь то прохожий или академик?

— Ну, это другой вопрос! — ответили уже раздраженно и, перед тем как повесить трубку, порекомендовали прочесть книгу Модзалевского, где, как мне сказали, есть исчерпывающее описание этой пушкинской книги, и этого будет достаточно. Разговор был окончен.

Трудно описать чувства, которые я испытал, выйдя из приемной и влачась по широким коридорам и лестницам, мимо роскошных портретов и равнодушных бюстов наших великих литераторов, в том числе и мимо бюста самого Александра Сергеевича.

Во всех городах, селах и деревнях — на пути из Москвы в Санкт-Петербург — мне открывали двери, давали книги, бесценные рукописи, фотографии, делились своими знаниями, впечатлениями, биографиями, поили чаем и никто даже не спрашивал особенно: зачем это мне нужно? А здесь, в этом огромном городе и в таком же огромном доме, названном «пушкинским», никто не попытался понять, не захотел помочь и не дали мне даже взглянуть на книгу, принадлежавшую когда-то Пушкину. «Принадлежавшую», потому что теперь она уже ему не принадлежит. «Да если бы Александр Сергеевич, — думал я, — вдруг узнал, что через сто пятьдесят лет мне на его книгу даже не позволят взглянуть какие-то чиновники-охранники, то он бы такое им всем задал!»

— Дверь почему за собой не закрываете? — неожиданно привел меня в чувство голос вахтерши у выхода.

Я вернулся и прикрыл дверь. Через двойное стекло на меня от имени всех осуждающе смотрела в общем-то добрая бабушка. Чем-то похожая на мою.

Декабрь, 1996 г.



Кирилл АНКУДИНОВ

Каприз против истерики

ОПЫТ АНАЛИТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Истерика

Одна из острых проблем современного литературоведения — приложимость научной методологии к интерпретации поэтического произведения. Наука возможна тогда, когда возможно получение достоверных сведений, между тем как поэзия недостоверна по своей природе. Палочка-выручалочка филологов — интертекстуальность — здесь обычно не помогает. В момент создания стихотворения поэт редко думает о чужих стихах, гораздо чаще он сосредоточен на собственных переживаниях и смутных ассоциациях, размышляет о событиях, относящихся к личному опыту, об абстрактных вопросах. Момент переключки с чужим творчеством зафиксировать легко, гораздо труднее понять, что действительно хотел сказать автор. Пока ученый подсчитывает скрытые цитаты, он находится в рамках научного метода. Но ни одно настоящее стихотворение не создается только ради цитирования других. Оно имеет самостоятельную цель. Для того чтобы сказать о ней, необходимо выйти за грань науки и оказаться во владениях эссеистики. В самом деле: может ли наука потерпеть такие недостоверные выводы, как «автор любит», «автор ненавидит», «автор боится», «автор надеется»? Но стихотворение пишется как раз ради таких недостоверных выводов. Поэтические строки поддаются культурологическому анализу, — это может дать богатые результаты. Однако куда важнее тщательнейший анализ чувств поэта. Существует позиция филолога, но есть и позиция читателя. Филолог вносит в интерпретацию посторонние культурные системы, удваивает бытие. Читатель просто стремится понять то, что написано, напрямую вступая в эмоциональный контакт с поэтом. В стихотворении О. Мандельштама «На розвальнях, уложенных соломой» филолог обнаружит переключку с Чаадаевым и Филофеем. Он будет по-своему прав. Но он, вполне вероятно, не обратит внимания, что характер сюжета этого стихотворения напоминает о сновидении. Такой вывод — дело читателя.

Существуют стихи канонизированные, затертые, привычные — мы все это «проходили в школе», проходили и прошли, мы прекрасно знаем, о чем тут речь. Тем интереснее взглянуть на такое «школьное» произведение взглядом внимательного читателя.

Стихотворение Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков» отнесется как раз к разряду канонизированных. Оно покоряет прежде всего интонацией, необыкновенно убедительной и обаятельной. В этой интонации есть какая-то хорошая неотработанность, невзрослость, какой-то срыв голоса, который невозможно подделать. «И меня только равный убьет», — самописец детектора на словах «меня» и «убьет» срывается вверх: да, убьет и да, меня. Собственная смерть прочувствована так, как может быть прочувствована только очень молодым человеком, впервые осознавшим, что он смертен. В сущности, это очень мальчишеская строка, вообще мальчишество — заканчивать стихи словами «меня убьют». Не «я погибну», а «меня убьют» — вслушаться только в это «и» и «е» или «й», или «ё». А голово-

кружительные метафоры — «чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей перевозданной красе», «сосна до звезды достает»!

Прекрасная поэзия, спору нет.

Однако кажется, что это ощущение подлинной прекрасности скрывает смысл. Прекрасно сказано, но о чем? Вроде бы Мандельштам бросает вызов... всему этому, ну, Сталину. Одним словом, это антитоталитарное стихотворение.

Сказать так — значит не сказать ровным счетом ничего. Почему антитоталитарное, какой тоталитаризм рассматривает, с какой точки зрения, что противопоставляет ему, какую, скажем так, позитивную программу несет? Бессмысленно ждать ответов на все эти вопросы. Абстрактный либерализм восьмидесятых — девяностых недоуменно молчит, как студент на экзамене. Что с него спрашивать, если даже замятинское «Мы» он числит литературой «антитоталитарной», «антикоммунистической» и «антиреволюционной»? Вообще этот либерализм появляется там, где его не ждут. Он наследит даже у такого серьезного и вдумчивого исследователя, как Никита Струве, спровоцировав его на странные выводы, типа: «образ червей (в строке «что возмужали дождевые черви». — К. А.)... прикрито напоминает о московских властителях»; или: «труднее поддаются расшифровке «шатры... и жиры созвездий», которые соотносятся с угрожающими мирами. Вероятно, под ними подразумевается ожиревшее и озолоченное начальство».* Такие интерпретации, конечно же, курьезны, но толкование стихотворения «За гремучую доблесть...» как просто «антитоталитарного» (без объяснений) привычно и никого не удивляет. «Век-волкодав» же стал символом века несправедливого и хищного (я бы сказал, символом, слишком часто используемым).

Как раз образ «века-волкодава» и заставляет сделать отступление, привести строки другого поэта, вроде бы никогда не числившегося в «антитоталитарных».

А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.

Отмечу, что интертекстуальную связь между стихотворениями Мандельштама и Багрицкого обнаружил Станислав Куняев. «Переключка образов поразительна. У Багрицкого “век-часовой” — у Мандельштама “век-волкодав”». Правда, Куняев однозначно противопоставил Мандельштама и Багрицкого: «Рука Мандельштама потянулась к «цимбалам», рука героев Эренбурга и Багрицкого — к «разящей праще». Тоталитаризм всегда «анти» или «сверх» национален».**

В действительности же дело обстоит куда как сложнее.

Слова «века-часового» из стихотворения Багрицкого «ТВС» также по-своему канонизированы, только это антиканон, канон высказывания отрицательного, канон признания в преступлении.

Но если он скажет: «Солги»,— солги.
Но если он скажет: «Убей»,— убей.

Эти строки расценили как саморазоблачение Багрицкого и «западники», и «славянофилы», и коммунисты — достаточно посмотреть учебники и монографии пятидесятых годов, чтобы увидеть это двустороннее в качестве примера «мелкобуржуазной психологии». Откровенно говоря, реакция коммунистов куда более естественна, чем реакция антикоммунистов (как «западников», так и «славянофилов»). В этих строках Багрицкий поставил точный диагноз «веку-часовому», сказав, что «век» может затребовать от человека способности к убийству и ко лжи. И если круг вопросов, связанных с выбором «убийства — неубийства», был не в новинку для советской литературы, если способность «века» потребовать убийства допускалась (хотя с очень серьезными оговорками; вообще тема «убийства — неубийства» — одна из самых больших точек советской литературы и заслуживает подробного анализа), то как расценить заявление о том, что «век» склоняет человека ко лжи? В приведенных строках слово «век» — явный символ высшей необходимости. Абсолюта. Может ли Абсолют сказать «Солги»? Если может, значит, сам абсолют... ну,

* См. в кн.: Н. Струве. Осип Мандельштам. Томск, «Водолей», 1992.

** «Времена и легенды». В кн.: Времена и легенды. М., «Современник», 1990.

не то чтобы ложен или лжив, но способен скрывать в себе хотя бы минимальную, но ложь, мнимость, несоответствие.

Обращает внимание еще одна деталь: выстраивая параллель, автор приравнивает убийство ко лжи. Другими словами, он говорит о таком убийстве, которое равно лжи, то есть об убийстве как о грехе. Не секрет, что для морали эпохи Багрицкого не всякое убийство было грехом. Ложь была грехом совершенно однозначно. Итак, по Багрицкому, «век» провоцирует на убийство, за которое можно ощущать собственную вину, на убийство, идущее вразрез с человеческой совестью. С чего бы это «век» заговорил такими странными словами? Получше прислушаемся к «веку», пришедшему в образе железного Феликса.

...— Под окошком двор
В колючих кошках, в мертвой траве,
Не разберешься, который век.

Вот первое любопытное заявление — век может оказаться «чужим», «подменным».

А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди — и не бойся с ним рядом встать.

Не бойся, хотя и «не разберешься, который век». Будь верен, но будь верен неизвестно чему.

Твое одиночество веку под стать.

То есть высшая необходимость требует еще и одиночества.

Оглянешься — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей...

Кажется, уже не стоит и вспоминать о том, что «Жить в обществе и быть свободным от общества...» и так далее, зачем добивать и без того поверженного? Слишком отчетлива картина отъединенности личности, доходящая почти до соллипсизма. Человек — и не проверяемый никем, фактически бессмысленный долг. Больше — никого. Остальные — не то друзья, не то враги. Далее идут знакомые слова про «убий» и «солги». На этот раз они уже не удивляют, поскольку выводятся из естественного контекста: о каких моральных принципах может идти речь, если вокруг никого? Автор пытается нащупать хоть какую-то опору, но — поздно:

Я тоже почувствовал тяжкий груз
Опущенной на плечо руки.
Подстриженный по-солдатски ус
Касался тоже моей щеки.

Теплая отеческая длань, знакомый облик сурового, но справедливого солдата, верного служаки — все понапрасну, ничему не веришь. Автор настолько ужаснул себя и других призраком «Великого Абсурда», что дело не спасешь «утепляющими деталями».

И стол мой раскидывался, как страна,
В крови и чернилах квадрат сукна,
Ржавчина перьев, бумаги клоч,—
Все друга и недруга стерегло.
Враги приходили — на тот же стул
Садились и рушились в пустоту.

Про «друга» здесь помянуто для красного словца, ради успокоения себя. Ведь уже было сказано «нет друзей». А вот про «врагов» — это всерьез:

Их нежные кости сосала грязь.
 Над ними захлопывались рвы.
 И подпись на приговоре вилась
 Струей из простреленной головы.

Разрыв между выдуманном долгом и интонацией, говорящей прямо противоположное, достигает апогея. Уже нет сил это читать — видно почти до осязательности, как человека корежит. Совершенно ясно, что ему безумно жаль «врагов». Их жалко уже не только Багрицкому, их жалко и самому Дзержинскому, этому ночному кошмару, истукану, командору, явившемуся в астматическом бреду, чтобы потребовать верного выбора, но неожиданно нервически всхлипнувшему вместе со своим создателем. После этого уже незачем читать про «мать-революцию», «трехгранную откровенность штыка», «желудочный быт земли». Совершенно ясно, что все это — самовзвинчивание, истерическая «мозговая игра». Если этого «ночного гостя» не остановить вовремя, он будет громоздить гекатомбы, продолжая вопрошать: «А от этого ты не отречешься? А от этого? А еще и от этого?» И все сильнее будет вжиматься в угол бедный бредящий, все тише он будет бормотать: «Я пойду на это и на это. Я согласен». И как все это называется? «Победители». Хороши победители... «Умри, побеждая, как умер я...»

Истерика Багрицкого не есть событие из ряда вон выходящее. Если хорошенько вчитаться в поэзию двадцатых — тридцатых годов, то можно увидеть, что едва ли не каждый поэт (по крайней мере едва ли не каждый поэт, способный на определенную степень рефлексии) время от времени впадал в истерику подобного рода. Самые известные, первые приходящие на ум примеры — Кедрин, Луговской («Возьми меня в переделку...»), Павел Васильев, Тихонов. Пастернак, пожалуй, вел себя сдержанней («напрасно в дни великого Совета...»). Даже несклонный к рефлексии Прокофьев, даже вечно взнуздывающий себя Маяковский — и те не удержались от истерики. Потом истерия перекинулась на младшее поколение, здесь особых успехов достиг Павел Коган («Я говорю: «Да здравствует История», — и головою падаю под трактор»). А уж какие истерики закатывал Павел Антокольский от имени Миколы Бажана («Смерть Гамлета»)! А если перейти от поэтов к прозаикам и драматургам... Олеша, Федин, Вс. Иванов, Афиногенов, Фадеев, Либединский, Пильняк, Артем Веселый, Малышкин — и так до бесконечности.

В самом понятии «истерика» нет ничего обидного. В истерики впадают не по своей воле. Это естественная человеческая реакция на непосильные требования — вот почему опасно требовать слишком многого. Истерика — признание того простого факта, что выхода нет. В истерических конвульсиях бьется тот, кто не может ни осуществить свое желание, ни отказаться от него. Истерика — всплеск чувств после сообщения о смертном приговоре, который не подлежит обжалованию. Истерику можно скрыть, однако ее невозможно предотвратить.

Существуют истерические эпохи (я не так уж склонен к каламбурам, но скрыть каламбур не удастся: есть эпохи истерические, хоть это эпохи исторические). Эпоха Багрицкого и Мандельштама была истерической. Все (кроме совсем уж полных чурбанов) почувствовали, что от них чего-то ждут и что эти ожидания непосильны, нечеловечны. Ощущение того, что долг выполнить необходимо, но в то же время его выполнить невозможно, повлекло за собой двойственность сознания. При этом далеко не все понимали, в чем заключается их долг. Люди знали, что на какой-то вопрос, пришедший извне, из таинственной и кривой запредельности, необходимо ответить «да», причем как можно более искренно. Они говорили «да», но у них получалось «нет», и это можно было легко понять. Всякий следователь знает, что существуют такие «да», которые интерпретируются как «нет». «Да», сказанные слишком поздно, после раздумий, и сказанные слишком рано, впопыхах, «да», произнесенные неестественно звонким или слишком хриплым голосом, «да» с дрожью, «да» прерывистые, «да» слишком неуверенные или слишком уверенные, повторенные несколько раз вместо одного, — все эти «да» обозначают «нет». Чем сильнее и чаще говорилось «да», тем убедительнее слышалось «нет». В этом заключалась шизофреническая разорванность коллективного сознания. В конечном итоге люди сами это понимали, пугались, начинали говорить с большим пафосом, старались убедить себя, что они говорят именно «да», а не «нет», но как раз в эти моменты разоблачали себя окончательно. Пафос никого не обманывал.

Вероятно, Багрицкий в своей истерике оказался смелее других, поскольку произнес слово «ложь». В той ситуации непрерывного самовзвода неожиданно совпали впечатлительность и последовательность. Тот, кто был более впечатлителен, оказывался и наиболее последователен, мог додумать свои идеи до относительного предела. Поэты изощрялись в том, какую нравственную каверзу придумает еще повелительный Абсолют (на физические каверзы уже никто не обращал внимания). Багрицкий побил рекорд*, изобразив Абсолют (век) в облике чекиста, подсовывающего самопроваливающийся стулья под всех и каждого. Вообще Багрицкий был, пожалуй, самым тонким и самым «декадентским» из всех «революционных романтиков», он умел упиваться собственной гибелью — недаром он ценил Ходасевича (все советские мемуаристы утверждают, что он его ругал, но что-то слишком уж всем подряд он его читал с тем, чтобы в финале поругать).

Так получилось, что моя преамбула затянулась. Вместо того чтобы говорить о Мандельштаме, я стал говорить о Багрицком. Это оказалось необходимым потому, что невозможно понять стихотворение Мандельштама «За гремучую доблесть...» без понимания стихотворения Багрицкого «ТВС». Они — аверс и реверс одной и той же монеты.

2. Каприз

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей...

Две этих первых строки уже наводят читателя на мысль: а ведь Мандельштам верит в «высокое племя людей». Да, пожалуй, верит. Несмотря на экзотический эпитет «гремучая», напоминающий о «гремучей смеси» и о «гремучей змее». В историческую эпоху поэты еще и не так заговаривались и проговаривались. Собственно говоря, если бы такой эпитет встретился у Багрицкого, он бы воспринимался как само собой разумеющийся. У Багрицкого интонационное чутье сожжено острыми специями. Он — наркоман предельности. Каждое слово у этого поэта стремится достигнуть отведенного этому слову порога динамики (визуальной и эмоциональной); стихи Багрицкого напоминают некоторые рисованные мультфильмы, в которых превращения происходят слишком быстро. Это орнаментализм, барокко. Мандельштам же — поэт интонационной меры, захлебывающейся гиперболе он предпочитает трезвое и сдержанное уподобление. Многие эпитеты Мандельштама для здравого смысла дики, однако это не дикость эмоций, а дикость «рацио», эксцентричность ассоциативного мышления, отключенного от чувства. Мандельштам — большой фантазер, но он наиточен и наичестен в эмоциях. Если он пишет «гремучая доблесть грядущих веков», значит, он действительно переживает эту доблесть как «гремучую». Гремучая — то есть та, которая гремит. В этом нет этического осуждения. Может быть, хорошо, что она гремит. Просто громогласие чуть царапает ухо — чисто эстетический дискомфорт. Не безлично «гремящая» доблесть, а «гремучая» — чуть-чуть с интонациями, отзвуками пальца по стеклу.

Но уж в том, что «доблесть» — это доблесть, нет никакого сомнения. Мандельштам такими словами никогда не разбрасывался. Что же до «высокого племени людей», то оно вообще не оставляет никакого места для кривотолков, хмыканий и хихиканий; в двусмысленности Мандельштама никакой двойственности нет. Он говорит «да», и это «да» воспринимается именно как «да». Это не взвинчивающий себя Багрицкий, каждое «да» которого сказано с таким нажимом, с такой трагической дрожью в голосе, что может означать только «нет».

...За высокое племя людей,—
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Оборот, не вполне характерный для советской поэзии, скорее следовало бы ожидать «за высокое племя людей я готов лишиться...», ведь советские поэты счи-

* Впрочем, с Багрицким может посоперничать Дмитрий Кедрин (см. стихотворения «Добро» и «Христос и литейщик»).— К. А.

тали себя наследниками джек-лондоновских людей с квадратными сцепленными челюстями. Четверостишие уж слишком смахивает на жалобу либо на покаяние. Впрочем, и жалобы для советской поэзии не внове («Что же сделал я за пакость, я, убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей»). Пожалуй, можно даже проследить парадигму покаянной поэзии в советской традиции.

«Эпоха переехала меня, я лишен всего, я оклеветан, но я свой, свой!»

Можно ли расценить первое четверостишие именно так? Можно.

Пожалуй, в этом есть даже что-то трогательное: человек прекрасно понимает, что «чаши на пире отцов» и «чести своей» он лишился именно за «племя людей», и тут же называет это племя «высоким». Всякий другой, более «земной», человек давно написал бы «за дурацкое племя людей», а затем сжег бы лист с этими словами. Не написал бы, так подумал.

Но дело-то все в том, что Мандельштам верит куда сильнее и искренней, чем тот же Багрицкий. За сконструированным черным, полым, гулким долгом Багрицкого — опустошенность и неверие. У Мандельштама — жалоба и боль. Багрицкий убеждает других, что он убедил себя, что он верит (прекрасно отдавая себе отчет, что не верит). Мандельштам, как ни странно, верит, хоть и лишился «чаши на пире отцов и веселья...».

Веселья? Не слишком ли это легкомысленное слово? Речь идет о доблести и чести, о том, что человек лишается своей чести за доблесть эпохи. До веселья ли в этой ситуации? Не является ли это слово случайным, лишним, взятым взамен другого, более нужного?

Как мы увидим далее, не является.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей...

Слова кристально ясные в контексте того, что уже было сказано и прочитано. «Век думает, что я — волк, а я — не волк. Я не виноват».

Так что же получается? Мандельштам говорит о правоте века, он не судит век. В современном же контексте «век-волкодав» звучит как «век-вурдалак»*.

В слове «волкодав» нет никаких отрицательных этических оттенков. Как гласит пословица, использованная Солженицыным, «волкодав прав, а людоед — нет». «Век-волкодав» — век-слуга на службе у «высокого племени людей». Слуга карающий, слуга, предназначенный для карательных функций, но слуга честный в пределах своей роли. Даже и не слуга — в этом слове есть оттенок унижительной зависимости. Век — надежный друг, предохраняющий от опасностей. Век — прокурор, выносящий приговор? Нет, это слишком рефлексивно и официально. Волкодав спасает расхищаемое добро от волков, он не думает о юридических нормах. Он жесток, как солдат (на войне как на войне). Век-волкодав — это век-солдат, не пропускающий врагов в глубь территории.

Век-часовой!

Образы века-часового у Багрицкого и века-волкодава у Мандельштама совпадают идеально. Разве что век Багрицкого может сказать «солги», а век Мандельштама для этого недостаточно лукав.

Но почему же тогда складывается ощущение отвратительности века-волкодава?

По-моему, дело тут не в этических принципах, а в эстетических представлениях. Часовой куда более красив, чем волкодав. Глядеть на застывшего по стойке «смирно» подтянутого и щеголеватого часового приятнее, чем глядеть на раздавленного волка. Часовой занят делом нужным и красивым. Волкодав занят делом нужным и некрасивым.

Вот уже второй раз Мандельштам одинаково обманывает нас. Мы ждем от «антитоталитарного стихотворения» этической оценки эпохи, а вместо этого получаем только эстетическую реакцию. Чуть поджимаются губы в брезгливой гримасе. Может быть, это всего лишь рефлекторное движение? Кто не зажмурил бы глаза в момент казни пусть даже самого отъявленного и мерзкого преступника? Всегда

* Статья написана до знакомства с романом Петра Алешковского «Владимир Чигринцев», в котором обыгрывается эта обмолвка.— К. А.

неприятно видеть кровь, грязь, мертвые останки с торчащими костями. Всякий отведет взор. Но это еще не признание казни несправедливой. Даже Багрицкий уж на что боялся проговориться, а проговорился, сказав про тонкие кости несчастных врагов. Мандельштам пока не проговорился, потому что он пишет о другом.

...Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...

В этих словах заключен основной парадокс стихотворения. Силлогизм тщательно готовится, оттачиваются и без того безукоризненные логические посылки, вывод ожидается сам собой, но вдруг в последний момент автор являет прямо противоположный вывод.

Если Мандельштам в шести строках убеждает всех, что невиновен, то какого черта в двух следующих строках он требует для себя наказания? * Глупо предполагать, что он ожидает от века-волкодава, наделенного административными функциями, деловой командировки в Сибирь. Еще глупее думать, что он обреченно вымалывает у века ссылку как смягчения смертного приговора. Что еще означает «запихать... в рукав жаркой шубы сибирских степей», как не отправить в лагерь, в ссылку, на каторгу? То есть в наказание. Но за что же наказывать того, кто убеждает волкодава в том, что он не волк?

Пожалуй, стоит прочесть эти строки более внимательно:

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше...

Если толковать слово «лучше» как «надежнее», «вернее», «глубже», мы не избежим абсурда. Запихивать получше надо того, кто утверждает, что он волк, а не того, кто утверждает, что он не волк. Возможен только один вариант толкования: вместо того, чтобы кидаться на плечи, запихай меня в рукав сибирских степей. Запихай именно потому, что я не волк, запихай взамен возмездия.

Спрячь меня в рукаве сибирских степей.

Между прочим, слово «запихай» своей лихорадочностью указывает как раз на это значение. Шапку судорожно запихивают в рукав именно тогда, когда хотят спрятать ее от чужих и недобрых глаз, чтобы никто не позарился. Это не обдуманная ловушка типа «самопроваливающийся стул». Это вообще не наказание и не имеет никакого отношения к наказанию. Это мгновенная попытка спасти.

И возникает догадка: что, если Мандельштам просит у века, чтобы тот вывел его за пределы игры и этим самым сохранил? Пусть, мол, волки и волкодавы между собой разбираются и грызутся, а я, пока идет вся эта драка, схожоню в Сибири, на нейтральной территории. Точнее, хотя бы в Сибири. Хотя бы ценою ссылки и даже лагеря. Мандельштам не волк. Он об этом заявляет открыто. Но он и не волкодав. Он — вообще не из мира двух альтернатив. Он — из другого мира. Он — третий. Он — неучаствующий. Он — попавший случайно в разборку волкодавов и волков (при том, что волкодавы вроде бы правы, а волки, стало быть, не правы).

Эта догадка, подкрепленная фактами, неизбежно наталкивается на противодействие, которое может быть сформулировано так: подобное положение полностью дискредитирует Мандельштама. Парадигма «неучастия», «недеяния», вполне позитивная в восточном (и особенно в буддийском) мире, абсолютно отрицательна в мире русском. Более того, эта парадигма в русском мире — самая отрицательная. Сознание человека, живущего в рамках русской культуры, отказывается верить в то, что Мандельштам говорит о недеянии (хотя он говорит, я уверен, именно об этом).

Гораздо привычнее толковать мандельштамовские строки таким, например, образом: «К кому обращены повелительные наклонения «запихай», «уведи» — как не к собственному гению, не к собственной судьбе? Таинственным образом Мандельштам провидел несовместимость свободы и правды. Оставаться на свободе —

* Автор благодарит Андрея Кузнецова, указавшего на это конкретное логическое противоречие в строках поэта.

значит участвовать во лжи. Но и больше: Мандельштам не хочет пассивно участвовать в расправе над самим собой. Лишенный веселья и чести, он требует равноправия в поединке. Он соглашается на смерть (? — К. А.), но ставит свои условия: не быть постигнутым сзади, как затравленный волк волкодавом, а погибнуть лицом к лицу с противником, как равный» (Н. Струве).

А можно еще и так развивать мандельштамовские традиции:

Лиру скорби гражданской бери, не робей,
Мне теперь не по чину она!
Я тебе подыграть не сумею на ней,
Потому что не волк я по крови своей
И не пес я по крови своей.

(Тимур Кибиров)

Но вернемся к Мандельштаму.

Конечно же, он бросает вызов, но только не «веку-волкодаву», а явлению куда более страшному и беспощадному. Он бросает вызов интеллигентской традиции личного участия. Вызов действительно смертельный и роковой, ибо в России никогда не терпели «чистеньких», «уходящих от борьбы», «выбирающих третий путь». Если откровенный противник еще может выжить, то стоящий в стороне не выживет никогда (смотри всю соцреалистическую литературу, которая в этом вопросе является «зеркалом жизни»). Россия — страна, в которой гладиаторы остаются в живых, но гибнут зрители; их карают за то, что они не участвуют в схватке, то есть считают себя выше, лучше тех, кто участвует.

Мандельштам довольно внятно объясняет, почему он желает, чтобы его запихали «в рукав жаркой шубы сибирских степей». Это нужно ему:

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязи,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной крассе.

Логика четверостишия очевидна: в сибирских степях необходимо укрыться для того, чтобы не видеть неприятных вещей (труса, грязцу и т. д.), а, напротив, любоваться вещами довольно приятными (голубыми песцами). Эту логику подтверждает сама грамматическая структура предложения с прагматическо-коммерческим «чтоб», с четко выраженной противопоставленностью двух равноправных частей (чтоб не видеть — чтоб видеть). Первое двестишие прямо говорит о визуальности, зрительности, второе двестишие отсылает к визуальности косвенно, но совершенно четко — сияние голубых песцов можно только увидеть. Мотив визуальности превращает два этих двестишия в одинаковые и уравновешенные чашечки весов.

Уже было сказано, что подход Мандельштама только эстетичен, внеэтичен, теперь это подтвердилось. Этике заплачено свое, кесарево: «доблесть», «высокое племя людей», — заплачено так, что больше уже можно и не говорить об этом. Одного сказанного «да» вполне достаточно. Мандельштам и не говорит — он говорит только о себе, о своих чувствах, о своих рефлексках, о своих брезгливо зажмуренных глазах. Да тут еще и восхитительное по своей эгоцентричности «мне» — как будто бы человек устроился перед экраном телевизора и собрался смотреть передачу «В мире животных», «чтоб сверкали всю ночь голубые песцы Мне...» — «для меня», «для моего несчастного глаза, утомившегося от созерцания кровавых костей».

Такой подход может удивить своим легкомыслием. Мандельштам и вправду очень легкомыслен, именно поэтому он не сделал попытки проверить, действительно ли «доблесть» была доблестью. Он сказал то, что сказалось. Более серьезный Багрицкий в подобной ситуации истерзал бы себя насмерть (он и истерзал себя). Мандельштам оказывается похожим на того солдата, который говорит не о справедливости войны, а о ее тяготах. В его время в этом можно было увидеть только легкомыслие. Нынешняя индивидуалистическая эпоха позволяет разглядеть в словах поэта не легкомыслие, но честность.

Современный человек скорее согласится с этим, чем не согласится. Когда-то во врангелевском застенке Мандельштам сказал: «Выпустите меня, я не создан для

тюрьмы!» Так мог бы сказать Терсит у Гомера: «Я не создан для войны»,— и звать гомерический хохот у ахейн. Но Терсит у Гомера отрицательный герой, урод, шут и подонок. То время было временем людей, созданных для войны.

Время Мандельштама стало временем людей, созданных для войны и тюрьмы,— Мандельштам не был один из них.

Фактически в стихотворении «За гремучую доблесть...» Мандельштам повторил свой давний детский эгоцентрический жест: «Я не создан для тюрьмы — я не создан для века-волкодава».

Нет нужды говорить, как опасно было утверждать такое в те годы. Это ощущение себя вне жизни было несовместимо с жизнью, с ее строем, укладом, оно обрекало на гибель «дезертиров эпохи». Вероятно, Мандельштам успел понять это — поэтому он взмолился о лишении свободы (этот чисто юридический термин поразительно точен и в метафизическом значении). Человеку слишком слабому, чтобы стать волкодавом, было вредно жить на свободе, поскольку свобода свелась к альтернативе: не можешь быть волкодавом, становись волком. Каждая минута, проведенная на свободе (на свободе двух возможностей), каждое слово, каждый жест, каждый взгляд, каждый вздох — все отягчало изначальную вину того, кто не был создан волкодавом по природе. Если бы волкодавья эпоха оказалась вечной — а она претендовала на то, чтоб оказаться вечной,— мы имели бы дело с виной «волка», автоматически возрастающей и стремящейся от относительной неискупимости к неискупимости абсолютной. Намотался бы такой метафизический «срок», что его нельзя было бы не только отбыть, но даже вообразить. Остановить этот «счетчик» могла лишь потеря свободы. Тот, кто лишен свободы, лишен и ответственности, он не сумеет провиниться, поскольку уже наказан. Свобода века-волкодава оказалась замаскированным фатумом: для тех, кто не подходил по тем или иным причинам на роль «волкодава», она обернулась фатальным и бесконтрольным нарастанием личной ответственности.

Мечта Мандельштама — мечта об «идеальной тюрьме», о государстве, насильственно прерывающем выбор, превратившийся в отсутствие выбора. Ни одна тюрьма не похожа на идеальную, особенно тюрьма той эпохи — со следователями, бла-тарями и вологодским конвоем. «Отрицательный выбор» эта тюрьма не прерывала, а усиливала. Говоря другими словами, в краю урок было не до голубых песцов. Мандельштам, к сожалению, ощутил это в полной мере.

Но что же так царапало ему глаза на свободе (если учесть, что он был готов отказаться от свободы только потому, что ему нечто царапало глаза)?

Чтоб не видеть ни труса...

Какого труса? Может быть, чтоб не видеть себя в зеркале? В свой век главным трусом был он. Он уклонялся от выбора: «волкодав — волк»,— бежал от века. Тогда это называлось словом «трус».

«Чтоб не видеть труса» означает «чтоб не видеть себя в навязанной роли труса».

...ни хлипкой грязцы...

Совпадения с Багрицким не должны удивлять, уже давно ясно, что Мандельштам отвечает Багрицкому. Разумеется, это та самая грязь, которая сосала «тонкие кости» врагов Дзержинского. Багрицкий в истерике проговорился и, вероятно, сам не осознавая того, создал образ грязного века, олицетворенного грязным Дзержинским.

Откуда берется «хлипкая грязца»? Ну, уж явно не от «доблести». Очевидно, что она есть и что глядеть на нее совершенно противно.

Ни кровавых костей в колесе...

Вот какое точное слово подобрал Мандельштам — «колесо». Кровавая машина, механика. Исправно функционирующая структура, безусловно наделенная своей ролью и ведомой только инженерам-создателям целью.

Не исключено, что правильная работа колеса непосредственно способству-

ет «доблести грядущих веков». По крайней мере инженеры объясняют именно так. Мандельштам принимает объяснения на веру, потому что это ему не так уж важно. Важно, что на колесо это глядеть противно: глаза застилают, руки дрожат, голова болит, посылает на рвоту. Одним словом, колесо действует на нервы.

Между прочим, колесо отличается еще одним свойством: если оно вращается слишком быстро, оно сливается в серый расплывчатый круг. Невозможно понять, что это мелькает перед тобой. Специалисты утверждают — это колесо. Что же, им виднее.

Не на колесо ли жаловался Дзержинский у Багрицкого, когда говорил, что «не разберешься, который век» и «оглянешься — а вокруг враги»? Тоже ничего не понимал, как и Мандельштам, хотя был не в пример ему самим водителем колеса. Шофер, которым управляет машина, техник по эксплуатации стульев-ловушек, уже давно не отличающий друзей от врагов, но по-прежнему верный служебной обязанности вовремя нажимать на кнопку. Образ саморазоблачительный и зловещий. Впрочем, у Багрицкого все разоблачает себя; он думает, что никогда не изменит эпохе, и в этот же момент изменяет ей, выдавая ее технические секреты.

Разговор Мандельштама с Багрицким — редкий пример разговора по делу. Мандельштам идеально воссоздал условия, в которые поставил человека Багрицкий. Очень легко можно было подменить эти условия, смягчив их. Но в том-то и суть, что Мандельштам вывел свой принципиально противоположный Багрицкому ответ из тех же самых условий. Фактически в этом споре оказался восстановленным знакомый по классицистическим трагедиям конфликт между долгом и чувством, между «надо» и «хочу». Багрицкий считал: человек должен выбрать «надо» и остаться верным веку, каким бы абсурдным и кровавым он ни был. Мандельштам ответил: человек может выбрать «хочу» и отказаться от века, потому что тот ему не нравится. Багрицкий выбрал стоический путь участия в игре, навязанной эпохой (несмотря ни на что). Мандельштам откликнулся выбором эпикурейского пути заведомого неучастия в делах века сего.

Можно было бы решиться сказать, какой из этих путей более правилен или по крайней мере более близок мне, если бы не одно «но». Дело в том, что оба этих пути совершенно абсурдны, абсурдны по-разному, но одинаковы в конечном результате — в факте абсурда. Оба пути абсурдом заканчиваются.

Путь долга, как уже было сказано, — это истерика. Здоровый человек всегда отличит то, что он сможет сделать, от того, что он не сможет сделать никогда. Он не станет поднимать восьмитонную штангу, ибо понимает, что его возможности ограничены. Беда истерических эпох в том, что уровень требований к человеку превышает уровень его возможностей. Можно, конечно, сказать, что готов поднять и этот груз, но ведь прекрасно понимаешь, что надорвешься, да и впрямь надорвешься.

Однако не менее абсурден и путь чувства. Всем памяты пословицы истерических эпох, вроде «Нет слова — не могу, есть слово — не хочу». В такие эпохи утрачены представления об уровне возможностей, поэтому всякое «не могу» звучит для окружающих как «не хочу». Тому, кто не боится признаться, что груз требований для него непосилен, приходится говорить только о собственных эмоциях и желаниях, с которыми никто не собирается считаться. Иными словами, всякий отказ — личное дело того, кто отказывается, его детский каприз. Человек упрямится, топает ногами и отворачивает голову, потому что вместо голубых песцов увидел кровавые кости в колесе. Ему говорят, что так необходимо, что без этого никакой грядущей доблести не будет и что отказываться от полезного действия колеса потому, что оно, видите ли, действует на нервы и раздражает слух, — чистейшее ребячество. «А я все равно не хочу!» — кричит капризник. «Не хочешь — заставим», — говорят ему. Но он все равно не заставляется. Ему бы да в другую эпоху, не в эпоху истериков, а в эпоху капризников, когда все капризничают и живут по своей воле. Бывают такие капризничающие эпохи, например, наша...

Один путь абсурден, другой — тоже абсурден. Больше путей нет: можно либо согласиться с веком-часовым, либо не согласиться; либо признать права волкодава, либо не признать их. То есть выхода-то и нет, потому что к личности предъявляются требования заведомо неосуществимые. Абсурд коренится не в реакции личности на эти требования, а в самих требованиях, это абсурд изначальный, с ним ничего нельзя сделать, всякая реакция на абсурд будет абсурдной.

Беда не в том, что некоторые эпохи бесчеловечны. Абсолютно человеческой, идеальной эпохи не может быть, как и абсолютно человеческой, идеальной тюрьмы. Всякая эпоха бесчеловечна по-своему, можно только спорить, какая бесчеловечность бесчеловечнее. Но тут возможны варианты.

Беда в том, что некоторые эпохи нечеловечны, то есть совершенно не рассчитаны на нормального человека, которому надо спать не меньше восьми часов в сутки и принимать пищу три раза в день. Допустим, запрети человеку спать или есть во имя... ну, всегда можно подобрать какую-либо «грядущую доблесть». Человек может пойти на это. Он может и не пойти на это — из чистого каприза. Итог в обоих случаях одинаков: он умрет.

А бывает еще и так, что граждане социума подобно чеховской девочке Варе совместными усилиями приканчивают свой социум, потому что... потому что «спать хочется». Вроде бы и социум жалко, но ничего не поделаешь. Все надорвались...

Если бы меня спросили, о чем стихотворение «За гремящую доблесть...», я ответил бы, что оно — о жажде внутреннего комфорта и о невозможности достичь этого комфорта. О том, что если выбирать — грядущей ли доблести провалиться или голубыми песцами любоваться,— человек все равно выберет голубых песцов.

Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

Кто этот «равный»? Принято считать, что это тот, кто выше века-волкодава, и поэтому сопоставим с Мандельштамом. Но не обязательно это должен быть высший, равно как и не обязательно это должен быть низший. Этот критерий, уверяю, не играет здесь никакой роли.

«Равный» — не связанный с волками и волкодавами, но связанный с бедным «третьим», укрывшимся в сибирских степях. Равный — сродный ему.

То есть свой.



Эпилог классики

Леонид Баткин. ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ БУКВА: Заметки читателя на полях стихов Иосифа Бродского. М., Издательство Российского государственного гуманитарного университета, 1997.

Обращение известного исследователя эпохи Возрождения Леонида Баткина к личности Иосифа Бродского вполне закономерно. Трудно назвать другого современного поэта, в образе которого так масштабно проявились бы возрожденческие качества и категории, имеющие вне-временное измерение.

Бродский в понимании Баткина — редкостно понятный поэт на фоне непростой русской поэтики XX века. Трудность чтения его стихов имеет «горизонтальный», а не «вертикальный» характер. Это демонстративная трудность, своего рода защитная мимикрия простосердечия и непосредственности истинного лирического гения. Такая простота не может быть слишком простой, ведь многолика и растеряна сама современная душа. «Гора с горой не сходится, человек с человеком бывает. Но современный рефлектирующий человек с самим собой — никогда», — разъясняет Баткин.

Другая особенность поэзии Бродского, по Баткину, — ее бездомность, попытка свести счеты с самим *пространством* (то есть и с временем, и с судьбой). «Я волны, а не крашенные наши / простенки узрю всюду, где судьба / прибьет меня — от Рая до параша». Особенности индивидуальной биографии поэта предварили незамедлившую общую драму — увидеть себя после *собственной* современности.

Баткин называет Бродского гением эпилога классики. И делает вывод: стилистически Бродский наследует прежде всего бесстильному Достоевскому и надстильному Мандельштаму. Экзистенциально же его драма напоминает блоковскую: «как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим». Не случайно, впрочем, и цитаты из «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна, обозначающие горизонтальные художественно-интеллектуальные параллели.

Вооружившись лотмановской концепцией «минус-приема» как фоном подразумеваемой ритмической интонации для интонации смысловой, Баткин наглядно показывает, как «набухают поэмностью» стихотворения Бродского, как эти «недопоэмы», «не-доремифасоли» устроены (каждая «именно через рваный и логико-синтаксический, и предметный, и ассоциативный ряд»), как «внутри рассекаемых синтаксических связок, на рифменном стержне, душа выплывает против метрического течения».

Баткин обозначил волнующую особенность метафор Бродского — не отмечать буквальных, житейских смыслов своих составляющих, предоставляя читателю забредать в них настолько далеко, насколько у него достанет сил и охоты: «Листай меня поэтому, пока / не грянет текст полуночного гимна».

Книга Баткина удачно оформлена рисунками (преимущественно автопортретами) самого Иосифа Бродского, подтверждающими верность многих наблюдений историка культуры.

Александр ЛЮСЫЙ

Книжные тайны

РУССКИЕ ПОЭТЫ XX ВЕКА В БИБЛИОТЕКЕ Н. К. ГУДЗИЯ. ИЗДАНИЯ 1890—1965 гг. Из собрания научной библиотеки МГУ. Каталог. М., «Литературное обозрение», 1996.

Когда читаешь или слушаешь бесконечные жалобы на засилие любовных романов и детективов, то всегда хочется ответить непримиримым: мол, вы забыли, как десять лет назад магазины были завалены куда как худшей литературой с идеологическим душком (если не сказать резче), а детектив был желанным и почти недоступным чтением, не говоря уж о той самой настоящей литературе, которую сегодня можно купить почти на любом развале.

О таком богатстве и не мечталось, а прошло несколько лет — и привыкли. Ес-

ли раньше, заметив недочет в хорошей книге, говорили: «Ничего, зато книга есть, а мелочи уж как-нибудь», — то теперь и на мелочи внимание обращаешь, хотя мелочь мелочи рознь...

Некоторое время назад мне очень повезло, ибо, почти случайно попав в «Литературное обозрение», ушла я отсюда с книгой «Русские поэты XX века в библиотеке Н. К. Гудзия. Издания 1890—1965 гг.», подготовленной сотрудниками отдела редких книг Научной библиотеки Московского государственного университета. Составитель каталога Евгения Суреновна Кашутина работала над книгой с тщательностью и любовью, ощутимыми сразу же, едва открываешь первую страницу. Небольшое предисловие — и будто снова оказываешься в университете и снова видишь профессора Николая Калининича Гудзия, завещающего свою великолепную библиотеку в шестнадцать тысяч томов Научной библиотеке МГУ. В Отделе редких книг библиотеки *сорок семь* личных коллекций, без которых сегодня невозможно ни одно издание, претендующее на научную ценность и содержательную полноту. Каталог ценен (бесценен!) для читателей своей описательной частью, тем более когда Российская государственная библиотека не справляется со своей работой, и для того, чтобы всерьез познакомиться с изданиями, предположим, 1920—1930-х гг., надо затратить столько усилий, что не каждый на это решится.

Открываю каталог наугад. «№ 755. «Альманах Цеха поэтов. Кн. 2» — Пг.: Цех поэтов, 1921.—87 с.; 23 см.—1500 экз. Авт. стихов, поэм: Г. Адамович, П. Волков, Н. Гумилев, Мих. Зенкевич, Г. Иванов, Л. Липавский, М. Лозинский, О. Мандельштам, С. Нельдихен, И. Одоевцева, А. Оношкович-Яцына, Н. Оцуп, В. Познер». И так расписаны все 838 (!) авторских и неавторских изданий. Но, кроме тщательного описания библиотеки, книга снабжена алфавитным указателем авторов, переводчиков, редакторов, составителей и т. д.; алфавитным указателем художников; хронологическим указателем; указателем издательств и типографий и т. д. Любому филологу такое издание в помощь, любому читателю — в удовольствие!

Несколько удовлетворив свое любопытство по поводу ранее неизвестных мне изданий, я решила прочитать приложение — «Рукописный сборник стихов Владислава Ходасевича», состоящий из стихотворений 1922—1924 гг. замечательного и очень любимого мною поэта, которые он присылал в Россию из эмиграции. Мало кто удержится от соблазна

сопоставить процесс накопления стихотворений с авторским составом известной книги «Европейская ночь», тем более что к 1930-м гг. в Москве знали несколько отличных друг от друга рукописей. Прежде я не читала ни одной, поэтому мне было очень интересно посмотреть, нет ли в рукописи, принадлежавшей Н. К. Гудзию, стихотворных переводов Ходасевича, который занимался переводом мало, но успешно, отчего каждая такая работа (такое творение) вызывает у меня, историка перевода, искренний интерес. Увы, этот поиск не принес особой радости. Ничего нового. Но, взглядываясь в названия стихотворений, я поймала себя на том, что не помню этих названий в первом томе Собрания сочинений В. Ходасевича, недавно вышедшем в издательстве «Согласие» (книги которого неизменно вызывают у меня искреннюю благодарность к издательству). Так и есть. С тем, что в томе нет стихотворных переводов, я смирилась сразу, едва купила книгу, хотя не могу понять, какой высшей идеей в данном случае руководствовались составители. Но собственные стихи Владислава Ходасевича! Не так уж много он написал, чтобы жесткие рамки первого тома не могли вместить всё! Назову ненайденные стихотворения: «Черные тучи проносятся мимо...»; «Песня турка»; «Сонет (Своих цепей так не расторгнешь, нет...)»; «В каком светящемся тумане...»; «Т-ой (Моим ты другом быть не хочешь...)»; «Я знаю все людские тайны...»; «Косоглазый и желтолицый...»; «Памятник (Павлович! С пошлом, бродячею каликой...)»; «Весна (Весело чижик поет...)».

Девять!

Что же, я порадовалась, что они есть в библиотеке Н. К. Гудзия, и уже было собралась отправиться в МГУ, пребывая в полном смятении, потому что стихи были мне знакомы и я никак не могла понять откуда, если прежде в глаза не видела ни одного рукописного собрания, как вспомнила, что есть еще и том стихотворений поэта в серии «Библиотека поэта» (1989). Удивлению моему не было предела. Там *есть* все названные стихотворения, за исключением:

Я знаю все людские тайны:
Всю боль страстей, сомнений, уз.
Но люди лживы и случайны,
Я скудным знаньем не горжусь.

И вдохновительней, и выше —
Почуять ужас вечный, тот,
Что подымает шерстку мыши
И сердце маленькое жжет.

Диалог как вид монолог

Анатолий Гуницкий. МЕТАМОРФОЗЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ГЕРОЯ.
Пьесы. СПб., «Красный матрос», 1996.

Джордж Гуницкий — культовая фигура. Его имя неразрывно связано с историей группы «Аквариум», которую он и БГ затеяли в семьдесят втором. Абсурдистский пафос раннего «Аквариума», вызвавший к жизни «Старика Козлодоева» и «15 голых баб», не столь рок-н-роллен, сколь литературен. Выяснилось, что Дилан, Беккет, сюрреалистические эксперименты, кельтская и другие мифологии прекрасно ложатся в русскую классическую просодию. Не обошлось и без влияния обэриутов — не Хармса, а скорее Олейникова с Заболоцким. Так или иначе двумя молодыми людьми был найден способ гармонизировать хаос с помощью нормированного стиха и психоделической музыки.

«Метаморфозы положительного героя», написанные за одну ночь по спецзаказу Гребенщикова, в семьдесят четвертом были сыграны на ступенях Инженерного замка. По-хорошему непредсказуемой труппой из музыкантов и околоаквариумной тусовки руководил Эрик Горюшевский, ученик Товстоногова. Он и благословил Джорджа на попрание драматурга.

Вскоре после «Метаморфоз» пути положительных героев несколько разошлись. БГ через тернии собственного непрофессионализма, сдвинутого сознания и официозных рогаток пробирался к статусу рок-звезды. Гуницкий, вынырнув из «Аквариума», получал медицинское образование, занимался театроведением, рок-журналистикой и, конечно, писал пьесы.

К 1991 году появились «Игры», «Смерть безбилетнику!», «До самых высот», «Практика частных явлений». Поставленные в Театре Абсурда Марка Гиндина, они, по признанию автора, «будоражили, шокировали, дразнили»... «Но это было не совсем то, что я написал», — добавляет разочарованный Джордж.

Будем исходить из того, что пьеса — жанр функциональный и, являясь матери-

алом для сценического действия, далеко не всегда становится фактом литературы. Рокеры прежних времен, ставя на магнитофон собственную самопальную запись, обычно оправдывались: «На концертах мы играем это в тыщу раз круче». Стало быть, произведение не закончено и к нему можно смело добавлять: музыку, энергию исполнителей, атмосферу живого выступления... Сумма всех этих воздействий наверняка приведет вас в восторг.

Пожожим образом обстоят дела и с пьесами Анатолия Гуницкого. Исключение составляет, на мой взгляд, текст «До самых высот». На нем стоит остановиться подробнее.

Как и во всякой хорошей литературе, главный герой в этой пьесе — язык. Действие сведено к нулю. Сорок семь страниц длится бессмысленный диалог Первого, Второго и Третьего, к ним добавляются голоса: Мужской и Женский. Система многоступенчатого эха, выстроенная Гуницким, предполагает одного подлинного героя, да и тот лишен собственной воли... По условиям игры монолог превращается в разговор многих. Будучи кусками разорванного сознания, действующие лица на ощупь восстанавливают целое. В руках у них — обрывки текста пьесы «До самых высот»... Вставным конструкциям нет числа.

Первый — более наблюдатель, чем действующее лицо, — так анализирует речевой винегрет собеседника: «Одна бессмыслица наслаивается на другую, сочетание различных бессмыслиц может ведь создать видимость смысла! <...> Это ведь бессмыслица высшего порядка, поскольку ваши фразы сами-то по себе не бессмысленны, но в итоге получается бессмыслица! Вот вам ключ к поэзии!»

«Бессмыслица, но не глупосмыслица», — добавил бы Ханс Арп, поскольку поток, идущий из подсознания, несомненно, подлинный, оплаченный душевными усилиями. Более того — он трагичен. Ведь источник абсурда в данном случае — не поврежденный смысл, а логичное сочетание смыслов, их соседство в одной речи, в одном сознании.

Карточки Льва Рубинштейна, герои Бродского, «переходящие за полночь в сны друг друга», порядковые номера Гуницкого, которых накрывает с головой собственная речь, — явления одного порядка. Коммуникационные сбои, случайности, казусы — все это есть. Тем не менее мы снова и снова пробуем единственное известное нам средство осознать себя — язык. «Я говорю, следовательно, существую», — как *не* сказал Декарт...

Ворвавшаяся было в текст перебранка Мужского и Женского головок дискредитирует вопросно-ответную форму, самоуничтожается. Спор вопреки расхожей формуле не способен продвинуть спорщиков к истине. Ведь цель спорящих — не истина, а правота. Цель безопасная и легко достижимая. Истина же — как результат синтеза — возможна лишь в диалоге. Вспомним: Сократ никогда не противоречил своим ученикам, напротив, выдвигал параллельное суждение. Мысленную плоскость собеседника пытался преобразовать в сферу... Диалог, трансформировавшийся в монолог, и есть, видимо, гармония. Пронумерованные персонажи не спорят, лишь пытаются дополнить друг друга до целого, восстановить сознание, в котором царит хаос.

Цифринитная логика диалогов Гуницкого внушает некоторую надежду, заставляет вспомнить героев Камю и Сартра. И в то же время — детей из стихотворения Гейне, которые поют, сидя во мраке, чтоб заглушить собственный ужас, заговорить, закласть окружающую их неизвестность...

Тысячелетняя война человека с языком — война за язык — происходит, по версии автора, на заплеванной лестничной площадке. Нужно подниматься вверх, но никто не знает зачем. Свет зажигается и гаснет. Необходимость в сумме с безысходностью подталкивает персонажей к тому, чтобы стать *героями*: собрать себя по кусочкам, найти мужество преодолеть страх и растерянность...

Конец пьесы (по сюжету) безнадежно утерян. Значит, есть шанс, что она будет продолжаться. Гребенщиков написал когда-то «Роман, который никогда не будет окончен». Теперь такой опыт есть у его коллеги. БГ на этом пути дошел до «Древнерусской тоски». Анатолий Гуницкий — «До самых высот».

Ян ШЕНКМАН

Среди света

●
Леонид Завальнюк. БЕГЛЕЦ. Стихи разных лет. Тула, «Пересвет», 1996.

●
 Смутные времена наступили — жестокие. Стали привычны ежедневные сводки новостей о террористических ак-

тах, публичных казнях, наемных убийствах и прочих кровавых разборках.

Ой, как нынче зажили на Руси,
 Умирают заживо на Руси.
 Почернели дочерна все края

— сокрушается поэт и все же надеется быть услышанным.

Все мы в суеде и неразберихе общественного переустройства в большей или меньшей степени очерствели. Тем удивительнее появление книги Л. Завальнюка «Беглец», в которую вошли как старые, давно завоевавшие читателя стихи, так и новые. Разумеется, удивление вызывает не сам факт выхода в свет новой книги этого известного поэта — стихов ныне публикуется много, — но тот покой, та чистота и свет, что исходят от его стихотворений. Вслушиваясь в чуть монотонный, но такой знакомый, домашний голос поэта, оттаиваешь душой, потому что в его стихах нет привычных для литературы сегодняшнего дня сарказма, злости, нарочитой иронической отстраненности. Незначительная деталь, мелкий штрих в призме поэтического взгляда Завальнюка приобретают необходимую значительность поэтического образа. Взять хотя бы вовсе негромкое стихотворение «Тот конь». Поэт вспоминает о слепом коне, о своей давней невольной вине перед ним, все еще гнетущей его.

... Но выжил он, и выжил я —
 Жизнь пощадила нас.
 И то, что был калека он,
 Я вижу лишь сейчас.
 И все казнь, и все твержу,
 Как встретимся во сне:
 — Пойми, ведь я не знал! Пойми!... —
 Но он не верит мне.

Неожиданны и трогательны образы пейзажной лирики поэта. Речка для него — это «невзрачное чудо земное», облака — «овцы небесные на синем лугу», восход над полем — «угли в тлеющей печи», журавль — «пасынок пространства»... Завальнюк пишет о природе как о близком человеке, как о чем-то таком, без чего невозможно существовать.

Лес, мой лес —
 Золотое, зеленое, черное —
 Ты и глаз на Нерли,
 Ты и Спас на Крови,
 Ты и храм, и молитва,
 И икона моя чудотворная!

Мне кажется, в этой лиричности, не злобности и человечности — главная притягательная сила стихов Леонида Завальнюка. И, наверное, благодаря этому

счастливому свойству интонационного дара в лучших своих стихах поэт добивается высокого эмоционального воздействия. Такие стихи, как «Сиротским сердцем на стезе земной», «В пивной», «Соседи», «Аист», заставляют в полной мере ощутить и тяжесть, и тоску жизни. Впрочем, русская жизнь и всегда-то была щедря на поводы для подобного рода поэтических переживаний. Однако поэт не ограничивается констатацией сложных в рифмованные строки несчастий — во многих его стихах звучит невысказанный вопрос: отчего жизнь постоянно обманывает, отчего не оправдывает надежд?..

Но уйти, спрятаться от жизни художнику не дано. Как заметил другой поэт: «От жизни художнику некуда деться, он прямо из рук эту стерву кормил...» Унылость и обыденность бытия, трансформируясь в сознании поэта, достигают в стихах истинно трагедийного звучания. И явно слышно желание вернуть прошлое, что ушло навсегда, безвозвратно.

Дорога возврата печалью чревата:
В троюродном старце узнаешь ли брата?
Какая обида, какое старение!..

И все, что остается,— это вспомнить юность, время, когда есть розовые надежды, наполеоновские планы, предощущение грандиозного будущего... и нет прошлого, в которое хочется вернуться.

Скорее обратно, за память скорее,
За шторы, за жалюзи — от горькой разлуки,
От жалящей жалости, от жабы-старухи...

Тема сиротства и одиночества представляется мне едва ли не основной в этом сборнике. Видно, и того, и другого поэт хлебнул на своем веку предостаточно. Иначе откуда бы в стихах его взялось столько искренней боли? При этом поэтические средства, им избираемые, подчеркнуто просты и традиционны.

Как не хватает мне семейного альбома,
Какой-то чахлой яблони, стола,
Прожженного отцовской папирой.
Зверь неустройства, жадный и раскосый,
Повсюду в жизни следует за мной
И пожирает след, давая слюною.
И вещи не срastaются со мною,
И нет мне дома на стезе земной...

И как за чахлой яблоней, за этим прожженным столом неожиданно возникает мистический ненасытный зверь неустройства, так за личным, бытийным ощущением сиротства постепенно вырастает образ вечного вселенского одиночества. На мой взгляд, «Сиротским сердцем на стезе земной...» — одно из лучших стихотворений книги, а может быть, и вообще

еще лучшее из написанного Л. Завальнюком.

«Беглец» стал безусловной удачей автора, и именно поэтому необходимо отметить, что более тщательный отбор, немалого сократив объем сборника, избавив его от некоторых случайных стихотворений, сообщил бы ему больше цельности и той доброй энергетике, которой питаны лучшие произведения Леонида Завальнюка.

Дмитрий КОСЕНКИН

Достоевский: современное прочтение

ДОСТОЕВСКИЙ В КОНЦЕ XX ВЕКА.
Сб. статей. Составитель и редактор
**Карен Степанян. М., «Классика
плюс», 1996.**

Прошедший юбилейный (175 лет со дня рождения) год Достоевского, помимо прочих памятных событий, ознаменовался одним — важным для нашей гуманитарной науки: в издательстве «Классика плюс» вышел сборник литературоведческих и философских работ «Достоевский в конце XX века».

Уже первое знакомство с этим солидным томом радует: пожалуй, давно в нашей стране не было научного труда, посвященного Достоевскому, столь изысканно и с любовью оформленного, с текстом, дополненным прекрасными цветными репродукциями важных для понимания творчества писателя православных икон XI—XVI веков, его портретов и иллюстраций к его произведениям известных художников (А. Шемякина, Э. Неизвестного, О. Кандаурова и других), фотографиями из музеев и фотокадрами наиболее заметных экранизаций и инсценировок последней четверти века (в том числе новаторского фильма ярославского режиссера А. Петрова «Сон смешного человека»). Но главное — уровень художественного оформления вполне соответствует качеству представленных научных работ.

Сборник составлен в основном из

статей семи первых номеров альманаха «Достоевский и мировая культура», выпускаемого российским Обществом Достоевского с конца 1993 года, но есть в нем и материал, публикуемый впервые, — всего двадцать восемь статей, принадлежащих перу крупнейших российских и зарубежных исследователей.

Издание, как кажется, вполне отвечает своему названию: в большинстве статей отчетливо прослеживается современная тенденция в изучении творчества Достоевского, суть которой, если говорить обобщенно, в пристальном внимании к глубинным, подчас зашифрованным смыслам произведений писателя, в рассмотрении наследия классика в сложном и многообразном контексте отечественных и мировых религиозных, философских, эстетических традиций. Безусловно, это стало возможным, с одной стороны, благодаря исчезновению идеологического прессы советской цензуры, а с другой — в результате огромной работы, проделанной прежде (подчас в невыносимых условиях) многими поколениями ученых, в частности, подготовки уникального тридцатитомного академического Собрания сочинений Достоевского, осуществленного группой специалистов Института русской литературы (Пушкинский Дом) в Санкт-Петербурге. Книга открывается беседой с фактическим руководителем этого издания, академиком РАН, почетным президентом Международного Общества Достоевского Г. М. Фридендером. Беседа эта, вынесенная за рамки рубрик сборника, выполняет функцию своеобразного вступления, определяя и тон преемственности, и дух новизны публикуемых работ.

Сборник поделен на две неравные части рубриками «Художник-провидец» и «Созвучия». В первую, большую, вошли статьи, посвященные исследованию идейно-эстетических основ творчества Достоевского и анализу отдельных произведений писателя (среди авторов — Т. Горичева, И. Кириллова, Т. Касаткина, Л. Левина, В. Захаров, Г. Коган, Б. Тихомиров, Л. Сараскина, Г. Шенников, Ф. Тарасов, Т. Мотидзуки и другие), меньшую составляют статьи, рассматривающие в сопоставительном плане наследие Достоевского и Вл. Соловьева, отца Павла Флоренского, Гоголя, Ремизова, Бубера, Ницше, Кьеркегора, Кафки, маркиза де Сада, обэриутов (среди авторов — В. Туниманов, В. Викторович, Г. Померанц, К. Степанян, Ричард А. Пис и другие).

При знакомстве с книгой сразу обращает на себя внимание и впоследствии видится главным ее смысловым стержнем то, что большинству исследователей Достоевский интересен по преимуществу как религиозный (православный) мыслитель.

Именно «христианская и высоко-нравственная мысль» Достоевского и делает его для авторов сборника «художником-провидцем», и определяет саму сферу «созвучий».

Из всех многообразных точек соприкосновения творчества писателя с современностью православное мировоззрение — из разряда тех, что «ведут вглубь, к подлинному осознанию места Достоевского в нашем, насильственно лишенном памяти и связи времен бытии». Подобный взгляд на наследие великого «сердцеведа» как нельзя лучше характеризует сегодняшнюю духовную жизнь общества с ее потребностью покаяния и нравственного возрождения. И на этом пути Достоевский — лучший проводник. «Сверхидея» его творчества, идея «христианского преобразования человека, России, мира», как указывает в своей статье В. Захаров, предполагала «несколько этапов воплощения»: первый — сознать человека в себе, «найти человека в человеке», второй — «восстановив человеческий облик, обрести свое лицо», третий — «сознав божеское в себе, преобразиться, стать человеком, живущим по Христовым заповедям».

Т. Горичева так определяет значение автора «Братьев Карамазовых» в истории мировой культуры: «Достоевский — писатель надежды. Это особенно важно в наше время, когда, казалось бы, места для надежды не осталось. XX век — век утопий и их разоблачений. Разоблачена любая идеология. <...> Адорно спрашивает: можно ли еще философствовать после Аушвица? Можно ли еще богословствовать после Аушвица, ГУЛАГа, Чернобыля? Достоевский ответил бы так: только после Аушвица и возможна настоящая христианская философия. <...> Надежда у Достоевского — это «надежда сверх надежды», которая и есть вся пасхальная полнота жизни».

Авторам сборника удалось избежать вполне возможной сегодня «подмены фундаментального, глубокого изучения» биографии и произведений Достоевского «различного рода штампами (независимо от того, носят ли эти штампы шовинистический и великодержавный, умильный, елейно-церковный или псевдомодернистический характер)». Лучшие статьи в сборнике отличаются как масштабностью замысла, так и ясно обозначенной духовной позицией авторов, нравственной и честной.

К числу важных моментов, отражающих, мне кажется, именно новые подступы к изучению наследия Достоевского, следует отнести попытки литературоведов проникнуть в тайны художественности писателя через осмысление религиозного подтекста и символики его произведений (статьи Т. Касаткиной, Е. Трофи-

мова, К. Степаняна, Ф. Тарасова и др.). Подобный подход выводит на такой уровень прочтения текстов Достоевского, который более всего сопоставим с авторским замыслом. Работы подобного рода в чем-то продолжают прерванную традицию начала века, заложенную в статьях и книгах С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, Д. С. Мережковского, А. Вольнского; но необходимо заметить: нынешние исследователи свободны от намечавшейся тогда тенденции — создать некую «новую религию» на основе произведений Достоевского.

В разделе «Художник-провидец» следует выделить небольшую, но яркую статью Г. Гачева о жанре «Дневника писателя»; неожиданную и оригинальную трактовку «Поэмы о Великом инквизиторе» Л. Сараскиной и содержательное исследование английского ученого русского происхождения И. Кирилловой «Пометки Достоевского на тексте Евангелия от Иоанна».

Статьи, интерпретирующие произведения писателя, прекрасно дополняет объемная и крайне полезная для исследователей работа И. Волгина «Архивные материалы о Достоевском на территории России и стран СНГ. Новые документальные разыскания и находки (1957—1996). Краткий обзор».

Рубрика «Созвучия» в целом несколько проигрывает в сравнении с первой частью книги. В некоторых статьях изучение творчества Достоевского оказывается ограниченным лишь упоминанием имени писателя в заголовке, а подлинным героем исследования становится тот или иной деятель культуры, на которого русский классик оказал известное влияние. Например, статья Г. Померанца «Переключка героев Достоевского с Бубером» фактически целиком посвящена рассмотрению философской системы Бубера и вряд ли что может дать для изучения произведений автора «Преступления и наказания». Наиболее интересными в «Созвучиях» представляются точно выдержанные в рамках сравнительного анализа статьи «Гоголь и «Двойник» Достоевского» английского исследователя Ричарда А. Писа и «Гоголь и Достоевский: диалоги на грани художественности» К. Степаняна.

О К. Степаняне следует упомянуть отдельно: он не только один из авторов сборника, но и вдохновитель его, фактический руководитель издания, выполненного с таким профессионализмом и любовью. «Достоевский в конце XX века» ад-

ресован широкой аудитории, но в первую очередь преподавателям и студентам-филологам.

Елена МЕСТЕРГАЗИ

Коллажи и эзотерика

Нина Искренко. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОМЕНТА. М., «АРГО-Риск», 1996.

Сборник этот вышел посмертно: Н. Искренко умерла в 1995 г. При жизни она собирала стихи в небольшие машинописные книги — всего их получилось двадцать семь. «Интерпретация момента» — двадцатая.

Сборник как будто неровный, как и все у Искренко. Диссонансные скрещения стилей: цитаты из советских песен, иронически отстраненный пафос, внезапное просторечие. Сама Искренко называла свою работу полистилистикой — в ней используются признаки противоречащих друг другу стилей, сосуществующих в охватывающем их глубинном пафосе. Взаимодействие разных стилей и цитат вырастает в новое качество — как в коллажах Роберта Раушенберга. Здесь и легкие, на вид проходные вещи в окружении больших текстов воспринимаются по-другому.

Искренко не позволяет пафосу окончательно воплотиться. Слишком много вокруг пафоса и лозунгов. Жизнь среди лозунгов, не обязательно политических, но даже личных. Мысль изреченная есть лозунг — таким, кажется, было искренковское отношение к разным стилям. Не ложь, а лозунг: знак, остановившийся во времени, заиклившийся на себе. Приходится жить, постоянно избывая эту возможность впасть в знак, превратиться в лозунг.

В «Интерпретации момента» отчетливо видно, насколько для Искренко был важен еще и музыкальный подтекст. Это новая, непривычная музыка (в одном из стихотворений персонажи слушают Шнитке), но именно музыкальные аллюзии показывают на то, что значила для Искренко стилистическая какофония.

При всей броскости и плакатной яркости в поэзии Искренко продолжался духовный поиск, особенно интенсивный в

поздних текстах. Третий раздел сборника называется «Опоздавшие к одиннадцатому часу» — аллюзия на евангельскую притчу о «работниках одиннадцатого часа», людях, позже других откликнувшихся на Божий призыв.

Мои чертежи остались нетронутыми
Голубь на подоконнике наклонил голову
и несколько раз отчетливо произнес:
Слесарь! Слесарь! Слесарь!

Окно растворилось и вода хлынула внутрь

«Интерпретация момента» — первая публикация какого бы то ни было сборника Искренко в авторском, первоначальном виде: прижизненные книги в России и за рубежом составлялись как «избранное». Тексты подготовил поэт, художник и знаток творчества Искренко Николай Винник.

●
Юрий Милорава. ВЗАМЕН. М., Academia, 1996.

●
Это первое отдельное издание стихотворений Юрия Милоравы, хотя автор пишет и печатается в периодике давно.

с трав
осени
холм мир спуска

Стихотворения Милоравы не слишком длинные, но всегда очень концентрированы. Смысл каждого слова повышен, в нем чрезвычайно активизированы ассоциативные — зрительные, слуховые — связи. И в то же время смысл слов и всего стихотворения как бы смещен. Традиционный синтаксис не может передать той интенсивной работы и изменений смысла, которые происходят в стихотворениях Милоравы.

поле безлюдность
сбылось но меньше рама земная
под ним проводит черту многолико
колея

Стихотворение выходит за пределы немногих составляющих его слов и становится бешеной и призрачной пляской пейзажей, света и тайны. В каждом стихотворении творится несколько ветвящихся ассоциативных сюжетов. В их развитие входят и аллитерации, и иные созвучия, которые создают сложную и многообразную мелодическую фактуру — как звучание не одного инструмента, но ансамбля: начинается один, продолжает другой. Но звук в стихотворениях Милоравы может ка-

ким-то немислимым образом прийти и из пустоты между инструментами.

В аннотации к книге указано на родство стихотворений Милоравы с творчеством Хлебникова, Елены Гуро и французского поэта Макса Жакоба. В современной русской поэзии отдаленные «собратья» Милоравы — Геннадий Айги и, «с другой стороны», Михаил Еремин.

Илья КУКУЛИН

И приближаться, и удаляться

●
Александр Давыдов. АПОКРИФ, ИЛИ СОН ПРО АНГЕЛА. М., «ЛИА Р. ЭЛИНИНА», 1997.

Аркадий Драгомощенко. КИТАЙСКОЕ СОЛНЦЕ. СПб., «Митин журнал». «Борей Арт-Центр», 1997.

●
Имена их начинаются с первой буквы русского алфавита, а фамилии — с четвертой. АД — общий инициал.

Обоих мы знаем больше как авторов стихов и стихотворных переводов.

И в петербургском, и в московском издании нет ни строчки дополнительной информации (сведений об авторах, скажем): только текст.

Давыдов — главный редактор журнала «Комментарии», самого, наверное, изысканно-интеллектуального из литературных изданий. Драгомощенко — член редколлегии «Комментариев» и редактор-составитель «петербургских» выпусков журнала, которые появляются примерно раз в год.

Оба они выпустили книги как-бы-прозы. Книги схожи по формату и по объему, обе — в мягких обложках. Обе обложки оформлены скромно и стильно: черным по белому. Только у Драгомощенко, помимо букв, на обложку вынесена еще и фотография.

В лесу или в парке прячется в тени старый кабриолет, перед ним трое — женщина в пестром солидном платье, мужчина в белой рубашке, ребенок на руках у мужчины. В левом верхнем углу сидит солнце. Ребенок и мужчина смотрят на нас, женщина — в сторону от нас и мимо мужчины с ребенком. Ее лица мы не видим. Взгляд уходит в глубь фотографии — вдоль тела кабриолета, но и от него — в сторону.

Фотография полна оптических силовых линий. Мужчина и ребенок смотрят

на нас перпендикулярно плоскости обложки, но относительно друг друга прямые их взглядов не параллельны и пересекаются где-то в районе кончика носа того, кто смотрит на фото извне. Взгляд женщины не пересекается с их дуэтом: он проходит за спинами мужчин (ребенок, видим, мужского пола: может быть, это автор) и теряется в зарослях, в глубине фотографии. У солнца, кажется, нет взгляда ни внутрь, ни вовне: оно заведует освещением, вполне призрачным и неравномерным. За правой кромкой снимка начнется еще и взгляд кабриолета, который откуда-то въехал в кадр и куда-то из него денется. Но нам нет пока дела до такого типа движения.

Такой тип движения мы найдем на обложке Давыдова: здесь все же есть, кроме букв, и одна картинка. Квадрат, который перечеркивает-перелетает уверенная черта с нечеткими краями. Внизу цифры XXI. Эмблема серии «Классики XXI века». Если считать квадрат (белый, черный, красный...) веком двадцатым, то черта — это что-то вроде кометы, которая берет начало в прошлом и надеется на продолжение в будущем.

Мне несколько ближе кабриолет, неуверенный в своем движении и в своей симметричности: рамку фото на обложке Драгомощенко он пересекает не слишком активно. Он не озабочен пересечением, поступательным движением. В первой строке книги сообщается, что «Узор травы определяет контуры “будущих костров”». Здесь важен процесс организации локального пространства: узор травы, самостийный орнамент, занятый, как подчеркивал, рассуждая о природе орнамента, один философ, исключительно самим собой, локализованный, портативный пожар костра, два типа внутренних движений (роста травы и горения огня: так сказать, «огня огня»). Контуров вещей живут так интенсивно, что даже их частной истории хватит, в общем, для большой книги.

Эмблема на обложке Давыдова — знак не авторской идентификации, а серийного отчуждения. Строгая маркировка странна для жанров апокрифа и сна, а потому черта на эмблеме кажется смазанной. Не исключено, что это и есть затерянный в старых стихах «промельк маховой». Но тем не менее книга начинается описанием некоего бытийного зародыша: «Набито время мигами, как стручок горошинами, а эта жизненная каплюшка проваливается в темный межмигивый чуланчик и там будет парить, как пылинка. Это зачаток пространств и времен, многих вселенных, только нарости на него плоть». Это свернутая судьба, зернышко линии, готовой пересечь квадрат и уле-

теть дальше. Идея линии столь охотно стрижется на идеи отрезков, что ее мифологическая всепроницаемость почти требует дробления: книга состоит из четырех историй.

Это все истории про судьбы, понятые как жизни. «Урсус сиречь медведь», эффектно заверстанный в книге с 100-й страницы, начинается самообнаружением некоего существа в какой-то дыре («Не знаю, человек ли я, зверь или, может, иное») и завершается тем, что медведь отходит ко сну с неясными, но явно судьбо-строительными перспективами («Заснул медведем, а кем проснулся — не скажу»). Абзацы этой поэмы пронумерованы, и число их — 366. Специально оговорено, что один абзац високосный.

Идея линейности, чреватая текстом Истории (всемирной такой истории, знающей смысл и сюжет), пересекается с черного хода, из своих же корней: линия загоняется в круг, в календарь сельхозработ. Эллины вырезали на своих камнях строгую хронологию: «В таком-то году правления такого-то», но она не превращалась в историю, поскольку не было универсального летосчисления. Но оно существует как близкая возможность. Медведь у Давыдова считает, сколько в лесу деревьев. Следующий шаг — заглянуть внутрь дерева и посчитать его годовые кольца.

У Драгомощенко судьбы — не жизни, а вживания. Втирания своих топологических способностей в открытые точки пространства. «Числа, отражающие себя в круглых колодцах материи», — не надежда на обретение идентичности, а «колдовские линзы осени». Колдовские линзы — разбегающаяся оптика, ошалевшие от грамматических узилищ «точки зрения», взгляды, потерявшие хозяев и опадающие, как листья. «Мы проводили время на мостах, уставясь в бегущую внизу воду. Удилища ломались в отражениях». Удилища — метонимия ствола, набитого, как русские деньги нулями, годовыми кольцами. Не считать следует, следует смотреть.

«О том, как мы с тобой остаемся в пустоте, потом расстаемся и неожиданно становимся небесными звездами», — предпоследняя главка давыдовской «невеселой сказки для потерянных душ» — классический пример Большого Символического Обмена. Таланты, помыслы и прочий благонаследованный багаж — вещь трудноконвертируемая? Неправда. Можно купить акции вечности. «К чему нам гадать, коль перепутаны все миры, вот раскрыта шкатулка, и ото всех миров сквозит ветряками». Превращение в звезды — не только операция подчеркнута

эстетическая и «красивая», если считать кавычки не баловством с модальностью, а приметой стиля. Это, в общем, перспективный жест, ибо звезды небесные, а небо — наверху.

Но разве вечность есть неизбежность мироздания с прописанными в правильных книгах способами размещения объектов? Звезды не всегда небесные, да и небо — пока течет вечность — может перестать существовать, как перестают существовать лишившиеся носителей языки или скушанные овощи-фрукты. Мы ничего и никогда не сможем про это сказать: во всяком случае, известными нам способами.

«Мы проводили время на мостах...» — род вечности, обретаемой в практиках повседневной тактильности, в желании пропускать через себя заикания спектра, шершавость и липкость поверхностей, не-

разбериху запахов. Почему оптики так много, почему взгляды все время бегут в разные стороны, почему, чего не хватись — смыслов, систем, стилизаций, — все всегда мельтешит и никак не хочет успокоиться в рамке или в квадрате? Оно просто дает нам шанс — если ты поймал себя в поле действия нескольких оптических линий, значит, ты уже побывал в этой вечности и можешь попасть туда еще. Так, если ты выходишь из дискотеки подышать воздухом или покурить под звездами, тебе ставят на руку штамп, по которому потом пустят обратно.

«Чужие города к концу дня становятся невероятно огромными, безначальными, но длится это недолго, приходит ночь».

Егор СТРЕШНЕВ



Вячеслав КУРИЦЫН

Малахитовая шкатулка-2

Второй раз «Записки литературного человека» касаются литературной жизни Урала (см. выпуск в «Октябре» № 5). Естественные сомнения — а насколько оправданно через полгода с небольшим вновь возвращаться к уральской тематике, выделяя «опорный край державы» из других регионов России? — я развеял в себе целым выводком пунктов. Во-первых, Урал — регион очень большой, включает в себя несколько больших областей и автономных образований, и если интерес к региональной словесности и можно обозвать «местечковым», то только с поправкой на то, что это сильное и важное для страны «место». Во-вторых, литературный процесс на Урале не выдумка вашего обозревателя, статьи об уральских авторах и книгах появляются во многих изданиях, «уральская школа поэзии» становится предметом дискуссии и т. д. и т. п. В связи с литературным Уралом, то есть, реально есть о чем говорить. В связи с литературным Уралом можно говорить и о других литературных явлениях: есть простор для мысли. В-третьих, я пишу о том, что интересно мне самому: единственный, на мой взгляд, способ сделать письмо интересным и для других. В-четвертых, большая часть книжек и публикаций, о которых пойдет речь ниже, имеет более чем региональное значение: можно сказать, что я пишу прежде всего про хорошие книжки, а их «уральскость» — только формальный повод собрать их вместе. Надеюсь, что даже любых двух из четырех этих доводов вполне хватило бы для оправдания «Малахитовой шкатулки-2».

1,14%

Вопреки сказанному в пункте «в-четвертых» начну с книжек значения сугубо местного, чтобы тут же заявить, что их «местность» имеет как раз смысл общероссийский. Речь идет о краеведческой литературе. Слово «краеведение», увы, ассоциируется сегодня у большинства с ритуально-официозной, никакой советской наукой и практикой. Это обидно и глупо. Конечно, ведение родным краем, географией своего обитания, интерес к месту, в котором ты живешь, — вещи в высшей степени теплые и естественные.

Чем дальше в лес, то есть в реальный рынок, тем меньше у Москвы шансов отставаться имперской столицей. Конечно, наша замечательная столица и впредь попытается удержать функцию всероссийской копилки, роль отдельного государства, надежно отгороженного от загадочной, бедной и дикой России, но все-таки она вынуждена делиться властью и деньгами с местами. Чем больше будет практического регионализма, тем больше области и республики станут нуждаться в том, чтобы быть описанными как локальные, автономные культуры. На рынке — экономическом, политическом, туристическом — продается неповторимость, аутентичность. Регион должен быть упакован в местный культурный контекст, как товар в коробочку с картинкой и ленточкой. И даже региональным политикам нужна региональная риторика, в новый век не очень уедешь на осточертевшем «боевом духе уральского пролетариата».

Любопытно, что необходимость местных мифологий касается и Москвы. Недавно вышел номер журнала «Новая Юность» (№ 24), практически полностью посвященный метафизике Москвы. Тексты Даниила Давыдова, Андрея Балдина, Рустама Рахматуллина (новая звезда отечественной журналистики: смотрите в «Неза-

висимой газете» его архитектурные полосы), Юрия Арабова, Юлии Тарантул посвященные московским ландшафтам и пространствам, формам и пластике московского времени. Странные, свежие, несформулированные, еще не устоявшиеся подходы, еще не прописанная, не продуманная методика: самое начало нового московского краеведения.

Три краеведческих книжки, вышедших в Екатеринбурге, относятся пока к краеведению «старому», традиционному, со всеми его очевидными достоинствами (главное из которых — концентрация информации) и недостатками. Средне-Уральское книжное издательство, некогда богатейший партийно-советский монстр, теперь лишь изредка подающий признаки жизни, выпустило «Географию Свердловской области» В. Г. Капустина и И. Н. Корнева, сообщающую, что область составляет 1,14% площади всей России, вполне полезную фактурно, вполне нейтральную концептуально и иногда невыносимую стилистически. Старший школьник, которому адресована книга, вряд ли полюбит текст, набитый фразами типа «дерновый процесс характеризуется развитием гумусного горизонта за счет биогенного накопления веществ при содействии выпотного режима почвы». Почему-то кажется, что книжка о географии, в которой было найдено первое в России золото и первые в России алмазы, могла быть поживее и поинтереснее.

Вышел в свет и второй том издания «Летопись Уральских деревень (Сысертский район)». Этот неожиданный проект финансируется, очевидно, районной администрацией и являет попытку резкого приближения предмета краеведения к нашим глазам. Приезжают, скажем, ученики и учителя районных школ в деревню Малое Сидельниково (или в село Колос, или в поселок Ключи, или в Арамилскую слободу), где всего-то двадцать дворов, и описывают, что они увидели и узнали. С кем встретились, кто им что рассказал, какие одуванчики растут у плетня. Иногда попадают документы вроде очень убедительного протокола заседания Новоипатовского сельсовета по поводу создания колхоза. Но чаще «летопись» вовсе не ставит перед собой вопроса об историчности и достоверности: какая там достоверность, если интервьюер — ученик средней школы, а интервьюируемый помнит войну. Это скорее следы какого-то странного ритуала: новые глаза оживляют своим присутствием старый пейзаж, новые ноги ступают по заброшенной дороге...

Книжка бесхитростная — о коллективизации может быть написано как о благе (что делать: рассказчик несколько десятилетий сидел внутри советского дискурса), о современности же говорится, как есть. Есть — плохо. Деревни гибнут, люди голодают. Или болеют. «Сейчас оба болеют. Продукты из магазина им приносит работница собеса». Какой исторической школе вдруг понадобились бы Иван Иванович и Мария Антоновна Грицай, которым посвящены эти строки? Что эти строки переменят в их судьбе? Ничего. Будет ли книга иметь историческую ценность, как копилка фактуры? Вполне минимальную. Очень, очень странный, магический проект, репетиции путешествий, знакомство детей с письмом и уходящими людьми... Вот заметка «Забывтый поселок» — о поселке Лечебном. Тут был диспансер, который закрыт двадцать лет назад. Магазины нет, автобусное сообщение нерегулярное. «У многих стариков нет даже своих бань. Тяжело возделывать огород». Старики просят краеведов похлопотать о каких-то документах. «Оказалось, мы нужны друг (оставим опечатку.— В. К.) другу — абрамовские ребята и местные старушки». Подписана заметка Л. Аникичевой, ученицей, и Г. Чучайкиной, учительницей Абрамовской школы. Фамилия ученицы помещена в траурную рамку.

Материалы во втором выпуске краеведческого альманаха «Уральская старина» (издательство «Архитектон») — текущая, качественная работа местных заслуженных краеведов. Первый перевод из изданного в 1833 году по-французски «Путешествия на Урал» Адольфа Купфера, Екатеринбург на военной карте белой России, очерки о семействе предпринимателей Жиряковых, иностранцы на строительстве уральских заводов и даже «бажовинки»: стилизации под сказки из «Малахитовой шкатулки» П. П. Бажова, единственного текста, который может претендовать на звание ключевого Уральского Мифа.

Крутость

Крутость — один из краеугольных камней уральской мифологии. Демидовы, золотоискатели, царевубицы, свердловский рок... Новорусская эпоха дала этому свойству хорошую пищу. В перестроечном Екатеринбурге было больше всего заказных убийств на душу населения: авторитет падал за авторитетом. О них не только писали в газетах — в московском «Знамени» появилась даже поэма свердловчанина Вадима Месяца «Смерть рэкетира»...

Впрочем, нет ни оснований, ни смысла настаивать на том, что уральская крутость превосходит соответствующие психосоциальные явления в каких-нибудь других регионах: известно, что диких мест в нашей стране много и что разудалые бандитские группировки гнездятся по самым разным углам. О «краеугольном камне» я сказал прежде всего ради самого слова «камень», из которого вырастает и Урал, и миф Бажова, из которого вырастает и замысловато-безапелляционная уральская крутизна.

Один из самых неожиданных писателей сегодня — человек, скрывающийся под псевдонимом Евгений Монах. Он опубликовал в журнале «Урал» четыре повести за четыре года (последняя — «Улыбнись перед смертью» — вышла в №№ 11—12, 1996), интервью с ним за это время появлялись в бельгийской, немецкой, испанской печати, в наших «Известиях», повести теперь выходят книжками в Москве и переводятся на разные языки. Тот, кто старается наблюдать за литературным процессом, на этом месте может нахмуриться, припоминая: кто же он, этот Евгений Монах?

Евгений Монах — бандит. Действующий или нет, об этом мне судить сложно. Во всяком случае, он отсидел за умышленное убийство (в котором вовсе не раскался: убил другого гангстера — так было и надо), а герой его повести, носящий то же имя, продолжает участвовать в невидимых миру больших гангстерских войнах.

Монах пишет «изнутри мафии», и это, конечно, придает его сочинениям определенную морально-нравственную специфику, в том числе и вполне понятную и способную быть принятой обывателем: в мафии теперь много «афганцев» и «чеченцев», которые «звери», и это нехорошо. Строго говоря, письмо от лица бандита не редкость, достаточно вспомнить весьма популярный сейчас вагриусовский цикл «Банда» пера Юрия Волошина. Но у Волошина куда больше циничной литературно-коммерческой игры. Интенция Монаха, конечно, тоже литературна (трогательное замечание — он хочет отойти от криминальной тематики и писать лирику), но школа не заслоняет здесь нутряной убедительности. «Пистолетная пуля шаркнула по коже виска, начисто сбрав на нем волосы и превратив меня в какого-то дурацкого панка. Ответным выстрелом я утихомирил этого парикмахера, навсегда отбив у него охоту заниматься наглай корректировкой чьей-либо прически». Строгий, четкий, конкретный текст.

Кстати, именно в упомянутом номере «Урала» заканчивается публикация романа Ольги Славниковой «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки»: он в этом году попал в шорт-лист Букеровской премии. Огромный массив материала и текста — негромкого, но сугубого, как Рифейские горы. Написано интересно и даже хорошо, но, увы, лишено контекста: неясно, на какой режим восприятия, на какого читателя, на какую общественную ситуацию рассчитана такая танталова работа... А у Монаха с этим все в порядке.

Камни

Уральские камни — это не только непереваренная мощь, прущая из почвы в небо. Если продолжать каменную метафору, можно сравнить стихи самого известного уральского поэта — Виталия Кальпиди — с особым родом ювелирной работы: щегольская, роскошно-мастеровитая обработка грубых каменных глыб. С сохранением всех монструозных неровностей фактуры. Не помню, к сожалению, кто написал однажды в «Независимой газете», что Кальпиди единственный, кто может вставлять в стихи КГБ и ОБХСС — без пошлости и ущерба для поэтики.

В голове у меня подобный абзац был заготовлен уже давно, но, выскочив сейчас на бумагу, он пришел в некоторое противоречие со свежим предметом письма, с новой книгой поэта «Ресницы», роскошно изданной (твердый переплет, пулеметная бумага, суперобложка, картинки) челябинским фондом «Галерея». В последние годы поэтика Кальпиди стала претерпевать важные изменения. В предыдущей книге «Мерцание» (вышедшей два года назад; а всего у него пять или шесть сборников) у Кальпиди стало немножко больше Бога и разговора в серьезном тоне. Больше метафизических заходов — вместо циничной эксплуатации мускулатуры стиха. Больше общечеловеческих обобщений, чем ураганной репрезентации романтического героя.

В «Ресницах» эти тенденции усилились («люди именно этого больше всего бы хотели», — может высказаться теперь по неважно какому поводу человек, раньше утверждавший больше свое роскошное Я) и, более того, затронули материал стиха. Тексты более раздумчивы и менее энергичны, чем раньше. Чуть больше многозначительных тавтологий: «а завещанный рай потому никому не завещан, что невинная жизнь никогда не бывает невинной». Невиданное ранее количество композици-

онных параллельных решений (строчки, начинающиеся с «это», с «и», с «кто»), нагнетающих пафос. У зрелого поэта, создавшего не просто поэтику (по мне, так великолепную), но школу, начинают звучать — в режиме поиска — интонации других авторов: больше Бродского, явственнее Мандельштам, а в отдельных стихах мне послышался голос еще одного интересного уральского поэта Романа Тягунова.

Следует, очевидно, предположить, что Кальпиди переживает, как и полагается поэту, «перелом» или «переоценку», что, во-вторых, мне его новые поиски несколько менее близки, нежели старые, но что, в-третьих, на нынешнем литературном базаре, где большинство авторитетов давно застыло в янтаре своих былых достижений, попытки Кальпиди меняться важнее моих по этому поводу личных потерь. И процитировать что-нибудь яркое:

Василь Кириллович, влеку
себя через твои глаголы:
«Как дождь я словом потеку;
и снидут, как роса к цветку,
мои вещания на доли».
На дома высевает снег
свое фигурное, незлое
зерно, а мягкий человек
твердеет, устремляя бег
туда, где тверже будет втрое.

Что касается эскалации каменности-твердости, то она видна и в свежих кураторских проектах Кальпиди: в антологии «Современная уральская проза» («Галерея», «Автограф», Челябинск, 1997) и в четвертом выпуске его журнала «Несовременные записки» (прошлые номера выходили с географией Челябинск — Пермь, ныне Челябинск — Екатеринбург): о людях, чьи тексты публикуются в антологии и журнале, Кальпиди отзывается в своих предуведомлениях со вполне невероятной степенью грубости-жесткости, что со стороны выглядит дико, но придает странный, волнующий флёр «разборок» среди своих...

Что касается упомянутой в начале этой главки ювелирности, то и она может стать одним из опорных тезисов рассуждений о литературе Урала. Здесь много образцов именно тонкой, изысканной работы с драгоценностями языка, ювелирного плетения синтаксиса и рифм, роскошных безделушек. В этой связи можно говорить о прозе Юлии Кожошко, о прозе и поэзии Игоря Богданова, об изящных критических миниатюрах Константина Богомолова. Или о книге владельца сети ювелирных магазинов в Екатеринбурге Евгения Ройзмана «Стихи» (Издательство Уральского университета), полной прелестных, аккуратных, что называется, «вещей». И тревожность «содержания» тускнеет за холодно мерцающей формой.

Шорохам тихим
Внимаю, о чем-то грущу

В дверь постучали
Я встану, открою, впусчу

О, император,
Я дни провожу свои в страхе

Но этого страха
Тебе никогда не прощу

Вышел в Издательстве Уральского университета и сборник стихов москвичка Александра Ерёмченко «Инварианты», аккуратно оформленный А. Шабуровым. Это пятая книга поэта (вторая в Екатеринбурге, две в Москве и одна на Алтае, на родине), во всех повторяется примерно один и тот же набор текстов. В «Инвариантах» собраны, кажется, и выверены все известные стихи поэта, который уже несколько лет как отошел от активной литературной работы. Но вообще-то «Инварианты» — лишь что-то вроде анонса очень крупного книжного уральского проекта, связанного с поэзией Ерёмченко; о нем я постараюсь рассказать в свое время. Сейчас лишь процитирую один запомнившийся мне экспромт Ерёмченко, имеющий отношение к двум поэтам, упомянутым чуть выше:

Люблю стихов свердловских жар:
Есть Ройзман, Тягунов, а есть и кроме.
Но Ройзман не участвовал в погrome,
А Тягунов мне деньги задолжал...

Слабость

Пермский прозаик Нина Горланова — пример слабого уральского человека, которому, наверное, очень трудно существовать среди закаленных крутых характеров и каменных уральских амбиций. В этой ситуации естественная культурная позиция: сохранять, «несмотря ни на что», дух доброты-теплоты-творчества, смягчать тем самым контекст и иметь мотивированный духовный статус. Ибо, кроме этого статуса и литературы, и нет ничего...

Нина Горланова всегда уделяла много внимания жанру нон-фикшн, запискам на полях жизни, но теперь этот жанр выдвинулся в фокус общественного внимания. У Горлановой вышла книга «Вся Пермь» (издание фонда «Юртин»): очень качественный фолиант, полный документальных и квазидокументальных деталей-мемуаров-рассуждений. Дневник «Покаянные дни» (лето 1989-го, «когда город жил в страхе перед экологическим бедствием»), очерки о конкретных людях, записи разговоров абстрактных пермяков и т. д. и т. п. В «Антологии современной уральской прозы» она представлена в жанре розановских заметок обо всем. В последнем номере «Несовременных записок» — рассказом о поездке на букеровский банкет (в прошлом году Нина Горланова и ее муж и соавтор Вячеслав Букур состояли в букеровском шорт-листе) и текстом, который стал бы букеровской речью, если бы Горланову выбрали для ее чтения.

Когда перед тобой лежит сразу такое количество нон-фикшн текстов, невольно сосредоточиваешься на их бытовом аспекте и обнаруживаешь, что Горланова последовательно (я бы даже сказал: слишком последовательно) разрабатывает, как бы это выразиться, дискурс бедности и благотворительности. Как многие прозаические вещи Горлановой основаны на сугубо личных неурядицах (редко — урядицах), так и в документальном письме прозаик постоянно возвращается к темам типа «нужда-служение». Лирическая героиня и ее родственники живут очень скромно, но при этом преисполнены высоких чувств и поэтических устремлений. Когда-то — отчасти диссидентских, ныне — просто душевных. Нарисовать сорок картин и дарить их всем встречным и поперечным знакомым, исходя из того, что подарок, который от души, всегда принесет добро.

Воистину трагического накала эта нота достигает в публикации «Несовременных записок». Один рассказ — это диалог между Н. Г. и В. Б. о том, как они посещали с дочерью злосчастный букеровский праздник. То, что для московского литтусовщика — плавная вечерняя оттяжка, оказалось для пермских финалистов настоящим кошмаром. Поселение в Переделкино с деньгами, недостаточными для поселения в Переделкино. Милые строчки из «Московского комсомольца»: «Нина Горланова напрасно время не тратила: в туалете вместе с тремя дочерьми она напряженно подкрашивалась, подтягивала чулки, смотрела в зеркало и спрашивала у всех карандаш для подводки глаз». Дети, которых привезли на банкет кушать севрюгу и заливное мясо, потому что для них это космическое событие в жизни — букеровский банкет.

Второй рассказ — еще более впечатляющий. Это список тех, за кого следует помолиться. И чем именно эти люди помогли автору в жизни. «Лина Кертман и ее муж Миша — давали деньги, продукты, вещи — без счета! Леня Костюков — ночлег в Москве, вещи, серебряные кольца девочкам дарила его жена Маша, еще косметику и французские брюки мне давала его мама. Вера Мильчина — ночлег в Москве и остальное см. «Лина»... Вова Сарапулов: коробку бульонных кубиков, клубнику трехлитровыми банками много лет, деньги (иногда). Лариса Заковоротная и Сережа Артюхов: вещи, продукты, импортный чемодан. Наталья Михайловна Дологова (в редакции «Нового мира»): тушенку, сгущенку, вещи. Миша Бутов (в «Новом мире»): вещи — три сумки!..» И так несколько десятков человек. Сковородка, фрукты, лекарства, два кг пельменей, сигареты, пол-арбуза, стиральный порошок...

Может быть, это самый страшный текст в постсоветской литературе. Отвлеченная формула — «Писатель вырабатывает дух и имеет скромное право на минимальные земные блага» — обернулась натуральным обменом. Хорошему человеку — сгущенку. Помощь и взаимовыручка из, так сказать, факультативных качеств бытия превращаются в основу существования, а художественный текст о человеческой доброте превращается в ведомость: кто и сколько. Стриптиз через замочную скважину. Наташа Шолохова, почему ты помогла Нине Горлановой только двумя кг пельменей? Пожалела денег на три килограмма? Дима Бавильский, почему одна бутылка шампанского? Ты не мог купить еще хотя бы коробку конфет?

Настоящая трагедия, наверное, должна быть лишена холодного профессио-

нального блеска, должна быть выражена вот так неловко и нелепо. Читать стыдно, хочется отвести глаза от строки. Подобное ощущение у меня есть от рассказа Набокова, не помню названия, о несостоявшейся дуэли с человеком по фамилии Берг, там речь — о чужой беде, и становится страшно от мысли, что так можно написать о себе. Можно. Жалко, что не получили Горланова и Букур Букеровскую премию, что не прочла Нина в ресторане Дома архитектора, среди праздничной и праздной публики, этот кричащий, торкающий нас носом в чужие проблемы текст...

О трогательности, щемящести и воздушности своего проекта Горланова, похоже, знает сама, и об этом ей говорят другие. Марина Абашева пишет в предисловии к пермской книжке: «У Горлановой именно семья — средоточие, сердцевина ее одомашненного космоса. В ее мире политика, время, искусство и грудное вскармливание ютятся на одном пятачке, и все объемлется сферой интимно-семейного бытия...»

Сферой или, во всяком случае, свидетелем своего интимно-семейного бытия Нина готова была сделать и лоснящийся букеровский банкет. Вот то самое место, когда доброта и открытость могут начать отторгать, а не привлекать. Мало кто хочет — и правильно делает — быть втянутым в чужой семейный круг. И мне уже будет трудно подарить Нине Горлановой бутылку шампанского, потому что я не хочу попадать в чужие интимные ведомости.

А также

Много другого и интересного. Литературный критик Марк Липовецкий, известный в том числе и читателям «Октября», выпустил в издательстве Уральского пединститута (который теперь, ясный пень, Педуниверситет) монографию «Русский постмодернизм (очерки исторической поэтики)»: первая работа такого рода, скрупулезное добросовестное исследование, единая концепция, в которой сведен воедино творческий опыт Битова и Вен. Ерофеева, С. Соколова и Т. Толстой, Вик. Ерофеева и соц-арта. Написано, к сожалению, тяжело, но не всякой же науке быть веселой.

Храм Нью Экачакра издал книжку Ананта-Ачарья дас «Кавказские пленники», посвященную формированию и становлению кришнаитского движения в России. Нежно любя Кришну и охотно распевая перед завтраком харе-рама-мантру, я, однако, вынужден констатировать, что и в этом случае литературный опыт с открытой религиозной подоплекой оказался не очень удачным. А вот светские мемуары Андрея Козлова (который и есть Ананта-Ачарья дас) в упоминавшемся номере «Несовременных записок» читать куда более интересно.

Вышли в Екатеринбурге две совершенно разные книжки о театре. «Искусство театра вчера, сегодня, завтра» — сборник научных статей преподавателей театрального института: от «Возможностей комплексного воспитания актера-кукольника в работе над этюдами с предметом» до «Творчество М. М. Жванецкого: жанровая характеристика». «Драма как сценическое действие» известного культуролога К. Мамаева — тоже сборник работ, и большинство из них посвящено московскому театру около дома Станиславского (театру Погребничко).

Наконец, последнее открытие: издающийся в Уфе «литературный журналчик» (так на обложке) «Сутолока». Последний номер (№ 5, 1997) посвящен памяти Александра Банникова (опубликованы его стихи, о судьбе поэта — 1961—1995 — ничего, к сожалению, не сказано), помимо художественных материалов, здесь присутствует полемика с «Независимой газетой» по поводу «уральской школы поэзии».



Писатель на паперти

В газете «День литературы»* прочел язвительные заметки Санкт-Петербургского критика Виктора Топорова о развале Союза писателей. Заметки очень правильные: разваливаться в самом деле не стоило... Ну, снявши голову, по волосам не плачут! Но вот что остановило внимание: вновь и вновь тиражируемый и изрядно надоевший рефрен: писатели стали нищие, нищие, нищие...

От кого-кого, но от Виктора Топорова, яростного мифоборца и любителя всяческой правды-матки, не ожидал такой инертности мысли! Она прощительна Евтушенко, раз в год наезжающему из американской глубинки домой, ужасающемуся несчастным положением дел в писательской метрополии и пишущему слезные воззвания к властям с просьбой не то денег литераторам дать, не то простое сочувствие к ним проявить. Но Топоров-то находится *внутри* родной ситуации и, следовательно, мог бы *своим умом* понимать-оценивать! Оказывается, нет. И он, как Евтушенко, талдычит: нищие, нищие, нищие...

Нищие?

Я напомню, что такое *действительное* нищенство писателя. В воспоминаниях видного советского литературного чиновника И. Гронского есть эпизод: «В 1932 г. мне сообщают, что Н. А. Клюев стоит на паперти церкви, куда часто ездят иностранцы, и просит милостыню: «Подайте, Христа ради, русскому поэту Николаю Клюеву»,— и иностранцы, конечно, кладут ему в руку деньги.

Я вызвал Н. А. Клюева к себе в «Известия»... И вот передо мной сидит образованнейший человек нашего времени. Вы говорите с ним о философии, он говорит как специалист. Немецких философов И. Канта и Г. Гегеля он цитирует наизусть. К. Маркса и В. И. Ленина цитирует наизусть.

— Я — самый крупный в Советском Союзе знаток фольклора,— говорил он,— я — самый крупный знаток древней русской живописи.

И это были не фразы».

Разгневанный Гронский, если верить его свидетельствам, позвонил Ягоде и предложил выдворить Клюева из Москвы в 24 часа... Пятилетняя ссылка в Нарым и расстрел.

Нищие?

Из какого, интересно, расчета выводится этот социальный статус (ведь не духовное же нищенство в данном случае имел Топоров в виду)? Очевидно, из сравнения с кем-то и чем-то? Но простите: если, например, северокорейский народ питается исключительно придорожной травой, а какой-нибудь придворный северокорейский гимнапист раз в месяц отоваривается китайской тушенкой, то он далеко не нищий! И наоборот: если преуспевающий американский дантист, пописывающий стихи, вдруг решает оставить профессию и жить своей поэзией, то он гораздо скорее окажется в положении американского нищего, хотя китайской тушенки, наверное, все равно есть не станет... Просто открыть ее не сможет.

* С середины этого года выходит такое литературное приложение к известной газете «духовной оппозиции» «Завтра», в котором его редактор Владимир Бондаренко пытается повенчать «почвенников» и «постмодернистов».

Скажу без всякого злорадства: идея эта заведомо обречена на поражение. Не потому, что свадьбы быть не может,— ведь уже печатаются там-вместе с Т. Глушковой и Ю. Кузнецовым Ю. Буйда и В. Нарбикова. Просто ребеночка от свадьбы не получится, а бесплодные браки, пусть и счастливые, оставляют все-таки грустное впечатление. По природе своей «постмодернизм» — явление слишком буржуазное, чтобы шагать нога в ногу с «духовной оппозицией». Разве что «оппозиция» сама вдруг обуржуазится. Кажется, так и происходит.

Говоря о современном нищенстве русского писателя, Топоров почти наверняка держит в голове прошлый (читай: советский) статус этого писателя. Что ж, посчитаем! Исходя, как и положено, из каких-то средних параметров. Конечно, расчеты эти приблизительные, но не для налоговой же инспекции отчет делаем.

В качестве примера из прошлого возьмем случай неординарный, но очень яркий, несомненный. В книге «Бодался теленок с дубом» Александр Солженицын пишет, что, когда получал в «Новом мире» аванс за своего «Денисовича», ему, простому рязанскому учителю, было неловко и даже стыдно: аванс тот в 25 раз превышал среднюю зарплату учителя в стране.

Это и поразило Солженицына: он, дебютант, получает разом сумму, ради которой несчастные учителя должны вкалывать целых два года! Отчасти это и определило отношение Солженицына к советской системе распределения благ: не получив с той доли того, что мог, он радовался, что отказался от кормушки.

Теперь давайте вместе посчитаем внимательно. Не для того, чтобы столкнуть лбами два слоя русской интеллигенции, писателей и учителей (им делить между собой нечего!), а просто справедливости ради.

Сегодня учитель получает в среднем полмиллиона. (На самом деле еще меньше, но возьмем в расчет возможность подработать репетиторством и проч.) Опускаем тот факт, что по большей части он и этого не получает из-за всеобщей системы невыплаты зарплат: работает даром, бастует, митингует, получает подачки от правительства и снова работает даром. Между тем гонорары в толстых московских журналах платят исправно; кое-где даже до появления тиража номера. За печатный лист (двадцать с чем-то страниц) платят в среднем чуть меньше миллиона. С точки зрения журналистов из «глянцевых» органов и преуспевающих газет, это смехотворные деньги! Однако на этот «смех» можно на щедом московском рынке одеть ребенка на зиму вполне прилично (никак не плоше, чем одевали в советское время, когда обычные джинсы или китайскую куртку надо было доставать по благу либо переплачивать втрое, вчетверо). Можно отнюдь не впроголодь прожить целый месяц. Можно купить немало хороших книг. Это — на один лист, а повесть, тем более роман идут от двух-трех листов и дальше.

Заметьте, писатель с именем сейчас в очередь на публикацию не становится: идет, как говорится, «с колес». Талантливый дебютант, вроде Антона Уткина с романом «Хоровод», вносят в «Новый мир» на руках прямо с Ярославского совещания молодых литераторов. Чтобы не вздумал в другой журнал перебежать, к гонорару добавляют премию в пять миллионов. Не густо — с точки зрения «глянцевых», но как вы думаете: пойдет Уткин на паперть или сядет за очередной роман?

Теперь — о «глянцевых». Писатели (конечно, не старые) очень неплохо в этих самых «глянцевых» сотрудничают. Потом обсуждают с некоторой даже ленцой: 30 долларов за страницу — это маловато будет! В «моем»-то, дескать, уже платят по 50. 50 долларов почти и есть средняя зарплата нынешнего русского учителя, которую еще и не платят. А попробуй «глянцевым» не заплати: ор, скандал, и «ноги моей в вашей паршивой редакции не будет!». Следовательно, за страницу каких-то букв никому не известный литератор может прожить месяц не беднее школьного учителя. Виданное ли это дело! Не то чтобы в советское время, но даже и в царской России! Молодой Некрасов ведрами изводил чернила на водевили и ходил все равно в чужих сапогах.

Теперь — о «водевилях». Все чаще и чаще встречаю на книжных лотках имена старых товарищей... вечно грустных и словно обиженных судьбой графоманов из Литературного института. Именно графоманов — неплохих, в сущности, но Богом обойденных ребят, чьи суконно-посконные или, напротив, оловянно-модернистские экзерсисы в прозе жестоко разносились на институтских обсуждениях; которых руководители семинаров по-человечески жалели и защищали от безжалостных семинаристов: ну что делать, если не дал Бог человеку таланта, но ведь старается же человек! Сегодня за своих «русских Рембо»* в пестрых обложках они получа-

* В западном и патриотическом исполнении — это зависит от якобы «идейного» направления и соответствующего названия издательства: «Эксмо» или, скажем, «Русич». И раньше так было: что возможно в «Советском писателе», недопустимо в «Молодой гвардии». Продажным запашком, правда, разило от обоих. Зато и там, и там для себя, для «своего круга» тонны выпускаемой макулатуры оправдывали десятком «пробиваемых» приличных книг — ну, там, Олега Чухонцева или Юрия Кузнецова. Принципиальная разница все же есть. Умный, чувствующий и душевно опытный советский читатель (никак не оболваненный!) макулатурные книги откровенно саботировал, а приличные даже и искал. А сегодня словно подменили народ: читает — и не передергивает!

ют издательские от 150 долларов за лист, шлепая за месяц книжечку листиков эдак в двадцать, не меньше. Тут и калькулятора не надо, чтоб догадаться: за эти деньги сельский и районный учитель будет работать не год.

Но это не писатели! — мне говорят. А в советские времена, что, *писатели* жировали? Выбора *продаваться* — *не продаваться*, что ли, не было?

Теперь — о «писателях». Недавно в одной беседе слышу: такой-то известный (и действительно — настоящий!) писатель-шестидесятник, дескать, такой бедный, что появился на «презентации» в старых ботинках. А я знаю, что он недавно вернулся из Америки, где читал лекции, предположим, в Принстоне. В Америке самая нищенская зарплата для человека с образованием все-таки никак не меньше двух-трех тысяч долларов — очень они высшее образование ценят! Он, что ли, ботинки на те деньги купить не мог? А как раз тут по телевизору: жены военных летчиков — элиты любой армии! — подбирают хлеб по соседям. Понятно: на русском истребителе в Америке не подзаработаешь. За это и расстрелять могут!

А литературные премии, которых все больше и больше: за лучший роман, за совокупность заслуг, за рассказ и даже единственное стихотворение (есть с этого года такая номинация в «Антибукере»)? А «бесплатные поездки за рубеж», от которых не только маститые, но и молодые писатели начинают *отказываться*: дома дел по горло, и что они не видели (в десятый-то раз!) в американском университетском поселке? А все эти презентации, фуршеты, на которых с известной степенью сноровки можно бывать каждый вечер?

Все это Москва! — мне говорят. А в провинции!.. Вот и говорите о Москве и провинции! Вот и говорите о бедственном положении *всей России* в сравнении с *Центром*.

Но не говорите о нищенстве писателей *вообще*. В сравнении с тем, что происходит в России *вообще*, это звучит — неприлично.

Время, что и говорит, жестокое. Жестокое потому, что часть страны (и — бо́льшая!) почему-то сейчас отвечает и расплачивается за трагические ошибки России, допущенные в XX веке и даже намного раньше. Другая часть (мизерная!) на этой «домке» наживается, как санитары в наркологических клиниках, предлагающие из-под полы халата *укольчик* (кстати, рассказал молодой писатель, там, увы, лежавший).

И все-таки русский писатель сегодня имеет возможность почти уникальную: жить *наравне с народом*, не испытывая всех этих комплексов «кающегося дворянина», которые были заметны еще и в деревенской прозе последних советских десятилетий. (Последнее произведение, где этот комплекс наиболее ярко и талантливо выражен, — повесть Алексея Варламова «Дом в деревне» — «Новый мир», 1997, № 9.) И проблема, собственно, в том, что коллективная писательская воля этой ситуации отчаянно и безуспешно сопротивляется. Она как бы зависла между советской кормушкой и новобуржуазной халавой, поджидая, что кто-то за нее сделает выбор и совершит толчок. Отсюда два *методически* раздающихся вопля, от которых звенит в ушах: 1. «Почему правительство допустило «обнищание» писателей?»; и 2. «Где вы, новые Морозовы, Мамонтовы, Рябушинские?!» На простом языке это значит: кто станет платить за то, чтобы писателям уютно жилось в разгромленной стране?

Уже платят — и те, и эти!

В начале века нынче позабытый знаток быта русского босячества Анатолий Александрович Бахтиаров (1851—1916), автор книг «Отпетые люди. Очерки из жизни погибших людей» (1903) и «Босяки. Очерки с натуры» (1903), описал любопытный тип *интеллигентного нищего*. В отличие от *стрелков, мазуриков, рецидивистов* эти люди большей частью происходили из образованного сословия и главным «рабочим инструментом» для них был приличный костюм. Он позволял зайти в магазин и, не привлекая внимания, стянуть что-нибудь с прилавка. Или посидеть в ресторане с газетой и, ничего не заказывая, налопаться хлеба со стола. В ночлежках их выделяли смотрители: им доставались места получше, чем остальным.

Я ни на что не намекаю.



ЛАВКА БУКИНИСТА

ВЛАДИМИР МАРКОВ. О СВОБОДЕ В ПОЭЗИИ. Статьи. Эссе. Разное. Спб., Издательство Чернышева, 1994. Тир. 3000 экз.

Владимир Федорович Марков пусть не самый влиятельный литературовед, но наверняка самый свободный. Не сужу о его поэзии, однако любой фрагмент из его статьи или трактата можно цитировать, в пору стихотворному отрывку. Пишет ли он о Хлебникове, Кузмине, об одной строке либо о стихах прозаиков, он умен, насмешлив и необыкновенно наблюдателен. Более того, он очень русский человек, и, может быть, потому его штудии на тему русской же литературы не могут соревноваться со средними научными монографиями (фолианты пишутся для славистов, главных ценителей и распорядителей нашего культурного наследства, навроде добрых помещиков, раздающих премии, словно пряники бедным детям). Впрочем, человек, обладающий таким слухом и таким чувством юмора, проживет и без барских пряников. А если уж вспоминать о лакомствах, можно утверждать: от самого Владимира Федоровича многим досталось на орехи. И Ахматовой, трагически умоляющей в стихотворении «Как соломинкой, пьешь мою душу»:

Когда кончишь, скажи,

и Асееву, в поэме о «Черном принце» тревожно скандирующему:

Море на клочья

рвал

шквал...

Как удержать

фал?

Впрочем, не всем сестрам и братьям по серьгам. Историческая и человеческая объективность Маркова явственна, и о строке из Лермонтова:

Однажды женщины Эрота отодрали,—

он говорит — в лермонтовское время тут наверняка не имелось второго смысла.

ДЖОН ДОНН. ИЗБРАННОЕ из его элегий, песен и сонетов, сатир, эпиграмм и посланий в переводе Г. Кружкова с добавлением гравюр, портретов, нот и других иллюстраций, а также с предисловием и комментариями переводчика. [Б.м.], «Московский рабочий», 1994. Тир. 5000 экз.

Пожалуй, все, что нужно знать о книге, добросовестно изложено в стилизованном названии самого сборника. Добавить остается немного. Хотя Г. Кружков неплохой поэт и умелый, порой удачливый переводчик, предпринятая им попытка заведомо обречена. Так сложилось, что в восприятии российского читателя стихи английского метафизика представлены стихами И. Бродского «Большая элегия Джону Донну» и несколькими его переводами, причем, столь же теряющимися рядом с элегией, как теряются и переводы Г. Кружкова. И, вероятно, иного Джона Донна на русском языке уже не будет.

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ. ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ. М., «Советский писатель», 1990. Тир. 50 000 экз.

Тем, кто знает историю или хотя бы смысл выражения, вынесенного на титульный лист книги, а заодно помнит одноименную работу В. Шкловского 1928 года, покажется странным и название, и потребность установить истину через пятьдесят лет после того, как произошли упоминаемые критиком литературные битвы. Истина — вещь пусть и не скоропортящаяся, но напрямую связанная со временем. И опубликованные вновь, и впервые извлеченные из письменного стола либо архива статьи равным образом ничего не меняют и не доказывают, хотя и снабжены комментариями, уже из девяностых годов пытающимися восстановить и отстоять все ту же (на самом деле совершенно иную) истину. И только воспоминания «Сентиментальное путешествие» и «Революция и фронт», написанные В. Шкловским в самом начале пути, по-прежнему убедительны и прекрасны, ибо воспоминания, едва ли не опережающие кропотливый дневник и, уж точно, ни на шаг не отстающие от событий, в них отраженных, на истину не претендуют.

ТРУДЫ И ДНИ НИКОЛАЯ ЗАБОЛОЦКОГО. Материалы литературных чтений. М., Издательство Литературного института, 1994. Тир. 1000 экз.

В сборнике представлены разные жанры и подходы к творчеству поэта — от этюда Вл. Гусева о Заболоцком и Тютчеве и служебных размышлений Р. Винонена о переводах Заболоцкого до убедительной, хотя и чрезмерно краткой, прерывистой статьи Т. Сотниковой о религиозных

мотивах и образах у Заболоцкого и, как всегда, интересных, равно и невнятных, почти голосовых фиоритур В. Микушевича. Наиболее любопытна статья Евг. Перемышлева о пушкинском и гетанском у Заболоцкого, то есть о преломлениях «Медного всадника» и «Фауста» в «Столбцах» и лирике, им сопредельной (впрочем, она известна читателям «Октября»).

ШЕДЕВРЫ АНГЛИЙСКОГО ГОТИЧЕСКОГО РАССКАЗА. Том I. Голос в ночи. 1870—1913. Том II. Демон-любовник. 1914 — 1960. М., «Слово», [б.г.]. Тир. 5000 экз.

Странный английский характер, смесь чопорности и эксцентрики. Даже к мистике англичане обычно примешивают солидную долю иронии и тем берут под сомнение саму возможность необычайного, внеположного. А рассказы Ш. ле Фаню, Р. Л. Стивенсона, Б. Стокера или А. Мейчена очаровывают именно присутствием непознанного, более того, и неназванного (ему и нет названия). Разумеется, бесполезно отрицать, будто в существовании науки, особенно подражающей природе, нет места насмешке: потусторонние голоса рядом с магнитофоном, привидения в сопоставлении со сканером выглядят особенно жалко, но притом победительно. Однако надо ли быть умнее англичан, как это стараются сделать издатели? У Р. Киплинга есть великолепные рассказы о загадочном. И все же проще взять рассказ, где ирония перевешивает таинство. О, эти сеансы магии с ее обязательным разоблачением на глазах возмущенной публики!

РАСКОЛДОВАННЫЙ КРУГ. Василий АНДРЕЕВ. Николай БАРШЕВ. Леонид ДОБЫЧИН. Л., «Советский писатель», 1990. Тир. 30 000 экз.

Из прозаиков тридцатых годов Л. Добычин ныне наиболее привеченный, хотя существуют писатели куда интереснее. Для того чтобы сравнить, и выпущен этот толстый том. И все же Николай Валерианович Баршев достоин отдельного издания. Полного собрания сочинений, куда войдут и рассказы с особенными, всегда замечательными названиями, например, «Прогулка к людям» или «Гражданин вода», и любые подробности его недолгой и негромкой человеческой жизни.

ЮРИЙ БЕЗЕЛЯНСКИЙ, Виктор ЧЕРНЯК. ТЕРРА ДЕТЕКТИВА. Всемирные злодеяния, истории преступлений, преступников и жертв. [Б.м.], «Детективленд», [б.г.]. Тир. 50 000 экз.

Соавторы объединились на том основании, что один обладает фактами, а другой бойким пером, но предварительно не договорились, кто же из них чем владеет, и книга вышла многословной, наглой и лживой. Не нужно жить на Бейкер-стрит и бегло говорить по-английски, чтобы понять — тебя обманули: ни Малюта Скуратов, ни Шандор Петефи, ни Пьер де Кубертен отношения к детективу, жанру донельзя ритуализованному и чопорному, не имеют. Но страницы, где материал распределен по дням и месяцам, следовало чем-то заполнять. Не смущало даже то, что авторы не умеют отличить юлианский календарь от григорианского и могут привести даты как по старому, так и по новому стилю, не предупредив читателя, да и сами о том не догадываясь.

АД ЗЕРКАЛ. М., СП «Квадрат», [б.г.]. Тир. 100 000 экз.

Построения Эдогава Рампо слегка холодноваты, вернее, чуть рассудочны, но столь же рассудочны и построения его американского кумира Э. По, у которого сочинитель детективных историй заимствовал псевдоним, переложив на японский лад. Но при внимательном чтении вдруг понимаешь: в его прозе культ зрения напоминает о советской прозе двадцатых годов, с которой писатель, может быть, и не знаком. Зеркала, бинокли, диалог с воздушной перспективой кажутся важнее сюжета и поисков убийцы. Что до романа Сюсаку Эндо «Молчание», также включенного в сборник, пусть его оценивают читатели.

ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ. ОХОТА НА СНАРКА. [Б.м.], «Рукитис», 1991. Тир. 400 000 экз. (первый завод — 100 000 экз.).

Кэрролловская «Агония в восьми воплях» в руках Г. Кружкова из поэмы нонсенса преобразилась в детскую мозаику, игру занимательную и простую. По любопытной прихоти англичанин поименовал своих героев на одну и ту же букву Би, переводчик, стараясь не выпустить дух из оригинала, следует той же букве. И английский (теперь и русейший) Брокер сделался Барахольщиком, зато Адвокат (в оригинале Барристер), стал отставной козы Барабанщиком. Ладно, пусть дяди играют, тем более что лет пятнадцать назад в «Иностранной литературе» был опубликован фрагмент замечательного перевода «Охоты на Змея». Любопытней иное. Перелистаем набоковское «Приглашение на казнь» и поймем, что русская «Охота» началась давным-давно. Почему Родион и Родриго называются так, а не иначе? Тот, кто возразит, будто у Набокова существуют еще Цинциннат Ц. и Цецилия Ц., тот ничего не понял ни в строчках Кэрролла, ни в романах Набокова. И следует только надеяться, что он разобрался во всем остальном.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

Содержание журнала «Октябрь» за 1997 год

ПРОЗА

АЛЕШКИН Петр. Рассказы.	
IX	20
АНАНЬЕВ Анатолий. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Книга вторая. Историческое повествование.	
X	3
XI	47
АНТОНОВ Сергей. Костыль Татьяныч. Рассказ.	
III	130
БУЙДА Юрий. Три рассказа.	
I	49
ВАРЛАМОВ Алексей. Затонувший ковчег. Роман.	
III	3
IV	61
ГОЛОВАНОВСКАЯ Мария. Противоречие по сути (Contradictio in ajecto). Маленький роман.	
II	81
ГУРЕЕВ Максим. Калугадва. Повесть.	
X	73
ЗУБЧАНИНОВ В. Повесть о прожитом. Вступление Олега Павлова.	
VII	20
VIII	64
КАНОВИЧ Григорий. Парк забытых евреев. Роман.	
IV	3
V	96
КАРЯКИН Юрий. Дневник русского читателя. Из записных книжек. Переделкино. 1996.	
XI	116
КЕЦЕЛЬМАН Игорь. Зоопарк. Из записок перевозчика животных.	
VI	94
КЛЕХ Игорь. Крокодилы не видят снов. Берлинская повесть.	
III	80
МЕЛИХОВ Александр. Высокая болезнь. Повесть.	
VIII	27
МОРДЮКОВА Нонна. Записки актрисы.	
III	63
VIII	135
МУРАВЬЕВА Ирина. Рассказы.	
VI	74

НАЙМАН Анатолий. Славный конец бесславных поколений. Главы из книги.	
VIII	3
XI	3
НЕКРАСОВ Евгений. Некоторые аспекты драконологии. Рассказ.	
IV	121
Новые имена. Рассказы Валерия ХАЗИНА, Анны КУЗНЕЦОВОЙ, Романа СЕНЧИНА, Светланы МАКСИМОВОЙ, Никиты ЕЛИСЕЕВА, Валерия ОСИНСКОГО, Галины СКВОРЦОВОЙ.	
XII	3
ОЛЬШАНСКИЙ Иосиф. Семеньч на фоне земных божесть. Рассказ.	
VI	113
ОТРОШЕНКО Владислав. Два рассказа.	
VI	106
ПАВЛОВ Олег. Дело Матюшина. Роман.	
I	3
II	23
ПЕТРОВ Григорий. Два рассказа.	
V	72
ПЕТРОВ Григорий. Житие мирянки Миронии. Рассказ.	
IX	3
Письма из Британии. Публикация, предисловие и комментарии Кирилла КОБРИНА.	
I	60
ПЬЕЦУХ Вячеслав. Два рассказа.	
II	3
РОЩИН Михаил. Блок 1995—1996.	
IX	43
САРНОВ Бенедикт. Перестаньте удивляться! Невыдуманные истории.	
III	98
СТАХОВ Дмитрий. Проверка паспортного режима. Рассказ.	
VII	90
ФАЛИКОВ Илья. Трилистник жесткой воды. Ближнеисторический роман.	
V	3
ХАЗАНОВ Борис. После нас потоп. Роман.	
VI	3
VII	98

ЧЕРНЯКОВ Юрий. Байки смутного времени.	
IV	137

Послесловие

Беседа с Олегом Павловым.	
II	75
Беседа с Алексеем Варламовым.	
IV	116
Беседа с Григорием Кановичем.	
V	146
Борис ХАЗАНОВ. Интервью автора самому себе.	
VII	147

Нечаянные страницы

БАСИНСКИЙ Павел. Московский пленник. Исповедь провинциала.	
IX	100
БЕРЕЗИН Владимир. Хроника нулевого года.	
XII	61
ВАРЛАМОВ Алексей. Антилохер. История одной премии.	
XII	53
ОТРОШЕНКО Владислав. Волжский мужичок, или Вечный Горький.	
XII	73

Искусство перевода

ГАРИ Ромен. Другая игра. Рассказы. Перевод с французского М. Аннинской.	
VI	123
ЗИНГЕР Исаак Башевис. Два рассказа. Вступление и перевод с английского Л. Володарской.	
X	114
КИНКЭЙД Джамейка. Зуэла. Рассказ. Предисловие и перевод с английского Александра Суконика.	
I	93

ПОЭЗИЯ

АКСЕНОВА Светлана. На том берегу...	
V	70
АРЕФЬЕВА Ольга. Будем Были.	
VIII	61

БЕШЕНКОВСКАЯ Ольга. Беззапретная даль.	
IV	58
БОБЫШЕВ Дмитрий. Петербургские небожители.	
IX	14
ВАНШЕНКИН Константин. Сквозь этот дом... Из книги «Волнистое стекло».	
V	93
ВИНОГРАДОВ Денис. И время ждет стрелы...	
II	77
ДОЛЖАНСКИЙ Вадим. Небо падает в песок.	
III	77
ЕРМАКОВА Ирина. Времена у нас по-прежнему античные...	
XII	51
КЕНЖЕЕВ Бахыт. Сочинитель звезд.	
VIII	23
КУЧКИНА Ольга. Дым дождя.	
XI	113
ЛЕОНТЬЕВ Александр. Новые стихи. Из книги «Зрение».	
IV	118
МАКСИМОВА Светлана. Лишь крылья полотняные...	
III	61
МАРК Григорий. И проступает след...	
V	148
МЕЛАМЕД Игорь. ...И мрак, и свет.	
VI	111
МОРИЦ Юнна. Вчера я пела в переходе.	
VII	3
НАЙМАН Анатолий. Ранний сбор ягод.	
I	44
ПЕРЕЛЬМУТЕР Вадим. Новые стихи.	
II	18
ПОЛИЩУК Дмитрий. Цветы победности.	
VI	70
ПУРИН Алексей. Золоченое выщело слово...	
X	69
РАКИТСКАЯ Эвелина. Как просто уйти в небеса...	
XII	84
РИЗДВЕНКО Татьяна. Четыре стихотворения.	
X	105
САЛИМОН Владимир. Второстепенные детали.	
I	90
СОБАКИН Тим. Сон Луны.	
XII	48
ШЕНКМАН Ян. Молитва о прошлогоднем снеге.	
IV	136

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИВАНОВ Всеволод. «Во время войны приходит пробужде-

ние...» Ташкентский дневник. 1942. Вступление Вяч. Вс. Иванова. Публикация, подготовка текста и примечания Елены Папковой-Ивановой.
XII 89
ПЕТРОВ Сергей. **Спиной к былому...** Стихи. Вступление Е. Витковского. Публикация Александры Петровой.
XI 144

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

АЛЕКСЕЕВА Т. А., КАПУСТИН Б. Г., ПАНТИН И. К. «Национальная идеология»: иллюзия или непонятая потребность?
I 137
БУРТИН Юрий. **Выход из кризиса: инвентаризация иллюзий.**
VIII 161
КАНТОР Владимир. **Возможно ли построить в России «град цивилизации»?**
VI 143
ЛЕВИН И. Б. **Гражданское общество и Россия.**
V 149
МЕДВЕДЕВА Ирина, ШИШОВА Татьяна. **Новое время — новые дети?**
II 122
МЕДВЕДЕВА Ирина, ШИШОВА Татьяна. **Эбьюз нерушимый.**
IV 159
МЕДВЕДЕВА Ирина, ШИШОВА Татьяна. **Страхи взрослые и детские.**
IX 133
НИКОЛАЕВА Ирина. **Интеллигенция: превратности свободы.**
XII 114
ПИСИГИН Валерий. **Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург.**
X 125
XII 125
ПЛИМАК Евгений, АНТОНОВ Вадим. **Накануне страшной даты.** К 60-летию процесса Тухачевского.
II 149
ПОМЕРАНЦ Г. **Между бедностью и богатством.**
V 164
СКВОРЦОВ Л. В. **Толерантность: иллюзия или средство спасения?**
III 138
СКВОРЦОВ Л. В. **Общество и насилие.**
XI 148

ФИЛИППОВ В. Р., ФИЛИППОВА Е. И. **Крах российской деревни.**
IV 149

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ПАВЛОВ Олег. **Из нелитературной коллекции.**
VI 136
X 107
ПРИШВИН Михаил. **Дневник 1938 года.** Вступление, подготовка текста, комментарии и публикация Л. А. Рязановой.
I 107

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

МАЛИНОВСКИЙ Василий. **Штрихи к портрету Василия Шукшина.**
VI 159
«...Смирненно переживать теперешнее смутное время». Письма дочери Льва Толстого. 1917—1925 годы. Вступление, публикация и примечания Ю. Д. Ядовкер. * **Юбилей мюзеза.**
IX 158

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНКУДИНОВ Кирилл. **Каприз против истерики.** Опыт аналитического исследования стихотворения.
XII 157
ВЕРНИКОВ Александр. **Тихий дон.** Почему Карлос Кас-танеда не лауреат Нобелевской премии в области литературы.
X 177
МОРИЦ Юнна. **Быть поэтессой в России.**
III 156
ОСИПОВ Иван. **Разъятые на части.** Критический гиньоль.
V 168
ПЕРЕМЫШЛЕВ Евгений. **Леденцы.** Тема и вариации.
III 161
ПОМЕРАНЦЕВ Игорь. **Рождение по жанрам.**
X 171
ПУРИН Алексей. **Утраченные иллюзии.**
V 176
ХАЗАНОВ Борис. **Апология нечитабельности.** Заметки о романе и романах.
X 159

К 850-летию Москвы

КОРНИЕНКО Наталья. «Москва во времени». Об одной литературной акции 1933 года. IX 147

Памяти Бродского

РАНЧИН Андрей. «Человек есть испытатель боли...» Религиозно-философские мотивы поэзии Бродского и экзистенциализм. I 154

ПАНН Лиля. Альтранативная реальность. I 69

Панорама

А. ЦЕЙС. Подарок Москве (Сборник «Москва — столица реформ»); Евг. ШКЛОВСКИЙ. «Слепого века строгий поводырь» (Борис Чичибабин в стихах и прозе); Елена ИВАНИЦКАЯ. С надеждой на постмодерн (Александр Эткинд, Содом и Психея); Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ. «Я вас приглашаю в рай» (Макс Жакоб. Избранные стихи); Михаил СОКОЛОВ. Выход из транса (книжная серия «Лики культуры»). I 176

Дмитрий БАК. Новые воспоминания о будущем (В. Пронин. Рассказы; Г. Сосновский. За красной стеной); Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ. Шесть параграфов о славе и судьбе (Игорь Северянин. Сочинения в пяти томах); Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ. Бархатный сезон (Сергей Костырко. Шлягеры прошлого лета); Ян ШЕНКМАН. Митьки никого не хотят победить (Владимир Шинкарев. Максим и Федор. Папуас из Гондураса. Домашний еж. Митьки); Егор СТРЕШНЕВ. Золото Маккены (Теренс Маккена. Поиск первоначального Древа познаний; Теренс Маккена. Истые галлюцинации...). III 179

В. КАНТОР. Состояние независимости (Евгений Шкловский. Заложники); Данила ДАВЫДОВ. Гольдштейн и другие (Олег Юрьев. Франкфуртский бык); Андрей РАНЧИН. Знакомый незнакомец (Ирина Паперно. Семиотика поведения; Николай Чернышевский — человек эпохи реализма); Валерий ВОЛКОВ. Маленький человек из Мек-

ленбурга (Филипп Ванденберг. Золото Шлимана); Наталья КОРНИЛОВА. Вот другая история (Валерий Хазин. Кирилл Кобрин. Подлинные приключения на вымышленных территориях); М. ШАПОВАЛОВ. Верлен сегодня (Поль Верлен. Избранное); Анатолий НАЙМАН. Парад уродов (Михаил Ямпольский. Демон и лабиринт). IV 172

Алексей КУБРИК. Тетрадь в святищемся кругу... (Ольга Бешенковская. Подземные цветы); Дмитрий ПОЛИЩУК. Неопишуемые караты (Асар Эппель. Шампиньон моей жизни); Евг. ШКЛОВСКИЙ. Наши (Дина Рубина. Вот идет Мессия!..); Егор СТРЕШНЕВ. Две русско-финские книжки. VII 168

Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ. Среди рам и картин. VIII 177

Кирилл КОБРИН. По ту/эту сторону стекла (Алексей Пурин. Созвездие Рыб); Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ. Сбой программы (Чингиз Гусейнов. Директория ИГРА); Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ. Холодные руки Венеры (о книгах издательства «Энигма»). XI 164

Александр ЛЮСЫЙ. Эпиллог классики (Леонид Баткин. Тридцать третья буква); Л. ВОЛОДАРСКАЯ. Книжные тайны (Русские поэты XX века в библиотеке Н. К. Гудзия); Ян ШЕНКМАН. Диалог как вид монолога (Анатолий Гуницкий. Метаморфозы положительного героя); Дмитрий КОСЕНКИН. Среди света (Леонид Завальнюк. Беглец); Елена МЕСТЕРГАЗИ. Достоевский: современное прочтение (Достоевский в конце XX века); Илья КУКУЛИН. Коллажи и эзотерика (Нина Искренко. Интерпретация момента; Юрий Милорава. Взамен); Егор СТРЕШНЕВ. И приближаться, и удаляться (Александр Давыдов. Апокриф, или Сон про ангела; Аркадий Драгомощенко. Китайское солнце). XII 168

«Это светлое имя — Пушкин»

БОЛДЫРЕВ Николай. Чистое истечение бытия. Пушкин и дзэн. II 175

КОБРИН Кирилл. Беглец. VI 175

ЛЮСЫЙ Александр. Ангел Утешенья. О чем беседуют фонтаны Бахчисарая? VI 171

ПЕРЕЛЬМУТЕР Вадим. Стихи и проза. Две прогулки с памятником Пушкину. VI 162

По страницам Онегинской энциклопедии. Вступление Н. И. Михайловой. II 161

Россия и Толстой

Из материалов Отдела рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого.

Татьяна НИКИФОРОВА. «...что может быть полезно людям». К истории собирания рукописного наследия Л. Н. Толстого. * «Вы кажетесь мне в сто раз выше Петра I». Вступление, публикация и комментарии О. А. Голиненко. XI 171

В стиле реплики

Двойка, шестерка, тус. III 173

НАЙМАН Анатолий. Витёк и Алик. IV 189

БАК Дмитрий. Лавацца, белая лавацца... VI 185

ПАВЛОВ Олег. Газетный хам. IX 187

Записки литературного человека

КУРИЦЫН Вячеслав. Славное было время. I 186

КУРИЦЫН Вячеслав, ПАРЩИКОВ Алексей. 1996. II 184

КУРИЦЫН Вячеслав. Нефигции. III 170

КУРИЦЫН Вячеслав. Медленно, иногда внимательно. ЕРМОШИНА Галина. Letter. IV 185

КУРИЦЫН Вячеслав. Малахитовая шкатулка. V 182

КУРИЦЫН Вячеслав. Бродский. VI 181

КУРИЦЫН Вячеслав. **Время
множить приставки. К** поня-
тию постпостмодернизма.

VII 178

КУРИЦЫН Вячеслав. **Века
за плечами и 150 лет впереди.**

VIII 183

КУРИЦЫН Вячеслав. **По-
эзия в духе Дани Назарова.**

БАЛАБАНОВ Федя. **Стихи.**

IX 186

КУРИЦЫН Вячеслав. **Готовь
сани летом, а телегу каждый
день. ШАЛАБИН Валерий.
Как художник Игорь Орлов
самурайским клинком бандит-
скую машину порубал.**

X 184

КУРИЦЫН Вячеслав. **Есть
русская интеллигенция!**

XI 184

КУРИЦЫН Вячеслав. **Мала-
хитовая шкатулка-2.**

XII 178

Этюды о медленном чтении

ПЕРЕЛЬМУТЕР Вадим. **Лав-
ры безыменности.**

III 175

ПЕРЕЛЬМУТЕР Вадим. **Че-
тыре жизни баллады.**

VII 184

Мелочи жизни

БАСИНСКИЙ Павел.

**Литература как времяпрепро-
вождение.**

VI 188

«От Парижа до Находки...»

VII 188

Однажды в Америке.

VIII 188

**Два завещания Льва Тол-
стого.**

IX 181

Писатель и его собака.

X 188

Простое как самое сложное.

XI 188

Писатель на паперти.

XII 184

Отклик

на книгу С. МИТЧЕМА и Д.
МЮЛЛЕРА «Командиры
Третьего рейха» (Генрих Ля-
тнев, Николай Раманичев).

V 189

В несколько строк

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВ-
СКИЙ.

I—XI 191

XII 187



Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать

по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефону: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону: (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

**УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
ЖИТЕЛИ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ!**

Если вы почему-либо не успели оформить подписку на «Октябрь» на 1998 год, то можете это сделать до 20 января 1998 года непосредственно в редакции (ул. Правды, 11/13) с 11 до 18 часов в любой день, кроме субботы и воскресенья. К тому же по льготной цене — 14 000 рублей за номер. Правда, без доставки на дом. Каждый номер вы будете получать в редакции.

Телефон для справок: 214-31-23.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*В 1998 году «Октябрь» предполагает
опубликовать новые
произведения известных авторов.
Среди них:*

- Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга вторая.
- Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.
- Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**
- Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года.
- Даниил ГРАНИН. **Повесть.**
- Вяч. Вс. ИВАНОВ. **Воспоминания. Бродский. Пастернак.**
- Григорий КАНОВИЧ. **Продавец снов.** Повесть.
- Владимир КАНТОР. **Соседи.** Повесть.
- Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Письма к Господу Богу.** Роман.
- Анатолий КИМ. **Мое прошлое.** Автобиографическая повесть.
- А. Ф. ЛОСЕВ. **Мне было 19 лет.** Повесть.
- Юнна МОРИЦ. **Рассказы. Стихи.**
- Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**
- Владислав ОТРОШЕНКО. **Приложение к фотоальбому.** Роман.
- Олег ПАВЛОВ. **Повесть.**
Записки из-под сапога. Рассказы.
- Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы и сказки.**
- Михаил ПРИШВИН. **Дневник 1939 года.**
- Михаил РОЩИН. **Рассказы.**
- Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.
- Уильям САРОЯН. **Рассказы.**
- Алексей ЦВЕТКОВ. **Просто голос.** Поэма. Продолжение.
- Геннадий ШПАЛИКОВ. **Дневники. Стихи.**
- Военный дневник великого князя Андрея Владимировича РОМАНОВА.**
А также **новые произведения** Юрия БУИДЫ, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Юрия ДАВЫДОВА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Натальи СУХАНОВОЙ, Людмилы УЛИЦКОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Бориса ХАЗАНОВА, Асара ЭПЕЛЯ и др.

Следите за нашей рекламой!